

СЕРГЕЙ ПЫЛЕВ

# Харцесто



АО «Воронежская областная типография»

Воронеж

2023

УДК 821.161.1-4  
ББК 84(2=411.2)6-4  
П 94

*Издание осуществлено при финансовой поддержке  
департамента культуры Воронежской области.*

**П 94 Пылев Сергей.**

**ХАРИСТО.** Повести, рассказы. – Воронеж: АО «Воронежская областная типография», 2023. – 382 с.

Сергей Прокофьевич Пылев родился 7 февраля 1948 года. Окончил в 1972-м отделение журналистики филологического факультета ВГУ. Член Союза писателей СССР (ныне России) с 1984 года. Прозаик, автор одиннадцати книг рассказов и повестей, выходящих в Воронеже и Москве. Лауреат премии «Кольцовский край», дипломант журналов «Берега» и «Сура», а также VII Всероссийского конкурса русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба». По итогам международного конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси – 2021» отмечен медалью «М.В. Ломоносов. За заслуги. Слава русскому народу». Дипломант XII международного литературного конкурса «Золотой Витязь» в номинации «Дорога к храму». «...За значительный вклад в российскую литературу, культуру, искусство и сохранение русского языка» (2022 г.) Союзом писателей России награжден золотой медалью Василия Шукшина.

В настоящее время Сергей Пылев – редактор отдела прозы воронежского литературно-художественного журнала «Подъем».

Литературное творчество Сергея Пылева многие годы привлекает читателя своей новизной, насыщенной яркой метафоричностью, до краев наполненной мыслями и чувствами своеобразными: то лиричными, то ироничными, но всегда искренними, правдивыми, совестливыми. Суть произведений Сергея Пылева таится в характере героев, в основном говорящих от первого лица с доверительностью, располагающей читателя к внутреннему разговору и размышлению. В каждом рассказе или повести мы слышим особый голос автора, обращенный к читателю, взывающий к его совести и доброте, к справедливости и чистоте помыслов. Здесь русская душа в своем высшем проявлении и стремлении передать опыт любви и сострадания, неприятия ненависти и зла.



**ПОВЕСТИ**

# ХАРИСТО

## Повесть

*Но на небе нет нуждающихся:  
там все блага преизобилуют...*

Из «Размышлений христианина  
об Ангеле Хранителе на каждый  
день месяца» (по изданию 1890 г.)

**В**иктор Прокофьевич сосредоточенно пригляделся: мимо его дома по осенней набережной на фоне судорожной пляски волн Воронежского «моря» катился велосипедист: мужичок-худышечка лет несколько за шестьдесят, седенький, сильно ссутулившийся и через то похожий на горбуна. Эка, казалось бы, невидаль! Но была у этого путешественника одна особенность, которую никак нельзя было не заметить: у его велика отсутствовали обе педали. Так что он катил свою технику, как мальчишечка самокат: размеренными толчками левой ноги. Шарк-шарк-шарк... Упорно так. Как ни в чем не бывало. Мы, мол, такие. Всегда. Нам пальца в рот не суй.

Сей абсурдный способ передвижения невольно навел Виктора Прокофьевича Степанова на стезю его известных больных размышлений: годы крайние, серьезные, то есть пожито им от души, но ему так и не довелось увидеть, чтобы главный человек в нашей стране – так называемый «простой» – жил нормально, в достаточном благополучии, а не наперекосяк.

Правда, был прецедент, был порыв... В годы оные как-то советская власть замахнулась осчастливить свой народ по полной программе... И что только тогда на главного человека в стране, на приснопамятного Никиту Хрущева, нашло?... Откуда только объявилось в нем невиданное рвение в конкретные двадцать лет материализовать некогда бродивший по Европе призрак коммунизма в самый что ни на есть настоящий, реальный, хлебосольный образ всеобщего безбрежного счастья?

Вспоминать грустно. И забыть невозможно.

С молодых ногтей ожидание построения коммунизма стало у Вити самой что ни на есть настоящей путеводной звездой: крепко, зачарованно уверовал он в нее... А как не прийти в восторг перед грядущими светлыми горизонтами, которые Хрущев распахнул шире небес?.. Ведь никто и предположить в те годы не мог, куда заведет их разоблачитель сталинского культа личности. Неспроста скульптор Никите Хрущеву посмертно на могильном надгробии голову сделал из белого мрамора и черного гранита: мол, свет и тьма.

Поныне Виктор Прокофьевич, как найдет на него глухая тоска по несбывшемуся коммунизму, так раздраженно обложится томами Маркса, Ленина да Сталина, Макиавелли, Кампанеллы или того же Платона – всем, что умные и не очень люди понаписали за века и тысячелетия о загадочном светлом будущем, – и вчитывается обстоятельно, дотошно, со строгим разумением. Уперто надеясь уловить-таки ответ, на чем и где строительство коммунизма в СССР оскользнулось.

«Известное дело... – бывало, пошучивал на эту тему сосед Степанова по лестничной площадке Анатолий Голомедов. – С призраками не шутят. Вон у нас под Воронежем в Рамони как-то приступили восстанавливать старинный замок принцессы Евгении Ольденбургской, урожденной княгини Романовской. Так тем людям, которые это важное дело начали, вскоре стали являться всякие разные призраки – в итоге почти все они как-то нехорошо один за другим померли... И это весь тамошний народ привело в такой трепет, что работы одно время пришлось остановить – и надолго».

За пристрастность Виктора Прокофьевича к высоким размышлениям сосед Анатолий всегда был к нему со всем уважением особо расположен. И как только в жизни российской происходила очередная знаковая новость, он тут же и объявлялся перед ним для ее пунктуального разбора. А новости регулярно накатывали такие, что мозги враз клинило: то цены на всякие там яйца да сахарок или рыбку какую-никакую невесть почему прыгнули, то иные лекарства миг стали такие, что не купишь, за оплату ЖКХ половину

пенсии отдай, с Украиной никак на мирные рубежи не выйдем и вообще...

Совсем недавно они более чем встревоженно говорили за повышение пенсионного возраста. Сам Анатолий был молодым пенсионером, вовремя проскочившим мимо неожиданно грянувших возрастных перемен: еще недавно слесарь-водопроводчик местного ЖЭКа, он второй месяц вдохновенно отмечал свое шестидесятилетие и первую пенсию. Так что обретался с утра до вечера во всей мужицкой простоте – смятых трико и растянутой, провисшей майке, застиранно-серой. Только волосы на голове у Анатолия при всем его зрелом возрасте были без единой седой искры, свежо мерцая радужным антрацитовым блеском.

– Возможно, это и в самом деле неизбежность... – строго вздохнул Виктор Прокофьевич. – Во имя улучшения дальнейшей жизни народа.

– Значит, по-твоему, если я сознательный гражданин, мне надо от пенсии отказаться и снова топтать на работу в мой любимый ЖЭК? – судорожно вскинулся Анатолий. – Тогда и ты, Прокопыч, отправляйся трудиться прям завтра с утра пораньше в свою рыбокоптильню! А чего? Ты в свои семьдесят два мужик вполне резвый. Потом же был ударником коммунистического труда! Вкалывать тебе – манной кашей не корми! И с нормальной пенсией у тебя какая-то неувязка вышла...

Закрыв за соседом дверь, Степанов аккуратно попросил у Алевтины «капелек».

– Что-то сердце заискрило... Как короткое замыкание...

– Я сегодня в храме вечером буду... – робко проговорила Алевтина. – Закажу панихиду за твоё здоровье... Или сорокоуст!..

И тут Виктор Прокофьевич, как это бывало не раз, когда дело доходило до храмовой темы, рассерженно потянулся к книжному шкафу. Это грандиозное сооружение из маньчжурского темного ореха, увенчанное царской короной в цветах, в свое время досталось ему по наследству от деда-краснодеревщика – и было оно работы дореволюционной, рукодельно-старательной.

Он бережно вытянул из общей обоймы томов Платона, Аристотеля, Цицерона или того же Ленина вкупе с Гегелем тоненькую, старательно зачитанную брошюрку «Моральный кодекс строителя коммунизма».

Тихо, строго проговорил:

– Вот она, моя библия... Я, Алечка, атеист коммунистической закваски, а ты... Сорокоуст!

Виктор Прокофьевич усмехнулся. Правда, больше похоже было, что он нервно всхлипнул.

– Если бы не предательство Хрущева, как бы мы славно жили при коммунизме!.. – напрягся, побледнел Виктор Прокофьевич. – Человек человеку друг, товарищ и брат; всюду и везде – честность и правдивость, простота и скромность; непримиримость к несправедливости, нечестности, карьеризму... Золотые слова! Такие не стыдно на небесах во всю их ширь начертать!

– Сто раз я все это от тебя, дурака некрещеного, слышала... – одними губами усмехнулась Алевтина. – Только в этом твоём моральном кодексе половина всех слов откуда? Из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Недавно наш батюшка говорил в храме, что Путин тоже так считает... И даже главный коммунист Зюганов! Креститься тебе надо! Все твои нынешние переживания ерундой ненужной покажутся. Как на свет народишься! Этот ваш коммунизм на небесах нас всех ждет! Как твоему Никитке про это кто надо шепнул, так он и отступился его строить. На кукурузу перенацелился.

Виктор Прокофьевич принял корвалол и печально зажмурился...

...Летняя утренняя Волга под Сталинградом с ярким, парадно-белым корабликом на свежей и словно молодой после ночи воде. Он компактный, маневренный и называется «речным трамваем». Витенька – будущий Виктор Прокофьевич, засольщик морепродуктов Воронежского «холодильника», ударник коммунистического труда – сидит с родителями на второй застекленной палубе в буфете, который ярко пахнет шампанским, пирожными и ветчиной. Он в матроске и кожаных сандалиях с дырочками.

Отец, Прокофий Ильич, в белом летнем кителе с кортиком в черных лакированных ножнах, курит папиросу

«Казбек» из твердой распахивающейся пачки, на которой на фоне белоснежных гор летит на коне в черной бурке стремительный всадник. Отец только что выпил стакан шампанского и слегка вспотел. Мама, Татьяна Яковлевна, вглядывается вдаль через похожее на линзу толстое, горячее стекло иллюминатора, словно пропитавшееся солнцем.

С верхней палубы в буфет, изогнувшись, заглянул экскурсовод.

– Товарищ военлет, подходим! Уже хорошо видать! – восторженно крикнул он.

Над яркой солнечной Волгой на высоком постаменте с гранитным цоколем стоял двадцатидвухметровый генералиссимус в шинели и с непокрытой головой. Он был так велик, что облака вверху воспринимались как дым от его знаменитой трубки. Чеканная тысячетонная медь величаво золотилась на солнце. Сталин со своей святогоровой высоты глядел вдаль с недоступной задумчивостью. Памятник казался живым, но это была непостижимая грандиозная жизнь, в которой человеческий век – лишь короткий миг. Памятник жил вечностью.

– Обратите внимание! – торжественно сказал экскурсовод. – Размеры скульптуры поражают своей колоссальностью! На погоне сталинской шинели может свободно разместиться автомобиль «Москвич»! Пуговицы величиной с офицерскую фуражку!..

Он говорил так, словно доверительно приобщал экскурсантов к какой-то одному ему сполна открытой тайне. Это был не экскурсовод, а жрец. Человек, которого связывало с фигурой на постаменте что-то особо сокровенное.

– Как задумчив облик вождя! – счастливым голосом прокричал экскурсовод. – Сколько глубоких мыслей на лице!

– Дяденька, а о чем думает товарищ Сталин? – пискнул тогда Витенька.

– Он думает о твоём счастливом детстве! – вдохновенно улыбнулся экскурсовод. – И о том коммунизме, который будет построен в нашей великой стране по его заветному плану!

Он ласково обнял будущего засольщика рыбы. Волжский ветер трепал ленты Витенькиной матроски. Они оба

смотрели на памятник, и все пассажиры неотрывно глядели на этот медный утес, постамент которого был в крапинках людских фигур, точно засижен мухами. Глядели так, будто неожиданно увидели самого близкого, самого дорогого человека.

– Ур-р-ра! – вдруг крикнул кто-то с такой силой, чтобы наверняка докричаться на высоту памятника.

– Ура!!! – грянули все остальные...

Из путешествия во времени Виктора Прокофьевича вернулся радостно знакомый звук – в стену его хрущевки призывно постучал Анатолий. Это еще издавна установилась у них такая дружеская «морзянка». С шестьдесят восьмого, когда их родители сюда из бараков переехали, а они с Анатолием подобную мальчишескую методу связи озорно завели.

Так и ныне: как дойдет у кого из них душевное напряжение до крайности, до надрыва, так вот тебе типа домашней «стены плача» – постучи, и тебе откроют...

– С чем пришел, дорогой? – энергично распахнул он дверь перед соседом, выставив вперед добродушную улыбку.

– Пару слов сказать... Весьма продуманных и ответственных. Извини, я снова насчет повышения пенсионного возраста... – многозначительно емко проговорил Анатолий. – Эх, Сталина на них нет!

Строже строгого вздохнув, Виктор Прокофьевич решительно шагнул на кухню и взял пару хрустальных увесистых рюмок.

– Хочешь, я тебе в реальности изложу, как умирал наш Иосиф Виссарионович?

Анатолий бдитительно напрягся. Подпривстал.

– Отец, «сталинский сокол», как-то поделился. Под большим секретом... – Виктор Прокофьевич взволнованно прищурился. – Под очень большим секретом. Этих фактов ни в каких книгах или самых секретных архивах по истории партии не сыскать. Итак, на дворе роковой мартовский день. Товарищ Сталин мылся в бане. И вдруг почувствовал себя плохо... – Виктор Прокофьевич недовольно оглянулся: к ним важно шла через зал Алевтина с тарелкой только что

испеченных жарких котлет с тушеной капустой: – Спасибо, добрая женщина... Но вернемся к теме! Итак, товарищ Сталин мылся и вдруг... упал. Глаза Иосифа Виссарионовича закрылись, казалось бы, навсегда. А через стекло двери охране все это было хорошо видно. Однако сломать ее и срочно броситься на помощь они не решились. Кинулись искать Берию. Через час-другой у бани сошлись Лаврентий Палыч, Никитка Хрущев, Микоян, Маленков, кто-то еще. Но и эти государственные люди робели войти. Точнее сказать, в штаны наложили. А товарищ Сталин все лежит. Они же мнутса, друг друга вперед легонько подталкивают...

– Ну ты даешь... стране угля! – с хрипотцой тяжело выговорил Анатолий.

Виктор Прокофьевич строго откинулся на спинку стула, руки опустил со сжатыми отяжелевшими кулаками – чувствовал особенность наступающего момента.

– И тут этот, Хрущев, на четвереньки опустился... Выждал. Вроде как даже зачем-то приняхался. Пригляделся... Туда-сюда. А далее лег и по-пластунски пополз вперед к Иосифу Виссарионовичу: медленно, неуклюже, с оглядкой, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. И наконец-таки достиг товарища Сталина. Ладошку к его лицу протянул... Каков момент! И вдруг оглянулся – бледный, потный, глазки бегают. «Дышит...» – прошептал-пролепетал голосом испуганного донельзя ребенка. И тогда Сталин, не открывая глаз, сказал им свои последние в этой жизни слова. Тихо, очень тихо, но тем не менее достаточно отчетливо: «Без меня... пропадете».

– Ах ты как!!! Ек-моек! – подхватился Анатолий – судорожно, вертко. – Спасибо, Прокопыч! Вон оно что, оказывается... Да-а-а... Артиллеристы, Сталин дал приказ!

– Из сотен тысяч батарей, за слезы наших матерей, за нашу Родину – огонь! Огонь! – командирски усмехнулся Виктор Прокофьевич. – Что, Толенька, готов ли ты в бой за коммунизм после такого моего рассказа?

– Всегда готов! Спина только немного болит... Под лопаткой...

– В том месте, куда моджахед тебя камнем звезданул?

– Ага...

Анатолий накосо запрокинул назад голову, словно хотел увидеть, каковы же нынешние последствия того боевого ранения при штурме дворца Амина под Новый год в былом 1979-м.

Этой ночью Виктору Прокофьевичу уперто не спалось.

Алевтина заботливо напоила его корвалолом, однако незримая стена между явью и забытьем оставалась непоколебима. Точно кто-то наказующе не пускал Виктора Прокофьевича в благодатную сферу сновидений.

Тут и вспомнился Степанову тот октябрь 1961-го гагаринского года, когда ему, ученику шестого класса, вместе со всем советским народом торжественно распахнулись ворота в счастливое коммунистическое будущее. А трамплином в эту эпоху благоденствия стал ныне забытый XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Посейчас помнит Виктор Прокофьевич, как они всей семьей следили за ходом съезда по телевизору. На столе, застланном маминой кружевной белой скатертью, глянцево-блескучей от крахмала, стоял взятый напрокат телеаппарат КВН, который тогда расшифровывался гражданами так: «Купил. Включил. Не работает». С экраном чуть более пачки отцовских папирос «Казбек». Поэтому некоторые умельцы увеличивали его изображение с помощью «аквариума» (стеклянной линзы, заполненной водой).

И вот из нутра этого КВНа бойко звучал все съездовские дни песенно-азартный украинский голос Хрущева: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Одним словом, впереди наш народ ждет полная чаша счастья. Только-то и требуется от тебя на пути к нему, что жить по принципу: «Каждый за всех, все за одного, человек человеку друг, товарищ и брат...» Плюс непримиримость к несправедливости, карьеризму и стяжательству...

«Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!»

В ответ на певучий возглас Никиты Сергеевича все пять тысяч ликующих делегатов съезда с восторгом встают разом, точно взлетев, а их продолжительные аплодисменты перерастают в бурные, несмолкающие овации. Но даже сквозь шквал этих густых, чуть ли не артиллерийских звуков

отчетливо, ярко слышатся громкоголосые лозунги, которые выкрикивают явно к тому назначенные особые люди с особыми лужеными глотками: «Слава КПСС! Да здравствует коммунизм! Да здравствует Никита Сергеевич Хрущев!!!»

Такому историческому съезду народ «приготовил» и исторические подарки: построил самую крупную в Европе Волгоградскую ГЭС и взорвал самую мощную в истории термоядерную «Царь-бомбу» на полигоне на Новой Земле.

Отец, уже военный пенсионер, смотрел новости съезда несколько настороженно, побряхтывая. А под конец так и вовсе вдруг выпил полстакана водки и ушел курить в сад свой неизменный «Казбек». Это произошло после того, как первый секретарь Ленинградского обкома Иван Васильевич Спиридонов с суровой вдохновенностью предложил делегатам съезда принять решение об удалении тела Сталина из Мавзолея, учитывая будто бы серьезные нарушения Иосифом Виссарионовичем ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие антипартийные действия в период культа личности. А следом делегатка съезда, старая большевичка Дора Абрамовна Лазуркина, с мистическим надрывом заявила, что накануне советовалась по этому вопросу... с самим Ильичом! И тот будто бы «стоял перед ней как живой» и говорил, что ему «неприятно лежать в гробу рядом со Сталиным, принесшим столько бед партии».

– Это с Ленина начались репрессии! – не своим голосом надрывно крикнул в дверь отец. – Не зря народ его Антихристом окрестил!

С того дня Прокофий Ильич, «сталинский сокол», фронтовик, надолго запил... А там его уже поблизости инфаркт ждал, который в народе называли по-простому, понятно – «разрыв сердца».

Как бы там ни было, страна тогда точно в лихорадке какой-то зажила: для прорыва в коммунизм предполагалось ни много ни мало двадцать лет. На фоне первого полета в космос все казалось возможным в великой Стране Советов! Виктор тогда вдохновенно высчитал, сколько лет ему будет, когда грянет эпохальный коммунизм! 32 годка! Ничего. Нормально. Будет он еще вовсе не старик.

Виктор Прокофьевич поныне помнит, как в октябре шестьдесят первого слова про партию, торжественно обещающую через двадцать лет построить в СССР основы коммунизма, зримо раскинулись на карнизе крыши строительного техникума на проспекте Революции, заменив былой обыденный лозунг «Храните деньги в сберегательной кассе».

Коммунизм – это когда все бесплатно, у всех все есть, все всем довольны. У каждой семьи – собственная добротная квартира с холодильником и телевизором. Рабочий день – четыре часа. Деньги отменены. Все питаются в общественных столовых. В магазинах бери любые товары, сколько хочешь. Все равно лишнего не понесешь в мешке. Автомобили свободно стоят на парковках уже запроваленные и лучшими мастерами досмотренные безопасности ради – садись в любой и езжай, куда душе угодно.

И Виктор поверил Хрущеву: восхищенно, самозабвенно, с азартом. Тем более что Никита Сергеевич был для него тогда почти свой: он мальчишкой почти вблизи видел его с плеча отца в апреле 1957-го на митинге на центральной площади, когда Хрущев приезжал в Воронеж.

«Здравствуй, будущее!» – каждый день звучала тогда во всех квартирах из радиоточек песня Мурадели:

*Мы будем жить при коммунизме!  
Его рубеж не так далек.  
Трудом мы, подвигом приблизим  
Великий день, заветный срок.*

И потом, позже, эта вера так и не покинула Виктора Прокофьевича, прошла все испытания на прочность. Во-круг хохот и гогот – анекдоты про Хрущева, про Брежнева, а Степанов каждого из них уперто выгораживает, всякому их слову благородно верит – мол, на этот раз в Кремле сел настоящий человек!

Только почему-то в народе не было особого праздника в связи с тем, что бродивший некогда по Европе призрак коммунизма вот-вот материализуется в родном Советском Союзе.

Хотя некоторые к его приходу и полной победе стали исполнительно готовиться заранее. Соседи Степановых, Уваровы, жившие этажом выше, принялись ежедневно демонстративно ходить с котелками и термосами в ближайшую студенческую столовую за тамошной прогорклой едой, чтобы освободить себя от домашнего кухонного рабства во имя ускорения созидания коммунизма.

А когда однажды директор школы Павел Герасимович Черных, он же преподаватель истории, вызвал Витю Степанова к доске рассказать о том, как воплощается в жизнь моральный кодекс строителя коммунизма, тот машинально назвал Хрущева просто Хрущевым. Директор тотчас бдительно и несколько испуганно поправил его с особым идеологическим нажимом: «Не Хрущев, а Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев!»

И это не забылось. Когда Виктор оканчивал одиннадцатый класс, Павел Герасимович в его характеристике сурово прописал, что юноша мало интересуется общественно-политической жизнью страны и к построению светлого коммунистического будущего относится с обывательским интересом. У него нет в глазах пламени настоящего комсомольского задора.

Расставаясь навсегда со школой, Витя на выходе чуть было не сбил с ног директора.

– Здравствуй, Павел Герасимович... – ошарашенно выдохнул он. – Извините, пожалуйста...

– Здравствуй, Степанов, юноша молодой! – колоратурным серебристым голосом проговорил-пропел директор.

– Павел Герасимович, что же вы мне такую характеристику написали? С ней только, это, в тюрьму... – тихо сказал бывший ученик.

– Я однажды заметил, как ты на улице заинтересованно слушал политические анекдоты. И так прыскал, так покачивался от хохота в ответ на фиглярство антисоветчиков! – Павел Герасимович бдительно прищурился. – Так что, деточка, ты еще малой кровью отделался.

Витя нахмурился. Тот случай и ему не забылся. Шел он как-то в школу мимо густо-желтой пивной бочки, да шну-

рок туфельный нечаянно развязался. Как у Гагарина, когда тот с рапортом о своем историческом полете бодро шел по ковровой дорожке к трибуне с Никитой Сергеевичем и его ближайшими товарищами по партии. Кажется, Брежневым, Косыгиным, Сусловым, Полянским, которые через три года устроят заговор против Хрущева.

В общем, пока Витя с шнурком управлялся, мужики сочно гоготали над анекдотами какого-то парня с блатной золотой фиксой на зубе.

– Или вот еще, дяденьки... Едет Хрущ по автостраде в США. И тут за ним погнались гангстеры. Как быть?! Никитка быстренько настрочил записку и выбросил в окно. Гангстеры как ее прочитали, так тут же умчались прочь. И что же он им написал? А то, что эта дорога, по которой они едут, ведет в коммунизм!

– Валяй еще, малый! – забавлялась толпа, заряженная веселым легким пивным градусом.

– За мной не заржавеет! – прищурился тот. – Ловите! Бабка спрашивает деда: «Дед, а дед, коммунизм ученые придумали или политики?» Тот затылок поскреб: «Конечно, политики, бабка. Ученые – они бы на собаках сперва проверили...»

Тут и продавщица пива, накрахмаленно-белоснежная да румяная, не сдержалась – так и повалилась на бочку от хохота и объявила, что за такое удовольствие нальет всей компании еще по кружке «Жигулевского» за свой счет. Неразбавленного! Не успела водички добавить через эти самые анекдоты.

– А я все равно верю в построение коммунизма, Павел Герасимович! И сейчас верю! – отчаянно вскрикнул Витя и заплакал.

Когда в 1964-м Никиту Сергеевича сняли со всех постов, вера в объявленное строительство коммунизма у Виктора действительно несколько не поколебалась. Странное дело, даже окрепла. Он решил так: к власти пришли новые люди, со свежими силами. И чтобы доказать свое право быть в будущей коммунистической жизни нужным человеком, Виктор решил поступить в университет на физмат, стать большим ученым и создать для защиты коммунизма в СССР самую мощную в мире водородную бомбу.

Однако с характеристикой от Павла Герасимовича его не взяли ни в университет, ни в пединститут, ни в железнодорожный техникум. Так что Царь-бомбу для империалистов (кодовое название – Ваня, прозвище – «Кузькина мать», в память о любимом ругательстве Хрущева) пришлось делать другим...

Зато Виктор Степанов стал самым молодым засольщиком рыбы в СССР. А потом и самым молодым ударником коммунистического труда. Его фото на фоне Красного знамени даже разместили в главной партийной газете Воронежца «Коммуна», совершенно не поинтересовавшись разоблачительной школьной характеристикой.

С тех пор день ото дня в Викторе начала прорастать самая настоящая крепкая пролетарская косточка. Через несколько лет он вступил в КПСС. И заветные двери универа, наконец, распахнулись перед молодым членом партии.

Но с третьего курса его отчислили... По состоянию здоровья. Неврастения. Виктор тогда вообще чуть было не оказался в «психушке», наконец допетрив, что созидание коммунизма в СССР, не начавшись, давно накрылось медным тазом. А вместо него в том самом заветном 1980-м народу для отвода глаз устроили Олимпийские игры. И когда «наш ласковый Миша», опоясанный олимпийскими кольцами, улетал над зачарованным стадионом в кущи волшебного леса под трогательную песню, Виктор, слыша слова «Олимпийская сказка, прощай», воспринимал их как прощание навсегда со своей мечтой о коммунизме.

Кажется, он тогда впервые послал его и его творцов на три буквы.

Два месяца он пролежал в темной спальне, горстями поедая полезный для нервной системы элениум и валериановые таблетки. Радио и телевизор не включали. Оберегающе. Там по инерции по-прежнему, хотя далеко не каждый день, все еще пели про то, что «мы будем жить при коммунизме! Его рубеж не так далек...»

Виктор Прокофьевич лихорадочно расчувствовался, мысленно оглянувшись на свое бывшее двадцатилетнее ожидание торжества всеобщего равенства и братства.

– Я в магазин... – глухо проговорил он с утра пораньше.

– В домашних трико? – дернулась Алевтина.

– Тут два шага, Алечка... – судорожно кашлянул Виктор Прокофьевич. – И потом, все там меня знают. Никто не охнет, никто не ахнет.

– Алечкой ты меня сто лет не называл... Не подлизывайся!

– А ты не нагнетай обстановку.

– Все ясно... – откинув голову, усмехнулась Алевтина. – Ты собрался за бутылкой. Поминки по коммунизму продолжаются? Это прямо твоя религия, атеист ты хренов... Какая там сегодня дата у этой дурацкой затеи твоего Хруща? Сорокалетие? Ладно, иди... – вдруг на удивление смиренно, почти ласково проговорила она. – Только поллитровку не бери, пожалуйста. В твои годы это много будет.

У Виктора Прокофьевича в левом глазу слеза объявилась. И почему в левом? Одинокая, сиротская. И уныло застряла во впадинке холодным комочком.

– Откуда в тебе такая сговорчивость?.. – осторожно усмехнулся Виктор Прокофьевич.

– Запомню, дедушка?! – засмеялась Алевтина. – А где я родилась, этого еще не забыл?

– Ну ты даешь стране угля... – вскинулся Степанов, с бодрейшей повел плечами. – В селе Калиновка! Курской области.

Алевтина нежно взяла мужа за руку.

– А чем оно знаменито?..

– Включаю память...

– Итак?..

– Не спеши. Дай шестеренкам в голове как следует провернуться.

– Особенно не напрягайся. А то, чего доброго, шарики за ролики заскочат.

– Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! – молодежато хватил себя ладонью по колену Виктор Прокофьевич. – Это же родина Никиты Хрущева. Ты столько раз говорила, как там у вас все было тогда при его правлении ладно обустроено, какие дороги! Какой клуб!

– Приколы нашего городка?.. – усмехнулся Виктор Прокофьевич, мысленно поворачивая сказанное женой и так, и эдак. – Нет, это кто-то зловредно насочинял. Чтобы нас дураками выставить...

– Иди, иди, умник, за своим треклятым пойлом... А то разберут! – хмыкнула Алевтина. – Кстати, в этом году Никите твоему сто двадцать пять лет исполнилось бы... Так что и я с тобой своего исторического земляка возьму да помяну... Только смотри, Витенька, не запей. Помни про свои уважаемые лета.

– Не более двухсот граммов! – бодро, освобожденно засмеялся Виктор Прокофьевич и с силой огладил свое лицо ладонями сверху вниз, словно стараясь расправить на нем все морщины, так-таки набежавшие за его семьдесят с гаком лет.

Снял Виктор Прокофьевич с магазинной полки одну бутылку, потом другую, третью... Бдительно повертел, оценивая со знанием дела. Но ни одна что-то не впечатлила его. Не покидало ощущение, будто он тут, в магазине, как на минном поле: везде и всюду контрафактный товар и прочие наглые подделки. Травят народ, сволочи. А повод сегодняшней требует зелья высшего пилотажа.

Тут вдруг охранник магазинный откуда-то из закоулка азартно выскочил и на дороге перед ним, подбоченившись, стал. Неказистый, комар комаром, но с особым едким гонором во взгляде. Хотя возраста ненамного моложе Виктора Прокофьевича. Так и кажется, что охранник этот глазами к нему уже за пазуху забрался. А, может, и в душу сунется без спроса?..

– Че тебе, дед? Что ты тут шастаешь, бутылки зазря лапаешь? – откашлялся сочно, густо. – Охрану нервируешь. Надо взять что-то – бери. Не маячь без толку.

– Да было бы что взять... – невозмутимо произнес Виктор Прокофьевич и пошел было прочь, чувствуя, как от бдительного, пронзительного взгляда этого резвого сторожа у него начинает болеть голова. Почти как в то время, когда ему «неврастению» приписали.

– Стой, дед! Уйдешь, когда я твои карманы проверю! – вдруг до надрыва построжел, отчаянно просиял охранник. И влет крикнул продавщицам: – Девки! Закрывайте магазин! Я вора, кажись, накрыл! А то сбегнет ненароком!

И тут между ним и Виктором Прокофьевичем вдруг тесно вписались трое парней: по ним без всяких размышлений

было видно, что они пришли повторить. То есть по второму заходу сунулись в магазин. И по всему очевидно, что они еще не раз за сегодняшний вечер сюда вернуться. Пусть не всей компанией, но у кого-то одного так-таки достанет сил. Одеты достаточно прилично, физиономии нормальные, но уже в режиме скорой выключки.

– Ты чего, опричник, пожилому человеку день портишь?! – проговорил один из них, положив охраннику руку на голову, словно припухшую вялой, тусклой лысинкой.

Игриво блеснули нетрезвые темно-синие глаза парня. Он внимательно и с подчеркнутым уважением оглядел Виктора Прокофьевича:

– Батя, разреши тебе предложить бутылочку хорошего, нет, очень хорошего коньяка в качестве сатисфакции за этого сторожевого дебила.

– Благодарю. Только я и сам себе способен взять, – встряхнул плечами Виктор Прокофьевич.

– Не напрягайся, батя! – кашляюще засмеялся другой парень, точно из последних сил. Ухмылка его разъехалась во все стороны, как круги на воде. – Нам это ничего не стоит. От нас не убудет. А тебе – маленький праздник.

– Вам как всегда? – радостно спросила шумную троицу кассир, откуда-то из-под ног доставая одну за другой несколько бутылок отменного крымского коньяка «Бахчисарай»: искристое, густое, ласковое золото самой что ни на есть высшей двенадцатилетней пробы-выдержки.

На улице, заметно трезвея на глазах, синеглазый вежливо, но хватко взял Виктора Прокофьевича за рукав. Тихо проговорил, пригнувшись с высоты своего приличного роста почти лицом к лицу:

– Прости, батя, ты при Сталине родился? При Иосифе Виссарионовиче?

– Да, молодой человек, – строго сосредоточился Виктор Прокофьевич.

– В общем, навидался ты всяких генсеков и президентов...

– Лично – никого...

– Я к тебе со всем уважением, батя. Ты мне показался правильным мужиком, – подчеркнуто внятно проговорил

синеглазый. – Я давно хотел такого встретить. Знаешь, хожу и выглядываю. Особенно когда на грудь хорошо при- му. Тогда у меня душа распахивается! И азарт появляется... Так вот, у меня есть для такого, как ты, правильного мужика, повидавшего жизнь, один вопрос. Всех вопросов вопрос. Глубинный! Нутряной. Лично я глухо не знаю на- стоящий ответ на него. А вот твое мнение мне важно! До задыха!

– Боюсь я, что ты насчет меня ошибся адресом... – на- пряженно вздохнул Виктор Прокофьевич, невольно опу- стил голову и увидел, что стоит на улице возле магазина в своих старых домашних тапочках, надорванные подошвы которых, чтобы не раззавливались при каждом шаге, при- ходилось время от времени подклеивать и небольшими са- морезами впереди прихватывать. Он еще потом их острые концы бархатным напильником аккуратно подтачивал, что- бы доски пола не цепляли, не царапали скрежеща, напрягая нервы.

– Как хочешь отговаривайся, но я от тебя не отстану без ответа, – решенно, сердечно проговорил синеглазый.

Виктор Прокофьевич с любопытством посмотрел на него и вдруг рассмеялся – ни с того ни с сего как-то прият- но потеплело у него на душе. Так давно не было...

– Говори свой вопрос.

Парень опустил ему на плечи обе свои тяжелые, явно не интеллигентные руки. Кажется, от них потянуло запашком едкого сварочного дымка.

– Как тебя зовут?

– Зовут? Виктор Прокофьевич меня зовут... Степанов я.

– Так вот скажи мне, Виктор Прокофьевич Степанов, это верно, что в нашей стране когда-то собирались построить коммунизм? Для всех! Кажется, при Хрущеве?

Виктор Прокофьевич почувствовал, что у него от напря- жения нервно задрожали губы.

– Именно так... – горячечно-глухо выговорил. – Было на то особое решение двадцать второго съезда КПСС. В том году, когда Гагарин в космос полетел.

– А почему я нигде вокруг себя не вижу в реальности этот коммунизм?! Жду ответ! С сугубым волнением.

Синеглазый чуть приотодвинул Виктора Прокофьевича от себя – наверное, чтобы лучше видеть его лицо, чтобы по нему, в дополнение к ожидаемым словам, глубже, пронзительней оценить суть предстоящего откровения.

– Руки убери... – дружелюбно вздохнул Виктор Прокофьевич.

Те немедленно оказались в карманах куртки, втиснувшись в соседство к бутылкам коньяка с поэтическим названием «Бахчисарай», по-нашему – «Дворец в саду».

– Да, коммунизм так и не построили... Горько, конечно. До невозможности... – тихо, невнятно проговорил Виктор Прокофьевич. – А причину я до сих пор толком не знаю... Сталин в свое время примерно так сказал о коммунизме: это такое общество, где не должно существовать государственной власти. Может быть, в этом заковыка? Кто такое, сидя наверху, допустит? Какие такие «сильные мира сего»?

Синеглазый стремительно, хватко обнял Виктора Прокофьевича:

– В точку сказано, батя! Значит, Сталин с головой был мужик. Но откуда же тогда у него кровавый тридцать седьмой, репрессии?

– Это от Владимира Ильича и его соратников наследие, дорогие мои ребятки. От них, якобы революционеров, – первые концлагеря, расстрелы без суда и следствия... А насчет Сталина... Отец рассказывал мне одну историю... – напрягся Степанов. – Ты в ней Иосифа Виссарионовича вину найдешь? В общем, на дворе тридцать седьмой год... Село Лукачевка. Утро. И батя мой, еще пацанчик малой, слышит, как отец заходит и своей жене шепчет: «Мань, конюха Ваську Краснова забрали этой ночью...» – «Как так?.. А за что?..» – «Приехала черная машина, воронок, его посадили и увезли...» Прошло время, и все, наконец, наружу выплыло. Васька этот, Кириллов, а по улице Краснов, на конюшне с мужиками выпил бутылку доброго самогона. Захмелел и понес: дескать, он в нашей стране есть самая главная фигура, потому что человек трудовой – считай, почти пролетарий! А кто такой Сталин? Поп недоучившийся! Так что его трудовая власть – первая по классовому чину, а захочет – Сталина жену завалит хоть на се-

новале, хоть в поле!.. Понимаете, как он выразился? А в нашей деревне у тех самых органов был информатор. Про то каждая собака знала. Его звали Николай Сергеевич, Николай Сергеевич Белкин – избач, при библиотеке состоял. Так вот, дошло до Белкина, как Васька по пьяни оскорбил мужскую честь и достоинство вождя народов! Не откладывая, Николай Сергеевич составил бумагу и подал ее в НКВД. Ну и что? Да то! На раз-два Ваське припечатали десять лет. Сталина не спрашивая! И отправили куда-то в Магадан. Он не вернулся. И через десять лет. Был слух, что урки его порешили. Васька Краснов вроде и там себя выше всех пожелал поставить...

– Вона как, батя! – ахнул синеглазый. – Мне твои слова дороги! Именно твои. Взгляд у тебя маститый! Ты точно духовный пастырь! В Бога веруешь?

Синеглазый хватко, яростно перекрестился. Да так размашисто, что люди, как раз тогда мимо них проходившие, испуганно откачнулись.

– Ну да, ну да... – застенчиво, аккуратно проговорил Виктор Прокофьевич и, чтобы не разочаровать парня, дрогнувшей рукой в свою очередь осенил себя. Достаточно, правда, неуклюже.

– Оно, дед, оно! – горячо вскричал синеглазый. – Я читал, будто Черчилль писал, что русские непобедимы, пока жива их вера православная! Сволочь он, но меня проняло. Даже вспотел я... Нет больше такого народа в мире, чтобы отличался нашим умилением перед Сыном Божьим и Пресвятой Пречистой Богородицей...

– Все, ребятки, все, мне пора... Оставим для трезвой головы эту деликатную тему... – вздохнул Виктор Прокофьевич и вдруг озаренно объявил каким-то даже не своим, особенным голосом: – Правду мы все равно разговорами не найдем! Правду умом не постичь. Только верую православной!..

– Век тебе благодарен буду за такое откровение! – радостно взревел синеглазый, лучисто просяив. – Батя, ты меня человеком утвердил!

Торопливо вернувшись, Виктор Прокофьевич в коридоре тихим сапом принялся аккуратно оттирать половой

тряпкой подошвы своих домашних тапок, в которых по забывчивости только что шлепал по улице и даже в магазин заперся.

– Сейчас по телику такое сказали... – тихо проговорила Алевтина.

– На Марсе найдена жизнь?

– Будто бы с этого месяца пенсию увеличат на тысячу рублей!.. Брехня, может?

Виктор Прокофьевич солидно задумался:

– В нынешних новостях надо правду между строк искать...

– Тысяча... Да что такое она сегодня?.. – напряглась Алевтина, сощурясь так, будто лук чистила. – Один раз в магазин сходить!

Виктор Прокофьевич взволнованно приобнял жену:

– Кстати, завтра мне уже можно идти на почту за пенсией. Десятое число будет, мое самое. Вот я там и погляжу на эту прибавку, есть она или нет? И порадуюсь ей вместе со всем нашим честным народом. Танцы-манцы тогда с тобой устроим! Анатолия позовем!

Вечером Виктор Прокофьевич как-то так допоздна за сиделся у телевизора, будто впаялся в старое затертое матерчатое кресло. Уже все «его» новостные передачи давным-давно прошли, однако он никак не спешил перебраться в постель. Все ждал про ту тысячную прибавку что-нибудь ясное услышать. Не услышал.

– Ты как себя чувствуешь?.. – осторожно подошла Алевтина.

Виктор Прокофьевич промолчал.

– Приболел, что ли?

– Еще чего...

Он трудно, продолжительно вздохнул... И вдруг застенчиво сказал:

– А иконы у нас, Алечка, дома есть?..

Алевтина побледнела и насторожилась.

– Они тебе с какой стати вспомнились? – Она робко перекрестилась.

– Я спросил, ты – ответь... Не задавай лишних вопросов. Ох и народ же вы странный, женщины!

Алевтина зачем-то подошла к окну и замерла, увидев напротив в пустоте над холмом полную, налитую светом луну – небесный одуванчик: коснись – и рассыплется на мелкие парашютики.

– Вить, а почему у Земли нет второго спутника? А то небо какое-то одноглазое, одинокое... – усмехнулась она.

– Ты от главной темы не уходи... – опустил голову Виктор Прокофьевич.

– Иконы... – вдумчиво проговорила Алевтина. – Ты, может, надумал их выбросить? И заменить своим «Моральным кодексом строителя коммунизма»? Щас, разбежусь я их тебе подать.

– Принеси хоть одну, пожалуйста, если есть.

Алевтина порывисто вышла и так же скоро вернулась, держа в руках с особым достоинством и гордостью выцветшие иконки: Спас Нерукотворный, Казанская Божья Матерь и Николай Угодник, которого Алевтина часто с аккуратной нежностью называла «Угодничком». Были те иконы самые что ни на есть небольшие – такие проще от своего домашнего «воинствующего» атеиста прятать.

– Если ты их сейчас выкинешь, я следом в окно выброшусь... – отчаянно проговорила Алевтина.

Виктор Прокофьевич по-детски виновато посмотрел на жену. Угнулся как-то набок.

– Я хочу креститься... – вдруг тихо, покаянно отозвался.

– Что такое случилось, Вить?.. Мир пополам треснул?! – чудаковато привскрикнула Алевтина.

Застенчиво усмехнувшись и скрестив руки на затылке, Виктор Прокофьевич неторопливо, обстоятельно рассказал, как он недавно с молодежью в магазине говорил о коммунизме, о православии, а они его слова про веру нашу русскую по-настоящему восприняли – с благоговением, уверившись, что говорят с человеком глубоко воцерковленным. И такой стыд его тогда вдруг пронял. Такая пронзила ошеломляющая вина за свой окаянный вражеский атеизм.

– Ты знаешь, я там с ними при разговоре вдруг машинально... перекрестился. И так хорошо это сказалося. Такое небывалое чувство тотчас объявилось во мне... Какая-то

невиданная свобода. Никогда такой в себе не ощущал. Точно мой заветный коммунизм вдруг разом наступил! В душе! Небесный коммунизм! – Виктор Прокофьевич слезно вздохнул. – И вот тебе мое резюме: хочу, мать, окреститься. На старости лет. А еще меня как осенило – все беды нашей страны через тот самый дьявольский атеизм! Когда храмы рушили, священников в проруби топили или на воротах церковных распинали... Вот и маемся теперь через это!

– Я тебе, миленький, во всем помогу... Все подскажу, что и как надо правильно делать. Радость какая! Витенька... – чуть ли не обморочно прошептала Алевтина. – Да ты мне этим своим решением годков жизни несчетно прибавил! А то я всегда молилась украдкой, с трепетом оглядывалась на каждый твой шаг... И так переживала за твое тупое безбожество. Дорогой мой! Наконец! Прости, Господи, нас, грешных...

– Решено, Алечка... – растроганно покивал Виктор Прокофьевич и, приотвернувшись, большим пальцем торопливо прикончил слезу, припухшую на щеке.

– Так давай с тобой прямо сейчас молитвы начнем учить? – опустилась Алевтина на колени рядом с мужем. – Возьмемся за руки – и начнем!

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! – бодро проговорил Виктор Прокофьевич, прилаживаясь к ней.

Вскоре он крестился. В любимом Алином храме – Никольском, который уже триста лет мощно стоял на одном из приречных воронежских холмов с белоснежной стройной свечой колокольни: в последнюю войну, хотя и обустроили немцы на ней наблюдательный пункт, ни один осколок или пуля храм не зацепили. Когда немцы бежали – город зажгли, а Никольский пламя миновало.

Самого обряда крещения Виктор Прокофьевич толком не запомнил. Как слепящий свет все вокруг застил. Крестились сразу человек пять. Стояли в шеренгу. Первым был какой-то высокий поджарый мужчина лет пятидесяти в белом ярком костюме и с густыми усами а-ля император Николай II на сухом длинном лице; потом же – борцовского облика молодой человек с тяжелой золотой цепью на шее, хуленькая заплаканная девочка лет десяти в про-

стенком сарафанчике и артистичная, роскошно полная дама, отдаленно похожая на маму Виктора Прокофьевича. И робко, смущенно теснились во множестве молодые мамы с уперто орущими младенцами. А перед ними – весь какой-то нежно-счастливый, будто приготовившийся вот-вот взлететь в божественные дали, маленький, сухонький батюшка Иван.

После таинства крещения совершалось миропомазание: у Виктора Прокофьевича дух перехватило, когда душистый маслянистый холодок коснулся его рта, лба, глаз, ушей, ладоней, груди... Как издали услышал он напевные, проникновенные слова батюшки Ивана: «Печать дара Духа Святого. Аминь», а следом, в унисон им, невесть откуда вдруг строго и торжественно прозвучало: «В Царствии небесном обретешь равенство и братство...»

Не там ли заветный коммунизм?..

Из храма после крещения Виктор Прокофьевич вышел нетвердым шагом, даже как бы пошатываясь. Будто заново учился ходить: только народился и впервые увидел земной мир вокруг себя. Еще шаг-другой – так оттолкнется и, может быть, даже полетит. Аля, словно подозревая возможность такого момента, как бы на всякий случай крепко держала мужа под руку. Обоим плакать хотелось. Как это случается порой от переизбытка счастливых эмоций. Виктор Прокофьевич нет-нет, да и шмыгал носом. Густо так, емко. При всем при том Алевтина шла напряженно и так, словно на цыпочках. Будто некая сила и ее аккуратно, заботливо тянула вверх.

Алевтина сегодня наконец впервые открыто выставила в зале на серванте свои ранее старательно припрятанные иконы и – правда, не без некоторого смущения – с тихой, кроткой радостью помолилась перед ними, не таясь от мужа, отчетливо, громко выговаривая милые слова: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный...»

Виктор Прокофьевич, став рядом с Алей, тоже перекрестился, часто, искоса поглядывая на нее, чтобы не ошибиться в своем движении рукой.

...А когда наступил тот январский день, суливший ни много ни мало тысячную прибавку к пенсии, отправился

Виктор Прокофьевич на почту. Как на разведку боем. Оделся тщательно, прилично и ранней раннего лыжи наострил, но все равно первым никак не оказался – многие пенсионеры в то утро сорвались с постелей досрочно.

– Паспорт взял? – вслед мужу ласково-бдительно крикнула Алевтина, только что проговорив завершительное «аминь» перед живо, радостно сияющими на серванте иконами, освобожденными из долгого тайного заточения.

Виктор Прокофьевич строго промолчал. Что-что, а паспорт он никогда не забывал. Такая привычка в нем осталась еще с советской поры. Без паспорта – никуда. Мало ли что. А вдруг как? Ничего не докажешь про себя. Так что придется следовать в отделение для тщательного выяснения личности.

Кстати, бывать на почте ему по-своему нравилось. Здесь ощущалась какая-то особая атмосфера – может быть, потому что сюда приходили и отсюда уходили непрерывными потоками письма, посылки, телеграммы во все уголки страны и далее того. На почте он чувствовал себя как бы стоящим на высоком холме, откуда волнующе видна бескрайняя даль дальняя всей земли нашей.

Получив пенсию, не отходя, он деловито, строго пересчитал положенные ему дензнаки. Волнующе хотелось кончиками собственных пальцев вживе явственно ощутить весомость обещанной щедрой прибавки.

Тысячными ему выдали пенсию. Как всегда. И как всегда этих тысячных оказалось ровно девять штук. И к ним лишь некие рублей шестьсот «пристегнуты».

Виктор Прокофьевич напряженно вздохнул.

– Что вы еще ждете, дедуля?! – с неприязнью вскрикнула молоденькая оператор: вся из себя красивенькая, энергичная до невозможности.

– Прибавку к пенсии жду, ту, тысячную... – глухо отозвался Виктор Прокофьевич.

– Откуда я вам ее возьму?!

– Было же сказано... В связи с повышением пенсионного возраста. Мол, полагается.

– Что вы, дедуля, на меня тут своим китайским чесноком настырно дышите?! – построжила оператор. – Замор-

довали! Каждому объясняй. Я так в психушке скоро окажусь. Слушай, старик, и запоминай: те, у кого, типа тебя, пенсия была меньше прожиточного минимума, получали социальную доплату. А как только пенсия увеличилась, то, соответственно, на столько же сократили и урезали эту самую социальную доплату. Получилось так, что одной рукой вам дали, а другой рукой взад и забрали! Вот такая икебана!

Виктор Прокофьевич в озадаченности деньги машинально выронил.

Стоявшая за ним тяжелая, дородная старушенция на костылях бодро-насмешливо объявила на весь зал:

– Нечего тут своими грошовыми деньгами мусорить! Не смог заработать себе достойную пенсию – так теперь хочешь вывернуться за счет государства?

– Вы это... того... – с усилием выдохнул Виктор Прокофьевич: губы у него онемели и как бы слиплись. – Я ударник коммунистического труда... Просто с документами путаница вышла.

– Если каждый примется тут права качать!.. Покиньте очередь, Степанов! – вдохновенно постановила оператор.

На почте народ словно этого только и ждал:

– Ступай, дед, подобру-поздорову! Бабка твоя уже все глаза проглядела, тебя высматривая!.. Гражданин, не нервнируйте народ!.. Все мы тут – ударники! А что денег в кармане пусто – так это, значит, мы уже при коммунизме Никиткином живем!

Виктор Прокофьевич при этих словах тотчас обернулся на голос – так резко, что чуть голова с плеч не сорвалась. Но увидеть никого перед собой не увидел: серебристое сияние застило все.

В него он и повалился, теряя равновесие...

Пришел в себя Виктор Прокофьевич в машине скорой помощи. Кажется, еще не ехали. Он лежал на слегка перекошенных носилках, туго прихваченный ремнями. Пахло какой-то лекарственной дрянью. И почему-то ливерной колбасой. Он тревожно вздрогнул, решив было, что находится на операционном столе.

– Что со мной?.. – прошепелявил, не узнав свой голос. Словно кто-то другой это за него спросил.

– Обморок... – глухо отозвалась медсестра, аппетитно, сосредоточенно догрызая бутерброд с каким-то паштетом.

– Так что, девки, едем?! Ваш дедок уже оклемался? – это, кажется, водитель крикнул.

– Как вы себя чувствуете?.. – низко наклонилась к Виктору Прокофьевичу медсестра.

Запах ливерной колбасы усилился, стал физически ощутимым, словно она была у Виктора Прокофьевича во рту. Никудышная колбаса. Как почти все в нынешних магазинах. Точно из пластика сварганенная.

– Ничего вроде... – тихо сказал Виктор Прокофьевич, как оглядев себя изнутри внутренним бдительным взором. – Только вы не подумайте, пожалуйста, что вся эта напасть со мной приключилась из-за того, что мне вместо обещанной тысячи к пенсии выдали только шестьсот с небольшим. Меня слова про коммунизм сразили! Кто-то очень не вовремя пошутил...

– Какой такой коммунизм? – хмыкнула медсестра. – Наше поколение ни о чем таком уже и знать не знает. Да бог с ним, с этим вашим коммунизмом! Вы идти сможете своими ногами, дедушка?

У нее было какое-то несовременное, достаточно заботливое выражение на лице.

«Неплохая девчушка...» – машинально подумал Виктор Прокофьевич и почти мужественно вздохнул.

– Да, идти я смогу.

– Или лучше подвезти вас?

– Не надо. Тут недалеко.

– Нет, все равно подкинем. Зима.

– Я в порядке.

Через полчаса Виктор Прокофьевич, покряхтывая, парил ноги на кухне в тазике, добавив в кипяток по Алиному рецепту полстакана яблочного уксуса, столько же питьевой соды и столовую ложку тертого имбиря.

И тут пришел Анатолий. То есть как бы вломился, точно штурмом взял их дверь, как некогда ворота дворца Амина. Он ворвался в тот самый момент, когда Виктор Прокофьевич ритуально парил ноги, а напротив него, обессиленно привалившись к дверной притолоке, стоя-

ла со свежим махровым полотенцем в руках заплаканная Алевтина.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Сочувствую относительно прибавки к пензии по полной программе! – вежливо проговорил Анатолий. – Кстати, как там наш великий генералиссимус Суворов говорил? После бани штык продай, а выпей!

Обреченно вздохнув, Алевтина занялась гостевым столом.

– Только, чур, сегодня ты мне про то, как штурмовал дворец Амина, рассказывать не станешь?.. – душевно засмеялся Виктор Прокофьевич. – Настроение у меня сейчас самое что ни на есть пораженческое.

– А я тебе его враз подниму! – одним, а потом и вторым глазом озорно подмигнул Анатолий. – Я расскажу щас, через какую оказию мне теперь можно хоть и вовсе от моей нищенской пензии отказаться! Как вам известно, моя дочь замужем, в Москве давно живет. Там же внучка мне родила. Эдуарда! Вырос умнящий пацан! В МГУ на математическом факультете он самый продвинутый. Победитель всемирных олимпиад. Так вот, он проникся моим бедственным пенсионным положением и стал регулярно присылать денежку. Очень приличную. А откуда она у него? Как хитроумно выяснил я у дочурки, оказывается, мой внучок, будущий Эпштейн, в стриптизном клубе после занятий по вечерам выступает... Ради деда! Денег платят ему там немерено!

– Все-таки, наверное, будущий Эйнштейн... – строго вздохнул Виктор Прокофьевич. – И вообще, как-то это все нехорошо... Мне твоя история не понравилась. Честно.

Анатолий хмыкнул и вдруг махом выпил две рюмки подряд с видом человека, которому отныне все в этой жизни позволено – заслужил, выстрадал. Третью налил! Даже казалось, что он сейчас под нее, невзирая ни на что, так-таки приступит к самому своему коронному рассказу – про взятие дворца Амина и как моджахед ему из пращи камнем по спине жажнул.

– Что смотрите на меня, как на врага народа?! – Анатолий вскрикнул глухо, с каким-то то ли присвистом, то ли сиплым верещанием. – Ты песню такую слышал: «Сегодня мы не на параде, а к коммунизму на пути, в коммунистиче-

ской бригаде с нами Ленин впереди»? Только слово «коммунизм» сегодня замени на «капитализм». И пой песенку, пой! Ишь, не нравится ему... Тарзану певицы Королевой, значит, стриптиз разрешен и даже определен ему в заслугу, а нам, простым людям, фиг?

– Молчу-молчу... – покорно опустил голову Виктор Прокофьевич. Прежде всего, чтобы слезу неожиданную спрятать. – А я, милые мои, в светлое будущее все равно верю. Пусть оно и не будет называться коммунизмом.

Он покаянно вздохнул и вдруг побледнел, точно окунувшись лицом в тазик с мутно-серой краской.

– Я понимаю, что ничего не понимаю... – сокрушенно вздохнул Анатолий. – Ясно одно, Прокопыч: тебе надо было в свое время в философы подаваться, а не на физмат переться. В тебе наш российский Кант пропал!

– Тогда я предлагаю тост за несбывшуюся коммунистическую мечту пострадавшего советского народа... – тихо, сердечно проговорил Виктор Прокофьевич и хотел было покаянно перекреститься, но не успел даже замах рукой сделать – вкось соскользнул на пол.

Почему-то в этот миг Алевтина вдруг машинально вспомнила, как однажды у нее на глазах упала в реку Воронеж статуя Сталина, до того лет тридцать простоявшая на косогоре в здешнем Доме отдыха имени Горького. Оттуда скульптурный Иосиф Виссарионович во всякое время года вдохновенно глядел на замечательные лесистые заречные просторы, пока не грянул XXII съезд партии. И однажды на глазах у Али и ее подруг какие-то суетливые деловитые люди, подрубив топорами гипсовые ноги вождя, столкнули его с крутого обрыва. Девчонки отчаянно ахнули.

...Как ни странно, «медицина» приехала скоро. Фельдшер скучно осмотрел Виктора Прокофьевича и велел сестре сделать какой-то укол.

Вскоре Алевтина ехала возле мужа в какую-то больницу – судя по начавшимся колдобинам, где-то за городом.

Всю дорогу молчали – медики от усталости, она от ужаса, а Виктор Прокофьевич просто-напросто был без сознания. На дорожных ямах его голова с синюшно-бледным, ничего не выражающим лицом тупо переваливалась из

стороны в сторону, словно он от чего-то настойчиво отказывался. Алевтина с отчаянием чувствовала, что в большом безвольном теле мужа его самого сейчас как бы и нет – душа словно отлетела: то ли временно, то ли уже навсегда...

Остаться с Виктором Прокофьевичем в больнице, чтобы «хоть пот отирать у него со лба», ей не позволили.

Только на третий день Алю так-таки допустили в реанимацию. Она по-хозяйски поправила каждую складочку мужнина одеяла, устроила поудобней подушку и поставила в изголовье на тумбочку миску свойских, как налитых, темно-румяных ядреных котлет. Чтобы Витенька хотя бы вдохнул аромат родного дома.

Ей вдруг показалось, что веки Виктора Прокофьевича напряглись, словно он силился открыть глаза...

Как бы там ни было, этой ночью часу в третьем Виктор Прокофьевич слабыми, мучительными рывками впервые оторвался от своего жесткого реанимационного ложа. Уныло, тупо огляделся в палате, болезненно шурясь от здешнего зыбкого мертвенного света. И вдруг робко улыбнулся, вспомнив привидевшееся ему во время операции путешествие в некий явно неземной мир. Вначале, как он и читал об этом в Интернете, был какой-то огромный ребристый тоннель с тусклой подсветкой. Из него Виктор Прокофьевич с удивительным равнодушием оглянулся на свое бездыханное тело, далеко внизу окруженное утомленными врачами, усмехнулся и смело тронулся дальше.

Он медленно плыл сквозь тоннель, как восходил из глубины морской к густому золотистому свету вверх. И будто бы звук колокольный, мягко-емкий, неведь откуда исходящий, становился с каждой минутой все отчетливей.

«Тебе еще рано сюда... – вдруг тихо, бережно сказал ему нежно сияющий ангел с перламутровыми крылышками, прыснувший навстречу, как голубок с карниза. – Ты сейчас вернешься обратно... Только запомни: тебе поручено передать всем людям, как им, наконец, наладить на земле справедливую и счастливую жизнь. Вы много горя испытали на своем пути и не раз мечтали построить достойное светлое будущее. Но каждый раз выбирали ошибочные тупиковые пути. И с коммунизмом так. Истина в учении, которое назы-

вается Харисто гунаиз. Человеку достаточно будет произнести эти два слова, как он и все люди на планете точно по мановению волшебной палочки обретут заветное счастье! Это как бы ключ к нему... Харисто гунаиз!»

И Виктор Прокофьевич действительно как бы вернулся назад, на свою больничную кровать, еще не остывшую. Он долго лежал в полной неподвижности, словно заново привыкая к своему большому, пронизанному болью телу. Наконец медленно потянулся и начал неуклюже отсоединять от себя всякие там трубки и провода, а потом, набравшись смелости, опустил ноги и неспешно зашаркал искать хоть кого-то. Он остро сознавал, что может в любую минуту умереть уже по-настоящему. Так что ему было крайне необходимо не откладывая сообщить хоть кому-нибудь заветные слова ангела.

Палаты все были закрыты. Дежурная медсестра лихорадочно спала, словно вгрызлась в сон: все ее хрупкое тельце резко подергивалось.

Виктор Прокофьевич нащупал на служебном столе возле телефона лист чистой бумаги и ручку. Несмотря на растущую боль за грудиной, начал старательно писать.

Последнюю точку он поставил, когда за окном реанимационной взбурлилось солнце, еще тускло-багровое, четкое, не залохматившееся своими размашистыми лучами.

В палате Виктор Прокофьевич аккуратно прилег, прижался к пропахшей лекарствами подушке и вдруг заплакал. Это были счастливые слезы радости за счастливое будущее человечества. Наконец-то...

Через две недели его выписали. Он уже мог достаточно сносно ходить с бадиком, сам ел – правда, только левой рукой – и почти все понимал, что происходило вокруг. Однако речь к нему толком не вернулась. Говорить он моментами говорил, порой даже избыточно много, слишком лихорадочно. Эта его новая речь разве что походила на крик раздраженной сойки. Само собой, его никто не понимал. Ни Алевтина, ни Анатолий. И даже жившая над Степановыми вузовский преподаватель лингвистики Жозефина Легранд ничем не могла помочь. Тарабарщину нес Виктор Прокофьевич.

Правда, через несколько дней Жозефина привела к Степановым на консилиум двух своих коллег-профессоров с кафедры мировых языков и культур того самого универа, в котором Виктор Прокофьевич полвека назад проучился три курса на легендарном физмате.

– Вы только зацените сей филологический феномен! – чуть ли не со слезами на глазах вскрикнула Жозефина.

Около получаса Виктор Прокофьевич сдержанно, застенчиво беседовал с учеными на своем особом языке, а потом постепенно начал раздражаться и в конце концов нервно перешел на досадливый крик.

– Асдар годзи долук! Ор эхфун тилои сусор! Эглис оторон юрфес! Харисто гунаиз!!! – в таком вот духе яростно объяснялся он на своем неслыханном для маститых лингвистов языке, скрипел зубами и лихорадочно писал ученым записки – одну за одной, вкривь и вкось. И хотя русскими буквами, но не менее заумно.

Чувствовалось, что во всем этом его загадочном словоизвержении именно два слова – харисто гунаиз – особенно важны для Виктора Прокофьевича. Словно в них какой-то высший смысл был заключен. Он произносил и писал это свое «харисто гунаиз» с особым слезным волнением и едва сдерживал гнев, видя, что его никак не понимают. Кулаком судорожно грозил, бледным от перенапряжения.

– Такого языка, на котором сейчас говорит ваш муж, нет на планете ни у одного народа, народности или племени, – наконец, объявили ученые лингвисты Алевтине свой строгий, выверенный профессорский вердикт. – И не было ни у кого в прошлом. Построение звуков, частей слов у вашего Виктора Прокофьевича таково, словно перед нами язык, извините, некоей внеземной цивилизации! Не меньше и не больше.

Через несколько дней Виктор Прокофьевич, наконец, обреченно замолчал и только время от времени судорожно-дерзко усмехался, густо вздыхал. То, что у него ни с кем не установилось взаимопонимание, все настойчивее начинало казаться ему тайным заговором против такого близкого, такого возможного всечеловеческого счастья.

Где-то через месяц те самые два профессора принесли выписанное ими за свой счет из Израиля новейшее дорожное лекарство по части инсультов.

На третьи сутки Виктор Прокофьевич заговорил как все. Достаточно отчетливо. Это, само собой, стало общим праздником. Вновь собрались вместе Аля, преподаватель лингвистики Жозефина Легранд и Анатолий с женой. Конечно, профессора пришли, еще и с каким-то своим приятелем, просто-таки светилом сегодняшней медицины. Кажется, именно он и помог достать в Израиле спасительное лекарство. Или даже сам его создал.

За праздничным столом Жозефина в подробностях рассказала гостям о странном «инопланетном» языке, на котором еще недавно так горячечно изъяснялся больной Степанов. Словно из кожи вон лез донести до человечества некое великое откровение. Жозефина с усмешкой показала всем – и самому Виктору Прокофьевичу – листки, на коих тот недавно упорно, стоная и вскрикивая, писал странные загадочные слова; но чаще всего, настырней всего – именно то самое «харисто гунаиз».

– Откройте нам, наконец, что за тайна скрывается в этом выражении?! – требовательно и в то же время счастливо вскрикнула Жозефина.

Виктор Прокофьевич пробежал глазами свои каракули, побледнел от напряжения и беспомощно оглянулся по сторонам.

– Эглис оторон юрфес... Харисто гунаиз... Убейте меня, но я не помню, что это такое. Неужели я всю эту ахиною настрочил? Вы не путаете? Какой-то бред сивой кобылы... Извините... – смутился Виктор Прокофьевич и вдруг тихо заплакал, прижав ладони к лицу: – Я человек больной... Не мучайте меня!

На этот раз слезы были по-детски горячие и быстрые. Словно что-то нагорело у него внутри, накалилось безмерно...

# АНТИМИР

Повесть

*Каждую секунду через тело человека  
проходит 100 триллионов нейтрино.*

## 1

В так называемые перестроечные девяностые годы прошлого века у многих сложилось ощущение, что они живут в тесной мрачно-темной комнатке, со стен которой днем и ночью на них «тырятся» с подленьким хихиканьем кривляющиеся вурдалаки, словно сошедшие с полотен графической серии Гойи «Капричос».

Ивана Морозова, несмотря на его рабочую косточку, эти видения тоже не обошли стороной. Однако страна после Ельцина год от года трудно, но менялась в лучшую сторону. Люди почувствовали почву под ногами. Ощутил перемены и Иван Морозов, к тому времени сорокалетний шлифовщик шестого разряда военного ремонтного завода, переехавшего в его родной город после вывода наших войск из Германии.

При всей своей внешней обыденности и среднем с натяжкой росте Иван, тем не менее, выделялся доброжелательной улыбкой на его скуластом, мужественном лице, одетом в темно-черную с металлическим отливом жесткую бороду. И особой прической а-ля Капуть, пусть и высмеянной в свое время писателем Лесковым как присущую лакеям и поварам из домашней челяди да, как я бы добавил, купеческим приказчикам той славной поры – ныне она, несмотря ни на что, очень даже в тренде и называется «шторами», а попросту – «занавеской». Глаза же у Морозова и вовсе были сущностью разительно своеобразной: зорко всевидящие, лучисто-лазерные, точно способные высветить в душе любого человека те его глубинные качества и свойства, о которых тот сам никогда и не подозревал. По

крайней мере, редкому человеку под взглядом Морозова не хотелось с неожиданным душевным подъемом, взволнованно, с учащенным биением сердца принародно, нарастать открыть всего себя, как в храме порой случается у истово верующих людей, прежде чем они подойдут каяться в грехах к батюшке.

Не удивительно, что в итоге два незаурядных, но разнополярных человека – шлифовщик Морозов и директор военного ремонтного завода генерал-майор Михаил Антонович Вельяминов – не только нашли общий язык и взаимопонимание, но в прямом смысле слова сдружились. Внешне они были полная противоположность друг другу. Против Морозова, да и практически многих иных людей, Вельяминов выглядел знаковой монументальной фигурой: ростом под два метра, плечи разворотистые, мясистые, а мощная ярко-лысая голова уверенно возлежит на шее, которую иначе как пнем не назовешь.

На этом различия оканчивались, потому что их общие взгляды по самым обыденным и самым важным государственным вопросам были сродственны, точно два яблока с одной ветки. Более того, их было никак нельзя допускать друг до друга ради непрерывности и эффективности производственного процесса. Как они сойдутся, пусть неожиданно, пусть оба бегущие по какому-то неотложному делу, так нет же, все равно оба немедленно друг против друга тормознутся, и давай с высоким градусом напряжения решать все подряд ведущие вопросы человеческой жизни и вселенского миропорядка. Это за ними на заводе знали многие, и когда с выполнением производственного плана наблюдалось торможение, всякими изошренными уловками старались не дать Морозову и Вельяминову сойтись вместе. Особенно бросалось в глаза, что именно Михаил Антонович первоочередно норовил найти возможность при всяком удобном моменте поинтересоваться у Ивана Морозова по поводу его рабочего, бери выше – пролетарского – понимания того или иного существенного для жизни страны или, более того, человечества, вопроса. Всемирные он тоже никак не обходил, и брались за них решительно, истово.

Но этим объемы обсуждений между ними не ограничивались: всем нынешним западным духовным странностям и явным физиологическим отклонениям они косточки перемыли, самые замысловатые глобальные исторические факты со всех их тайнами и далеко идущими последствиями вскрыли. У них как некое меню для обсуждения всегда имелось. Скажем, из свежих тем для девяностых они предпочитали пристрастно отхлестать верхи за дерзостную махинацию с поголовным отнятием у населения сберегательных вкладов или за лицемерно невыполненное обещание выплачивать рядовым россиянам проценты с добычи богатств, содержащихся в недрах страны. Тож памятное многим дирижирование Ельциным оркестром полиции Берлина на празднике в честь завершения вывода Западной группы советских войск из Германии – мыслили оба и в этом плане с союзным размахом. Бывало, и высоких творческих тем касались: вполне могли опять-таки с социальным окрасом обговорить выступление в театре оперы и балета певца Григория Лепса или же крепко покритиковать затейников местного «Платоновского фестиваля». Литературу и живопись они тоже не обходили стороной, так как Морозов имел тайное, но толком нереализованное мечтание выражать свои мысли о человеках и человечестве на бумаге. Однако в какой форме, поэтической или прозаической, лучше себя заявить, он до сих пор смущенно не определился. Под стать ему были и генеральские мечты, выражавшиеся в пристрастии к живописи. Это в нем вдруг выскочило, как черт из табакерки, после первого же посещения им Галереи старых мастеров, более известной как Дрезденская, перед картиной... «Спящая Венера» Джорджоне? «Блудный сын в таверне»?.. Конечно же, «Сикстинская Мадонна»?! Нет и нет. С вдохновенным надрывом Михаил Антонович остановился и почувствовал в себе среди всех своих воинственных генерал-майорских свойств и особенностей смиренного, застенчивого художника перед дюреровским «Портретом молодого человека». Далее тайком купил краски, кисти и все остальные причиндалы, необходимые для такового живописного творчества. Но приступить к нему долго не

решался, испытывая себя, как и положено, на классическом карандашном рисунке.

Никак нельзя не отметить, что вся такая рьяная дружба между директором и шлифовщиком установилась после одной весьма странной заковыки. Как-то директор по забывтой им самим на сегодня причине, явно рядовой, вызвал Морозова. Иван напористым армейским шагом, настоящим молодцом, каким только и мог быть бывший старший сержант кабельной роты полка правительственной связи, вошел в директорский масштабный кабинет. И как порог переступил, так висевшие на стене над входной дверью отечественные часы «Янтарь» на батарейках, которые, считай, уже год как свое отработали, тотчас, бодро тренькнув, ожили, и стрелки их уверенно и охотно занялись своими привычными измерительными обязанностями на элегантном, золотисто переливающимся циферблате с исполненными особого достоинства древнеримскими цифрами.

Генерал встал и солидно откашлялся.

– Это совпадение или ты, братец, того, реально смог каким-то невероятным образом запустить эту штуковину?

– Вы про Ваши часики? – смущенно засмеялся Морозов.

– Так точно, товарищ генерал-майор! – живо и одновременно робко выдал он хорошим солдатским голосом: – Это у меня такая причуда с самого детства. От мамкиного деда Харлампия перенял. У меня с электричеством какое-то загадочное сродство. Точно я при нем часовым состою.

– Тут ты явно загнул, сосед! – нахмурился Вельяминов. Откашлялся. Пальцами звучно щелкнул: – Психиатру тебя показать разве что от греха подальше? Есть у меня один знакомый спец по всяким там маниям величия.

Насчет «соседа» Вельяминов не оговорился. Что редко случается и в самой фанфаронски демократичной стране, руководитель военного завода с двумя тысячами сотрудников и рядовой шлифовщик из их числа жили в одном доме: Михаил Антонович Вельяминов на четвертом этаже, а шлифовщик шестого разряда Морозов – на третьем. Более того, оба жили в одинаковых квартирах, которые тогда уважительно называли «чешками», и они явно отличались некоторым смелым авангардизмом планировки по срав-

нению с былыми классическими хрущевками. По крайней мере, проект этих «распашонок» предусматривал отдельный санузел, наличие эркеров и отказ от проходных комнат. Кстати, у Морозова и Вельяминова их чешки были с балконами, выходящими на закат звезды по имени Солнце. Это невольно способствовало им обоим по вечерам почти ежедневно определенное время душевно общаться друг с другом со своих балконов. Между прочим, многие соседи выходили их в это время послушать с уважительной внимательностью. Порой не всякий такой сосед был трезв, а, напротив, так даже очень пьян, но и подобные личности никогда не смели встрять в столь невозможно умный разговор двух друзей.

Кстати, окна кухонь у этих обоих заводчан глядели в сторону восхода нашего светила, что в итоге делало их ежедневно сопричастными определенным подробностям жизни Вселенной, что невольно настраивало Морозова и Вельяминова на беседы особой политической и научной звучности.

– Обижаете, сосед... – уверенно прозвучал в ответ голос Морозова. – Как-то указание было от самого президента Ельцина, чтобы по всей стране тайно найти людей со всякими разными паранормальными наклонностями. И потом их негласно приспособить к полезным в государстве делам: лечить, предсказывать, на мнение чье-либо политическое влиять. Вот и я им под руку невесть с какой стати и попался. Кто-то что-то про меня сболтнул с дуру ума насчет моей электрической магии. В общем, всякие разные светила медицины приступили меня крутить-вертеть и загадочными лучами просвечивать. Картинки разные требовали рисовать. Однако никаких сверхчеловеческих способностей за мной, к счастью, не обнаружили. А факт моих способностей относительно часов в итоге признали за «антинаучную загадку». Но не без хохота. Даже прозвище мне напоследок дали – «Человек из Антимира»...

## 2

Одним словом, Иван Морозов и его супруга Люся, директор юношеской библиотеки имени Хармса, на все государ-

ственные и прочие иные общественно значимые праздники по-соседски пренебреженно приглашались к Вельяминовым. Об этом можно было бы и не говорить, но есть факты, того убедительно требующие. В четырехкомнатной, как и у Морозова, квартире Михаила Антоновича Вельяминова за праздничные столы раз от раза рассаживались люди самых разных социальных орбит и возрастов: тот же, скажем, бывший мэр города и самый, что ни на есть, граффист-вандал, заместитель губернатора по промышленности и молодой писатель лет двадцати пяти, автор политических романов-катастроф, не нашедших пока своего издателя, далее – руководитель городского управления культуры и во множестве журналисты из самых-самых любителей докопаться до глубинных мотивов всего на свете. Одним словом, куча мала, в которой самым «стремным» считался бывший однокурсник Морозова по физмату, бывший местный олигарх из первого, еще ельцинского «призыва», Илья Круглов, – человек масштабной телесности, но при этом обладавший особой утонченной вежливостью и тишей застенчивостью. Став в итоге многоходовых и порой весьма загадочно разорительных жизненных пертурбаций сотрудником астрономической обсерватории центрального парка, он, наперекор всем и всему, явно обрел так называемое «простое человеческое счастье». Невзирая на то, что прямая связь его неказистой обсерватории со Вселенной нисколько не препятствовала быть ей внешне похожей на общественный туалет. Так что некоторые отдыхающие порой в силу нестерпимых обстоятельств именно в этом плане напрямую использовали ее облезлые бледно-коричневые стены. «Мой желтый дом...» – так не без гордости называл Илья свое новое пристанище. Еще недавно в хорошую погоду при ясном небе множественная любознательная публика восторженно пялилась под заботливым и вдохновенным руководством Ильи в здешний достаточно возрастной и несколько местами ржавый телескоп на Луну, Марс, Юпитер и прочие небесные загадочности, включая те же кометы, затмения и пролет космических станций. Иногда Круглов устраивал тематические лекции для отдыхающих в парке, о чем заранее извещал их самодельными

объявлениями с достаточно неплохими рисунками планет, звезд и галактик. Его любовь ко Вселенной была так ярка и всеохватна, что некоторые пожилые дамы из когорты слушателей на каком-то отрезке лекции начинали ронять слезы. Ко всему голос у Круглова мало уступал голосу генерала Вельяминова в своей звучности, напористости и строгости: тайны Вселенной, как говорится, обязывали говорить о них на мощном уровне.

Правда, последнее время интерес к астрономическим откровениям в народе настолько угас, что Круглов, как ребенок, радовался всякому случайно забредшему в его края человеку, пусть даже по той самой маленькой нужде, и возбужденно начинал вдохновенно-романтически посвящать его в тайны Большого взрыва или будущих дерзновенных полетов человека к звездам в поисках иных цивилизаций. Только когда в гостях у Вельяминова Круглов, как обычно после третьей рюмки коньяка, а после четвертой так непременно, срывался на эту рвущую ему душу тему контакта миров, генерал немедленно и властно возвращал астронома, как говорится, с небес на землю залповой фразой: «А на фига козе баян? Им нас с нашей коррупцией только еще и не хватало!»

В таких случаях почти все гости азартно аплодировали Михаилу Антоновичу. А те, у кого по части коррупции рыльце было, так сказать, в пушку, били в ладоши бодрей всех.

Такое тяготение к множественности разнокалиберных гостей у Михаила Антоновича рефлекторно обнаружилось после Германии, где он практически никогда не покидал территорию завода и жил затворником. Не смог генерал простить немцам сожженных в сарае его мамки с батей и братишками-сестричками за то, что пустили к себе погреться партизанского разведчика. А вот трехмесячного Мишуньку родители изловчились в одном укромном месте подвыгоревшие доски выдавить и в самый последний момент на снег выкинуть.

Как бы там ни было, но отчего-то так сложилось в этой генеральской компании, что все здешние разговоры, а более всего споры и несогласия невольно замыкались на Морозове. Быть третейским судьей тому не очень нравилось,

да что поделаешь, если люди, как бы он не хмурился, как бы на балконе не прятался, всякий раз бежали к нему для окончательного разъяснения их разногласий. Особенно от молодежи ему перепало. Как возьмутся его со всех сторон атаковать, перекрикивая друг друга, так хоть беги прятаться в ванную:

– Вау! Вау! Вау! Дядя Иван, а когда наука научится воскрешать мертвых? А правда, что мы все просто биороботы?!

Морозов на все на это строго улыбался и застенчиво вздыхал. Мол, всему свое время. Лишь однажды он не сдержался и, положив на чьи-то хилые студенческие плечи свои тяжелые рабочие руки, налитые жесткой, ломовой силой, глухо проговорил: «Scientia vincere tenebras...»

– Ух ты! – воскликнул студент. – Нормально. Клево! В натуре, че это?

– Знанием побеждать тьму... – застенчиво сказал Морозов и виновато вздохнул, признавая, увы, что побед над тьмой у человечества по-прежнему не много. Ходим вокруг да около, а сущности главной, решающей, узреть не способны.

Традиция такой застольной многоликой массовки не порушилась, даже когда Михаил Антонович перешел в разряд военных пенсионеров, а словно осиротевшего без него оборонного предприятия вскоре на раз-два не стало. А на месте завода, не откладывая в долгий ящик, царственно, с помпезным ярким открытием поднялось американское сетевое кафе быстрого питания с плохо выговариваемым русским человеком названием «Макдональдс». Говорили, что на открытие приглашали саму Примадонну и какого-то там рокера-рэпера, будто бы получившего благословение на свои песенные судороги от Деймона Олбарна и Джейми Хьюлетта, создавших некогда британскую виртуальную группу. Выглядело все это действие открытия торжественно, если не сказать, величественно. Чуть ли не как распахнулись ворота подлинного фаст-фудного рая, пахнущего, правда, не библейскими яблоками, а вполне земными булочками или пирожками. По крайней мере, молодые души косяками день и ночь теперь вертко влетали в его жерло молиться

тамошним гамбургерам и бургерам, а также сэндвичам и роллам. В общем, что-то более популярное в городе трудно было теперь найти. Еда в Макдональдсе стала религиозным культом.

Морозов со строгой усмешкой называл это модное общепитовское заведение «черной дырой».

### 3

Только Иван Морозов вовсе не был гением-самоучкой. Его удивительная склонность к философичности, не раз озарявшая многих своими удивительно пронзительными идеями, – это в какой-то степени и бывшие оконченные им три курса физико-математического факультета знаменитого нашего государственного университета с более чем столетней историей.

Однако не ищите ничего рокового и эдакого в том, что Иван был в итоге принужден дальнейшее обучение в вузе прекратить, потому что у него обнаружилась нарастающая предрасположенность к такому, можно сказать, интеллигентному заболеванию, как, извините, неврастения. Вообще ничего удивительного и предполагающего разные выводы с ухмылкой в этом нет, если сознательно учесть, что такое случилось с ним именно в конце девяностых, когда Россия сполна хлебнула невесть чего из смрадно пахнущей чаши так называемой либеральной перестройки. Потом еще полгода в известно в какой больнице, еще три месяца дома непременно в лежку в темной комнате, то есть наглухо зашторенной. И чтобы молча, и книг не читать. Газеты и телевизор – тоже побоку.

Здесь и проявились первые творческие опыты у Ивана Морозова: в нем на раз открылся очень по тем временам модный типаж человека – физика-лирика или, иначе говоря, лирика-физика. Это было для него поначалу непривычно, он как-то стыдился всяких своих подобных измышлизмов, а потом ничего, по привычке, вошел во вкус и принялся их даже записывать: «Полный идиот отличается от худого только весом... Если у вас раздвоение личности, вам не обязательно платить в маршрутке за двоих... Весь мир – театр, а люди в нем – декорация... Вселенная создана для того, чтобы горды-

ня не убила в человеке человека... Лучше плюнь в колодец, если тянет плюнуть кому-то в душу... Собака лает, а караван идет. Собака замолчала – караван остановился... Дураков у нас нет – их заместили придурки».

Когда подобных опусов скопилось немало, Морозов, дня три потратив на взволнованные сомнения, так-таки пошел с ними в редакцию одной местной газеты. Именно – «одной». Остальные всем своим многочисленным кагалом не выжили в новых капиталистических обстоятельствах. Да еще на фоне отчетливо проявившегося стойкого всенародного отвращения от процесса чтения книг и газет.

В тесной комнатухе редакции с одной на всех лампой и мистическими водяными разводами на потолке Морозова приняли, как говорится, на «ура». Так называемые рабкоры и селькоры давно перевелись, и сотрудники редакции, столпившись вокруг него всем кагалом, как истинную диковинку разглядывали самодельного автора «от станка», словно инопланетянин к ним забрел.

И чаем Ивана-рабкора угощали, правда, каким-то пресным, наверное, из экономной серии, конфеткой снабдили, тоже залежавшейся у кого-то в столе чуть ли не с советских времен, и через это достаточно окаменевшей. По крайней мере, здешние тараканы съесть ее не отважились.

В общем, разве что только не плясали перед Морозовым тутошние журналисты. В конце концов, решительно послали кого-то из молодежи за водкой, но чтобы только не паленой, вошедшей тогда в моду у многих читателей через ценовую доступность.

Морозов отродясь не пил. А сейчас из-за недавней настырной болезненной мороки вообще извелся: глаза как бы у него и есть, а взгляда, как такового, нет, щеки – бледно-синие, нос – холодно-белый, а губы напухли от ранок, точно ему пластику по увеличению губ, так называемый «Кессельринг», неудачно исполнили по части иссечения.

Эмоционально, даже несколько чересчур, порадовавшись народным афоризмам Ивана, сотрудники редакции на прощание торжественно напутствовали его на смелые сатирические материалы «из рабочей жизни». Пригласили главного редактора явить тому представителя практиче-

ски исчезнувшего племени рабкоров. Тот по этому случаю надел висевший годами в редакционном шкафу представительский черный двубортный пиджак и желтый вязаный галстук эпохи битлз.

Под разнокалиберные аплодисменты он вручил Морозову ярко-красную корочку внештатного корреспондента. И при этом опасливо обнял Ивана, вероятно, памятуя, что ковид и свиной грипп нас пока не покинули.

Выпили водки, закусывая мятными жесткими пряниками. Кажется, сорокоградусная попалась на этот раз недурная. О сугубом влиянии на ее качество таинственных способностей Ивана Морозова никто и подумать не мог.

Как бы там ни было, а в сходимшемся на квартире у директора оборонного завода обществе всегда первый тост уважительно предлагалось произнести именно Морозову. Авторитет заводского философа являлся совершенно непреложной духовной истиной и признанно уважаемым фактом. Это подтверждалось и серьезным, уважительным отношением к Ивану в пролетарской курилке. А рабочий человек, как известно, не только благодаря множественным революциям и восстаниям, им осуществленным, не склонен к заискиванию. Поэтому проявлял к своему начитанному выше крыше собрату достойную почтительность. Мало кто из их числа в свое время, да и поныне не просил у него совета по разным непростым житейским делам, а то и по вопросам высокого смысла. Порой весьма заковыристым.

Однажды, пару лет назад, летом выйдя со второй смены с некоторой задержкой по уважительной причине, то есть уже после захода Солнца, слесарь-лекальщик Иван Говоров вдруг пошатнулся и сдавленно взыркнул: «Мать-перемать!» За территорией завода, там, где торчали игольчатые верхушки сосновых посадок, в которых в теплое время года рабочие всех цехов отмечали дни рождения, премии и где «проставлялись» смущенные и озадаченные новички, быстро, вернее – стремительно, но в полной тишине пронеслось нечто не более футбольного мяча и сдержанного, почти тусклого оранжевого цвета.

– Что это я видел?! – на другой день после смены в бане словно припер к стене Говоров своим требовательным вопросом Ивана Морозова.

Мыться, окончив рабочий день, здесь было не просто принято, а необходимо – иначе дома тебя не узнают, не примут за своего – труд здешний достаточно грязный. Так что через это мужики еще и молоко получали бесплатное.

Вот и стоят они оба друг против друга напряженные и самым настоящим голяком и мокрые, волосы взъерошенные, да с пеной, с них кусками отслаивается, чем-то похожими на соты пчелиные.

Морозов, как всегда в задумчивости, стоит, опустив голову, так что из его обнаженности вся шея видна размерами чуть ли не бычьими, и видно, как на ней от волнения мышцы подергиваются.

Ответ был жесткий:

– НЛО!

– Инопланетяне, выходит?

– НЛО.

– Сам ты НЛО... – огорченно вздохнул Говоров и, отходя с таким больным лицом, словно им отныне губительно потеряна возможность всякого понимания смысла существования человека и Вселенной, – неожиданно поскользнулся на мокром, запененном, кривобоком цементном полу заводской бани.

Да не то чтобы поскользнулся, а это вышло с его стороны нечто запредельное, за гранью человеческих возможностей. В секунду Говоров вскинул ноги выше головы, вмиг поняв, что это практически конец. В лучшем случае ему предстоит самая настоящая костоломка.

И вдруг он замер в воздухе, весь судорожно вытянувшись параллельно полу, словно удерживаемый неведомой, явно внеземной силой.

Это Морозов напряженно, с каким-то неведомым загадочным выражением на лице обостренно глядел в его сторону.

– Тьфу, нечистая сила! Мать-перемать! – взрыкнул Говоров, мягко опустившись на мокрую скамью. И глухо прохрипел: – Вань, а ты, того, сам не инопланетянин? Я же видел, как ты глядел на меня. Как маг какой-то!

– Ерунду не городи, – строго отозвался Морозов.

Итак, празднуют сегодня немногочисленные, но по-прежнему весьма уважаемые гости Вельяминовых очередной достойный праздник. Быть таковым на этот раз выпало встрече нового 2022-го. Отсюда на столе только что запеченная в духовке кура с черносливом, классический салат «Оливье» с молочной колбасой, всякие ажурные конструкции сыров и копченостей, а также золотисто сияющие на глубоких тарелках мордатые физиономии крепкого, налитого его величества холодца, вдохновенно и усердно созданного в двух ведрах мамой шлифовщика Морозова Татьяной Яковлевной, а также замечательная солодовая водка с ностальгическим поименованием «Деревенька». Для предпочитающих коньяк щегольски стоял вполне приличный Courvoisier Napoleon с пока еще доступной для хозяина ценой в районе эдак тысяч двадцати, само собой, в рублях.

В общем, едят и пьют гости Вельяминовых с полным уважением к щедрости и душевной расположенности хозяев. Так что все богатство новогоднего стола употребляется без многозначительного ироничного переглядывания, печальных вздохов или вовсе неприличного хихиканья – одним словом, вполне дружески, радостно и с неплохим аппетитом соответственно возрасту.

И тут вдруг непонятно по каким соображениям, но ясно же, что самым чистым, возвышенным и направленным на благо всего и всех, у кого-то из гостей вдруг душевно вырывается вопрос к шлифовщику шестого разряда Ивану Морозову:

– А как вы считаете, Иван Ильич, дорогой наш друг и товарищ, возможно ли перспективное развитие России без западного духовного влияния?

Морозов чуточку краснеет и останавливает свое священнодействие с фарфоровыми немецкими тарелками, английскими вилками и ножами.

Уважаемый гость уже порывается повторить вопрос, но Морозов вовремя того останавливает взглядом с благопристойной, сердечной улыбкой. Далее он внушительно серьезнеет, то есть становится сосредоточенно строг, как опытный, знающий себе цену доктор.

– Духовное развитие сегодняшней России без западного влияния не только возможно, но однозначно необходимо! – наконец решительно выдает ответ на раз и как бы не только одному вопрошавшему гостю, а, ни мало ни много, всему человечеству:

– Как вы смело сплеча рубите! А вот такой вопрос, так сказать, на засыпку. Прелюбопытный. И очень сейчас как бы всем нам нужный. Что общего между Петром Великим и Ульяновым Лениным?

Морозов не спеша налил себе рюмку, но пить тотчас не стал, даже ладонью ее прикрыл. Мол, погоди, родная, дойдет очередь и до тебя.

– Я не вправе давать оценки личностям, которых сам не знал... – тихо, но емко проговорил Иван. И глаза прищурил, словно чтобы ничего постороннего в них нельзя было бы прочитать. – С вашего позволения я лишь уверенно повторю известную народную точку зрения обоим этим историческим личностям. Так сказать, напомним. Оба эти правителя, единственные среди наших крещеных князей, царей, императоров и генсеков, каковые были прозваны в народе Антихристами.

Морозов судорожно вздохнул, скулы у него мощно шевельнулись.

В это мгновение неожиданно в зальную праздничную комнату зашел некто лет сорока, то есть практически одного возраста с только что говорившим Морозовым. При всем при том этот некто был активно лысоват, так что на его голове весело и лучисто отражались во всем множестве разноцветные игриво-веселые лампочки раскидистой, просторной елки Вельяминовых. Лицо гостя, правда, было какое-то безликое, словно замаскированное отсутствием очевидных характерных примет. Хотя глаза, несмотря ни на что, глядели остро. Вообще как-то так странно казалось, что их у него чуть ли не целых три! Эдакое триединое всевидящее око. Из себя тщедушен, словно высушен, губы тонкие, точно на них не хватило материала, а нос так прямо хоботком покачивается из стороны в сторону. Одет дорого, однако все на нем сидит как-то небрежно, неуклюже, словно с чужого плеча. Да еще какая-то в петлице пиджака ско-

собочилась неуместная для новогоднего праздника желтая гвоздика в черной окантовке, явно искусственного происхождения. В сатирическом смысле намекающая на похороны уходящего года?

Как решили тотчас празднующие гости, что этого человека, естественно, пригласил сам хозяин, только гость по самым уважительным, но явно невинным причинам несколько запоздал. Иначе почему этот некто зашел так уверенно, вертляво бодро, как к себе домой?

Вельяминов не замедлил утвердить их мнение и благодушно объявил запоздавшего гостя:

– Прошу любить и жаловать – перед вами господин Хатрет. Наш американский гость. Прибыл для получения ракетных двигателей для их НАСА с известного всем вам нашего знаменитого завода.

Нового неожиданного гостя все тотчас встретили радужными улыбками, а бывший начальник управления областного КГБ даже заплодировал, но очень аккуратно, с некоей скрытной профессиональной настороженностью.

Новичок, прищурясь, уперто, около минуты, похожей на вечность, глядел себе под ноги, что-то шамкая губами, лихорадочно улыбаясь, как вдруг скорострельно заявил:

– Я случайно слышал вопрос к господину Морозову относительно западного влияния на духовное совершенствование России. Мое личное мнение, что оно невозможно ни при каких обстоятельствах. Россия есть такая странная загадка, которую никому не раскусить. А кто раскусит, так тут же ей и подавится. Вот так...

Сказавший как бы с некоторой обидой поднадулся и губы трубочкой свил чуть ли не до посинения.

И вдруг переливчато, просто-таки музыкально, всхихикнул:

– Однако вы, как я убежден, ничего не поняли в моей тираде. Мы с вами люди с разных планет. Разрешите представиться: перед вами признанный борец за либеральные западные свободы. А потом уже ракетчик. А явился я сюда по приглашению хозяина, но, простите, с одной только по-таенной целью: испортить Вам, господа патриоты, новогоднее настроение.

– Ваш особый юмор нам хорошо известен... – снисходительно проговорил бывший кэгэбист, само собой с неприменной, как бы все и вся обволакивающей улыбкой.

– От вас прямо серой пахнет, господин Хатрет... – строго рассмеялся Морозов. – Надеюсь, вам известна фраза, что либералы существуют ради себя. Ради себя, любимых.

– Как Вы начитаны господином Достоевским! – поморщился Хатрет. – Чуть ли не слово в слово цитируете классика! Bravo, Федор Михайлович сейчас наверняка торжествует на небесах!

Завершив тираду, Хатрет тотчас с какой-то откровенной, неприличной и ненасытной жадностью набросился рвать и метать, приканчивая лежавшего перед ним на английском фарфоре бодро румяного русского цыпленка табака.

Далее все гости тоже стали очень сосредоточенно есть, словно усердно исполняя некую срочную работу, дабы тем самым объявить себе и всем, что им никакого дела нет до прозвучавших философских измышлений. Они сосредоточенно демонстрировали, что в настоящую минуту весь высший смысл жизни они видят в усердном употреблении кто сочных румяных отбивных, кто знаменитого «Оливье», а некоторые особенно настойчиво работали с отменными сырокопчеными колбасами и знаменитым золотистым холодцом.

– Ах, как вы возвышенно сердиты, господа, судари или товарищи?! – неожиданно вновь проговорил Хатрет. – Да кто вы такие? И все ваше общество?! Пережиток советского прошлого! Отработанный материал. Тем не менее, позвольте поднять вам на прощание настроение и объявить, что в новом году всех вас ждет большая военная трепка.

Морозов напрягся, как борец перед выходом на ковер. Только он собрался отчетливо ответить незваному гостю, само собой, порядочно, даже более чем порядочно в силу очень многих явных и не только причин, как Хатрет тотчас встал и вышел.

Вельяминов, а вслед за ним Морозов бдительно отправились следом, но нигде Хатрета не нашли.

– Кстати и некстати... Хатрет с английского переводится как «ненависть», «отвращение», – проговорил Морозов.

– Выбрось все это из головы, – строго усмехнулся Вельяминов. – Или это дурацкий розыгрыш новых хозяев нашего завода, или нам просто-напросто подсунили такого забавного в кавычках гостя на современный манер вместо Деда Мороза. Днями счет придет. Наверное, немалый...

При этом половина гостей Вельяминова очень активно, почти раздраженно стала утверждать, что странный новоявленный участник их новогоднего застолья исчез еще до дверей, словно в некое подпространство соскользнул. Даже, толкаясь, ходили придирчиво глядеть, нет ли там какого потайного люка, о котором, возможно, и сами хозяева ведать не ведали.

Морозов невольно чувствовал, что гость исчез не на веки вечные, а по всему способен явиться в любую минуту, где угодно, и натворить бог знает что. Самое любопытное состояло в том, что сидевшие за столом женщины вообще ничего и никого не видели, никаких умных или там дерзких разговоров не слышали, тем более пристрастного обсуждения новоявленного либерализма. Но женщины – на то они и женщины.

– Не разыгрывайте нас, мужики дорогие! – мило засмеялась супруга Морозова Люся. – Начитались, понимаете ли, Булгакова! И решили нас, слабых баб, попугать! Забавники! Наливайте, господа! Да по полной! И дам не забывайте с их тайными потребностями!

## 5

Когда Морозов, наконец, открыл, как всегда раздраженно поковырявшись ключом в изношенном замке, свою дерматиновую столетнюю дверь, сикось-накось испещренную белесыми трещинами, так они глазами и встретились: он и гордо улыбающийся как бы всеми своими «тремя» глазами из неосвещенного коридора господин Хатрет.

Его сразу было и не узнать. Вроде он, а, с другой стороны, некто иной. Словно умел тот время от времени по надобности или вовсе без нее, а забавы ради артистично пребывать в разных лицах.

– Что вы у меня в доме забыли, господин хороший? – устало вздохнул Морозов. – Просто чертовщина какая-то на самом деле. Театр, да и только!

– По приглашению я здесь, по приглашению... – более чем аккуратно улыбнулся Хатрет. – Но только не затем, чтобы установить вам приличную входную дверь, – достаточно высокомерно хихикнул гость. – Скажем, со стильной черной шагренью двойных металлических листов. А красть, не в обиду будет сказано, а так, по-дружески сочувствуя, у вас, Иван, вовсе нечего. Книг, правда, много. Более чем. Только кому они сегодня надобны? Так что полицию приглашать не обязательно.

– И все-таки объяснитесь, что вы вокруг меня так ловко, изворотисто избегались?

Хатрет азартно раскинул свои тоненькие провислые руки.

– Печально, когда на твоих глазах хороший человек пропадает... Вам бы, Иван, всего один шаг надо сделать в нашу сторону – и мы вас включим в число послушников «золотого миллиарда», – сощурился Хатрет.

– Иванушка, это я пригласила господина Хатрета! Мы с ним недавно познакомились на его выступлении в нашей библиотеке! – вдруг твердо проговорила Люся. – Его мысли покорили всех присутствующих! Вот я и решила просить его побеседовать с нашим сыном. Насчет перспектив его дальнейшего духовного развития.

– Не тяните кота за хвост! – твердо проговорил Морозов.

– Вы не лишены чувства юмора! Блестящего юмора! – вскрикнул Хатрет и позволил себе радостно перегляднуться с Люсей.

Она рассмеялась с явной гордостью от такой оказанной ей чести.

– Нам безразлична судьба молодых россиян из приличных семей. Им край нужен для успешного развития воздух подлинной свободы! – внушительно, весьма умно и здраво проговорил Хатрет. – Вы свой человек среди широкоизвестных в этом городе людей. Вон и в местную газету прелюбопытнейшие остроты подали. С эдаким тонким подтекстом! Славы ищите или с человечеством счеты сводите за все его гадкие зигзаги?

– Ничего подобного! А вы откуда знаете про газету?.. – чуть ли не по-детски обиделся и насторожился Морозов.

Даже покраснел, но не очевидно, а легкими, почти неуловимыми мазками.

– Мне по штату полагается всеведение! Помните, был такой популярный в СССР киножурнал «Хочу все знать!» – всхихикнул Хатрет. – Если нос по ветру не держать, так быстро можно оказаться на паперти. Потом же, простите, но я не мог не увидеть в вашем доме главное. Его, так сказать, духовное наполнение! Ядро! Фундаментальные ряды увесистых трудов разрушителей царской России Маркса и Энгельса. А предтечи либерализма? Тот же Аристотель, Лао-цзы, Никколо Макиавелли вкупе с Дидро!

Гость вздохнул, аккуратно высморкался с извиняющимся выражением на лице, и как некие стрелки перевел – со всей очевидностью деловито и здравомысляще сосредоточился:

– Кстати, я обнаружил у вас достаточно зачитанную весьма знаковую книженцию. «О глобализации», так сказать. Авторство известного более чем господина Джорджа Сороса.

Нельзя было не заметить, что последнюю фразу Хатрет произнес едва ли не с придыханием. Конечно, несколько приукрашенным взволнованными голосовыми модуляциями, но при всем при том вполне искренне.

– Какого такого Сороса? – напряженно вскрикнул Морозов. – Того самого?

– Того самого! – не менее напряженно отозвался Хатрет.

– Не понимаю, откуда она могла здесь взяться... – поморщился Иван. – Разве кто-то по недогляду забыл? Я дружбу с ценителями Сороса не вожу.

– Не придумывайте спасительные легенды для ФСБ, – тихо, но внятно объявил Хатрет. – У Вас на лице написано, что Вы человек донельзя свободолюбивый. То есть истинный русский народный либерал! Которого тошнит от любых форм духовного насилия.

– Как хотите, а только насчет какой-то там писанины Сороса я решительно протестую. Вы нарочно мне ее подкинули?..

– Так это мне и надо!.. – бодро фыркнул Хатрет.

– Сама в форточку прилетела?.. – прищурился Морозов.

Люся тревожно побледнела. У полных женщин, каковой она являлась, такое особенно бросается в глаза. Одно дело,

когда становится серо-матовым лицо-сморчок с детский кулачок, а другое, когда этим унылым цветом покрывается все немалое округлое пространство, наполненное сполна достойными объемами дородной явственной женственности, только что миг назад счастливо светившейся бодрой румяной свежестью.

– Это Андрона книга. Кто-то из друзей ему дал ее почитать. А он с ней теперь не расстается... – тихо, но строго, почти властно объявила Люся.

– Андрон здесь?.. – напрягся Иван.

– Уже сбежал ваш сынишка... – весело прищурился Хатрет. – У них там флешмоб какой-то протестный наметился. На главной площади. Имени этого, как его... Ленина.

– Я упустил сына! – поморщился Морозов.

– Не паникуй на пустом месте! У мальчика повышенное социальное любопытство! – весело проговорила Люся. – Для его возраста это вполне нормально. Все лучше, чем днями напролет сидеть на диване, уткнувшись в смартфон со всякой белибердой.

– Я обязан жестко объяснить с ним! – как бы сам себе чеканно проговорил Морозов.

– Как мормон с мормоном? – с крученым-верченым умилением спросил гость.

– Что Вы городите, господин хороший? – болезненно, с хрипотцой вскинулся Иван.

– Вах-вах! Какая прелестная наивность! – отчетливо объявил Хатрет, как бы на короткое время вновь обретший третье всевидящее око. – А помните, как в начале девяностых Вы приглашали к себе в дом молодых людей отчетливо американского происхождения? Вежливые донельзя, одеты с иголки: темные классические костюмы, свадебно-белоснежные рубашки. С великолепным тортом к Вам явились! Дорогушим! Вот это и были милейшие мормоны.

– Так я же от них крещение не принимал. Так, любопытства ради. Время было тогда такое шальное, точно все мы в некоей психушке жили.

Хатрет впечатляюще поморщился:

– Им все эти вашенские обрядово-культовые ухищрения без надобности. Говоря вашим народным языком: «Не

пришей кобыле хвост!» У них золотое правило: кто пустил мормона в свой дом, тот с этой минуты, нет, с этой секунды, более того – с этого мига уже сам есть настоящий целесообразный мормон с занесением в особые тайные мормонские списки...

– Не запугаете... – откашлялся Морозов. – Так что сына я вам не отдам. На съедение акулам империализма!

– Ты не посмеешь ломать судьбу ребенку! – слезно вскрикнула Люся. – Хочешь новость? Только кулаками не маши! Наш мальчик днями уезжает учиться в Лондон. Он говорил тебе, что мечтает стать знаменитым политехнологом? Так вот господин Хатрет вызвался радикально ему помочь. На кону счастье нашего ребенка, господин шлифовщик шестого разряда.

Иван Морозов отчетливо почувствовал, как в нем взбрыкнуло мальчишески-хулиганское желание взять обеими руками Хатрета за грудки и чуток приподнять, чтобы тот с переляку ножками своими судорожно засучил.

Хатрета он не обнаружил. Тот вновь весь вышел. Самым незаметным образом. Как и не был вовсе. Только вдохновенная улыбка Люси свидетельствовала, что этот человек здесь так-таки присутствовал и немало воды намутил.

– Еще раз его у нас увижу – ноги ему переломаяю... – сурово вздохнул Иван.

– Не смей угрожать человеку, который так искренне хочет нам добра! – напряглась Люся всей своей объемной женственной пространственностью. – Ты вон без работы уже сколько сидишь? Может быть, мне на панель пойти?

Люся, прищурившись, отчетливо продемонстрировала Ивану свой маститый кукиш.

Он уныло отмахнулся. Он бы про панель высказался, но пожалел Люсю. Так-таки не разлюбил он ее с годами...

## 6

На другой день Вельяминов на своей раритетной черной «Волге» эпохи первого в мире советского спутника повез Ивана Морозова трудоустроить на мехзавод. Само собой, Морозов от такого протезирования первоначально,

как мог, отбрыкивался: мол, сам определюсь, не стоит беспокоиться, и без того есть уже разные интересные предложения. «Охранником в магазин? А может дворником? Да на две ставки!» – строго хмыкнул Вельяминов. Само собой, Михаил Антонович, по обыкновению, на своем настоял. Конечно же, предельно дружелюбно, однако непреложно. Ко всему, голосом человека, которому еще никто в этой жизни не противоречил.

В общем, когда Вельяминов и директор мехзавода Василий Васильевич Ермилов в его масштабном кабинете схватились радостно тискаться – по-мужски звучно, даже с каким-то хрустом и треском, так Морозов сразу понял, что был напрасно упорен в своем желании самому действовать напрямую, как положено, через отдел кадров. Надо сказать, что в своей телесной масштабности Ермилов, как налитой, крупнолицый, Вельяминову мало чем уступал в пространственных объемах, словно в их лицах и внешности был во всей очевидности проявлен некий особый директорский стандарт. Так сказать, номенклатурный ГОСТ.

Наигравшись в «тискалки», прилично запыхавшись, оба директора (один, конечно, уже бывший, но, так сказать, еще не утративший соответственное руководящее выражение лица и глаз), наконец, сели и заговорили между собой по-людски.

Морозов спокойно и вежливо сам по себе стоял на дерзко блестящем паркетном полу густого золотисто-янтарного отлива, в котором вполне можно было видеть свое отражение, пусть и несколько размытое.

– А это мой протеже! – с весомой генеральской улыбкой обернулся к нему Михаил Антонович. – Горжусь этим парнем, горжусь! Иван Иванович Морозов. Человек необыкновенно самостоятельного философского мышления, моментами так просто настоящий провидец. Словно он родом из некоего загадочного Антимира.

– Я шлифовщик шестого разряда... – аккуратно проговорил Иван.

– Добро! – четко, руководяще отозвался Василий Васильевич и позвонил секретарше. – Машенька, нам два чая. Но тотчас извинительно добавил: – Три, пожалуйста. И, как всегда, с этим, как его... В общем, ты понимаешь.

Аккуратно красивая Маша практически тотчас внесла поднос, словно уже заранее стояла с ним наготове у двери. Вошла так изящно и непринужденно, как не всякая западная модель ходит по своим европейским подиумам. Естественно, без вычурности, вихляний и выпендрежа. На подносе живописно стоял огненный заварной белый чайник с белыми чашками, а вокруг него возлежали румянейшие и пухлейшие, как самые что ни на есть бабушкины, пуховые пирожки с яблоками и картофелем. Все это великолепное сооружение словно требовало немедленно живописца с кистью, который бы запечатлел на полотне все подспудное совершенство подобной изысканной простоты. Перед этой композицией явно могла спасовать даже знаменитая картина с чаепитием от импрессиониста Тома Баррета, несмотря на то, что на той имелась еще сахарница и молочница.

– Чаек на монастырских травах! Монашки постарались. Умелицы... – простым человеческим голосом проговорил генеральный директор Василий Васильевич Ермилов.

Тем не менее, к чаю никто не притронулся, хотя от наполненных им чашек исходил густой расслабляющий и какой-то из себя прямо-таки серебристо-матовый аромат мяты.

Чуть в стороне притулился еще один поднос, но вовсе другого содержания и сущности: три коньячных мельхиоровых рюмки с глазастой совой вместо обычной ножки – и между них царственно-строгая черная бутылка «Арарат «Эребуни» пятидесятилетней выдержки.

– Для тебя приберег, – многозначительно объявил Вельяминову Василий Васильевич.

Три рюмки тотчас были Машей искусно наполнены. Таким геометрически изящным вдохновенным движением это было выполнено, что сразу стало понятно – ей никакие нынешние бармены в подметки не годятся.

Маша ушла так незаметно, словно ее здесь и не было. Просто-напросто исчезла.

– За что, други мои, пригубим сей эксклюзивный раритет? – величественно пророкотал Василий Васильевич. И тотчас постановил: – На Украине что-то нехорошее затевается. Давайте-ка, любезные, воздвигнем чаши сии за мир во всем мире!

Далее последовали весомые тосты за шестидесятипятилетие первого советского спутника и нынешнюю вызревающую российскую лунную программу. Конечно, пили стоя. Само собой, в этой композиции самой основательной, колоритной фигурой смотрелся генерал Михаил Антонович Вельяминов, пусть и отставной в силу особых обстоятельств государственного уровня.

Как только все трое сосредоточенно прожевали классические лимонные дольки в сахаре, Василий Васильевич возрадованно объявил экскурсию по цехам. Он лично обзвонил тамошних начальников о своем к ним выдвижении с такой торжественной строгостью, точно на завод прибыл ни мало ни много сам премьер-министр.

В первом же цехе Иван Морозов с лету понял, что он в своей производственной жизни, оказывается, еще ничего толком не видел. Одно время, пока учился в техническом колледже, он был уверен, что ничего совершенней, чем шлифовальные станки с ЧПУ, человечество не создало.

На ремонтном заводе Вельяминова его оценочная планка радостно поднялась, казалось бы, на недоступную прежде высоту, особенно когда деталь старательно доводят до необходимого зеркального совершенства алмазными кругами. Тогда всякие разные цилиндрические, конические и фасонные поверхности достигают запредельного геометрического совершенства.

– Как вам, господа хорошие, наши изделия?! – чуть ли не фальцетом от волнения вскрикнул Василий Васильевич, так и не привыкший равнодушно видеть в выпускаемых ими изделиях серийную продукцию, пусть и достаточно особого назначения.

На полу цеха там и там стояли ракетные двигатели, чем-то похожие на инопланетян в скафандрах на манер сарафана, которые вот-вот вскинут руки-шланги и поплывут в танце. Еще один только рождался на стендовых стапелях, опутанный паутиной металлических растяжек.

Никто пока не знает, как пахнет Космос, но Морозову явно показалось, что тот здесь натурально присутствует, и аромат его вполне очевиден: это запах заледеневшего металла.

Директору, как известно, нигде нет покоя, а в цехе тем более. В общем, через минуту Василия Васильевича перехватил некто не представившийся, но от волнения и досады заметно вспотевший всем своим перенапряженным лицом, точно росой покрывшийся.

– Василь Василич, беда! Срочно надо в экспериментальной детали сделать отверстие!

– Не узнаю своего главного инженера... – недовольно вздохнул Ермилов. – У вас что, дрели нет под рукой или все сверла затупились?

Главный инженер от досады чуть ли не вокруг оси повернулся.

– Какая, так твою перетак, дрель! Отверстие нужно выполнить под тремя углами! А такого сверла в природе быть не может по существу... Главный конструктор со своими гениями волосы на себе рвут, но воз и ныне там.

Тут Морозов как-то вдруг застенчиво вздохнул. Этому сначала никто и значения не придал.

Морозов еще раз вздохнул.

Василий Васильевич мельком покосился на него и снова углубился в свои напряженные поиски выхода из столь нештатной ситуации.

Вельяминов аккуратно отшагнул в сторону, чтобы не мешать случайно нарастающему между коллегами «мозговому штурму».

– Каких размеров Ваша деталь? – вдруг сосредоточенно, почти требовательно, но так-таки не без должной уважительности проговорил Иван.

Директор завода и главный инженер оба одновременно повернулись к нему, похлопали глазами, но, ничего не сказав по существу, продолжили далее меж собой напряженно искать спасительный выход. И так они его активно, горячечно искали, что со стороны было похоже, будто эти два человека сцепились в неразрешимом споре.

В свою очередь рабочие цеха оставили на время свои дела и с повышенным живым интересом теперь глядели на это громогласное толковище титанов инженерной мысли.

Иван Морозов хладнокровно, но уже с отчетливой многозначительной улыбкой повторил свой вопрос конкретно главному инженеру.

Оказывается, заготовка проблемной детали, задавшая всем жару, была у того в руках. Он этот металлический с синеватым отливом куб и сунул Морозову на распахнутых ладонях под самый нос.

Тот аккуратно взял заготовку в свои руки и строго прищурился. Так разве что добрый отец глядит на своего ребенка-шалуна. Это глядение заняло у Ивана не более нескольких секунд, всем показавшихся несоизмеримо долгими.

– Надо взять электрод-шарик на гибкой пружине. И вот им прожечь с поворотом детали на нужный градус все нужные входы и выходы, – простецки объявил Морозов. То есть без всякой фанатерии, без самолюбования, как бы более так, словно прилежный ученик уверенно, но в то же время подчеркнуто уважительно ответил строгому учителю на его вовсе не простой вопрос.

Не было человека в цехе, который бы после такого разрешительного заявления Морозова не заулыбался. Некоторые так даже друг с другом обменялись дружескими ударами ладонью в ладонь.

– Голова... – тихо, но вполне поощрительно проговорил главный инженер.

– Будет у нас шлифовщиком в третьем цехе работать, – как бы между прочим проговорил Василий Васильевич.

Главный инженер резко поглядел на директора.

– Долго думал, Василь Василич? Ну и начальство! Со всем чутье потеряли.

И Морозову с отеческой снисходительностью объявил:

– Пойдешь ко мне старшим инженером?

Морозов ужался.

– Образование какое-никакое имеется?

– Три университетских курса матмеха.

– Иди в отдел кадров, оформляйся. Так, товарищ Ермилов?

– Так не так, перетакивать не будем! – заулыбался тот.

– Вот и женили тебя! – громыхнул отставной генерал Вельяминов.

Василий Васильевич опытно почувствовал взволнованное состояние Ивана и сорадостно, по-свойски его приобнял, вынеся вердикт:

– А ты, братец, наш человек! Погоди, мы тебя еще и на Луну отправим! Вот где ты с чувством, с толком, с расстановкой себя проявишь по полной программе!

– Лучше на Марс, Василий Васильевич! – задорно крикнул некий мужчина, привычно, чуть ли не с прискоком, сбегая по металлической лестнице с верхних этажей, почти как из Космоса прибыв на родную землю.

Морозов влет узнал Хатрета. Однако прежний образ этого человека и нынешний, несмотря на абсолютное сходство, никак не могли в Иване совместиться. Как два разнополярных электрических полюса одного провода. Одно оставалось неизменным у Хатрета – желтая гвоздика в черной окантовке.

При всем при том Хатрет такой встрече явно не обрадовался, и теперь каждым своим напряженно-неуклюжим движением заметно перебарщивал в своем намерении исключить всякую возможность обнаружения их с Иваном знакомства. Кстати, Морозова это устраивало.

– Стюарт Дэвид Нозетт, – радушно представил Хатрета Василий Васильевич. – Представитель НАСА. Они там у себя тоже ныряют в Космос на наших движках.

– О, да! – предельно уважительно воскликнул Нозетт-Хатрет, как будто услышал непомерно ошастливившую его новость. Он радостно преобразился всем лицом, став нисколько на себя прежнего, безликого непохожим.

Но тотчас, как акробат ловким прыжком назад через спину, вернулся к привычному своему размазанному выражению лица. Благодаря этому он всегда выглядел так, что его было не узнать. Одним словом, лицо Хатрета напоминало чистый лист достаточно помятой залежавшейся бумаги.

Вздохнув по одному ему известной причине, Василий Васильевич с нарастающей энергичностью повел далее по цеху Морозова и Вельяминова. Как освещая им путь своим деятельным, гордым взглядом.

– Господа, судя по вашим лицам, Вам еще неизвестно, что все мы отныне живем в разных измерениях? – новым, более чем самоуверенным и как-то неожиданно высоким голосом проговорил вслед гостям Нозетт-Хатрет.

Директор завода и его гости, несколько притомленные прогулкой по цехам, с неудовольствием обернулись.

– Утром, сегодня, ваш президент объявил о начале военной спецоперации. Сами понимаете, на Украине...

– Я в курсе... – негромко, но более чем многозначительно проговорил Василий Васильевич, вздохнул и строго уточнил: – Я думал объявить Вам в связи с этим новым фактом одно свое решение тет-а-тет, однако Вы меня вынуждаете произнести его прилюдно открытым текстом.

– Догадываюсь, какую пилюлю мне сейчас преподнесет красный директор! – хихикнул Хатрет.

Ермилов развернулся уходить и бросил как бы между прочим:

– В связи с враждебной реакцией вашего президента на действия нашей страны по защите прав и свобод жителей ДНР и ЛНР прошу безотлагательно покинуть завод и страну.

Нозетт-Хатрет демонстративно изобразил на лице классическую американскую улыбку, так что не только все зубы свои идеальные с лучащейся запредельной белизной выказал, но и гланды его можно было бы увидеть при желании, но только рядом с ним никого из таковых не оказалось.

– Даже перед казнью человеку дают последнее слово! – вслед уходившим проговорил представитель НАСА, который, судя по некоторым специфическим подробностям, наверняка был еще и штатным представителем ЦРУ. – Рекомендую всем вам официально осудить решение господина Путина. Соединенные Штаты отнесутся к этому с большим уважением. Смелее, господа! Еще не поздно! Ощутите вкус истинной либеральной демократии! Мое предложение касается и Вас, господин шлифовщик шестого разряда.

Жест, которым на эти слова ответил Хатрету Морозов, был столь исключителен, неповторим и весьма сложен, что описать его литературными словами практически невозможно, да и не нужно, учитывая особую народную специфичность такой изощренной комбинации.

Хатрет как споткнулся и на некоторое время явно утратил возможность целеустремленно двигаться.

Василий Васильевич машинально поглядел на свои именнные наручные электронные часы – явно неубиваемые, с массивным черным корпусом. Ему их в свое время снял со своей руки и вручил сам академик-ракетчик Василий Павлович Мишин, когда собранный здесь на мехзаводе двигатель для третьей ступени сумел проработать на испытаниях более 3000 секунд вместо 250 по нормативу.

– Я туплю... – проговорил директор с простодушным удивлением. – Я хотел уточнить время, да забыл, что батарейки уже неделю как сели. А заменить их мне все как-то недосуг...

– Да что такое? Чем ты так поражен?.. – усмехнулся Вельяминов, кажется, догадываясь о причине, смутившей того.

– Часы идут! Как ни в чем не бывало! Налицо, братцы-кролики, явная ненаучная фантастика! – восхищенно вскрикнул Ермилов, но не без определенной хрипотцы в голосе. При этом выражение лица у него стало вовсе не директорское, а чуть ли не как у мальчишки, которому родители неожиданно подарили самый настоящий взрослый велик.

Только что затылок директор не почесал.

– Бывает! – озорно хохотнул отставной генерал-майор. – Бывает, и медведь летает...

Он заговорщически глянул на Морозова. Тот был невозмутим, и вообще, кажется, сейчас мысленно уже присутствовал на некоей иной орбите.

## 7

– Куда тебя подбросить? – пребывая в бодром, веселом настроении после особой истории с директорскими часами, радушно предложил Михаил Антонович Ивану.

– До райвоенкомата довести сможете?.. – посторожил Морозов.

– Запросто! – с известными масштабными интонациями объявил Михаил Антонович. – Только что ты там забыл, человек из Антимира?

Иван напряженно, с очевидной неловкостью замялся, как бы не находя для вразумительного ответа нужные сло-

ва. Или они были, но выговорить их он не решался по уважительной причине.

Генерал откровенно посуровел, просто-таки всем своим видом решительно отвердел.

– Докладывай! Как на духу! – распорядился он с вовсе еще не утраченными колоритными начальственными интонациями.

Известное дело, что они у Михаила Антоновича всякого заставят тотчас, вытянувшись во фронт, то есть, говоря нынешним языком, приподнявшись на цыпочках и напрягшись чуть ли не до судороги во вскинutom подбородке, доложить все как есть на духу.

Иван мудрено, витиевато вздохнул.

– Не пришей кобыле хвост! – явственно рявкнул Вельяминов с такими ударными интонациями, которые были способны, скажем, на плацу вмиг уложить ниц целый взвод бывалых старослужащих бойцов. – Ты никак собрался добровольцем на Донбасс?

Морозов напряженно приопустил голову.

– Не рыпайся, герой... Ты на ракетном заводе сейчас важней... – несколько смягчился Михаил Антонович. – А сейчас едем ко мне домой. Я хочу показать тебе свои часы, которые ты запустил. Они не собираются останавливаться! Хотя батареек в них нет! Я их выбросил.

– Вот так загадка... – глухо проговорил Иван.

– Таковую на пустой желудок не разоблачить. А пречудесные директорские пирожки только разозлили мой генеральский аппетит! – основательно объявил Михаил Антонович и аккуратно повернул Морозова лицом к дверям, мимо которых они чуть было не проскочили.

Над ними эффектно являла себя уличной разношерстной публике краткая вывеска, начертанная явно ловкой озорной кистью: «Я пельмень. Съешь меня!!!»

– Правильно, что на русском языке название сие явление народу! – отчетливо постановил Вельяминов. – Иначе бы я со своими щедрыми рубликами мимо их заведения с презрением прошел! Ну, что, человек из Антимира, ударим по двойной порции сибирских пельмешков да под веселую водочку?

Михаил Антонович победно усмехнулся и первым на дверь всей своей массой надвинулся. Да на полпути так резко остановился, что Морозов невольно всем лицом тыкнулся именно в восьмерочный хлястик его еще эсэ-сэровской парадной генеральской двубортной шинели из отменной драп-касторовой плотной шерсти масти-то-стального отлива, которую без наилучших мастеров швейного дела никак не сотворить во всей ее воинской достойности.

Остановило отставного генерала некое странное шестицветное объявление на дверях, явно наспех написанное фломастерами вкривь и вкось. Оно извещало о том, что в интернет-кафе сейчас проходит встреча на тему «Мерзость бытия» со знаменитым московским гостем, широко известным либертарианским писателем Эдуардом Холодным.

– Танки грязи не боятся! – решительно объявил Вельяминов.

Они так-таки вошли, но как бы уже с несколько подпорченным аппетитом.

Едоков практически не было. Какие имелись в наличии, ели с повышенной торопливостью, чуть ли не утонув своими озадаченными лицами в тарелках с веселыми, прыгучими пельменями. Зато здесь было немало модной молодежи с исключительно протестными прическами красного, оранжевого, желтого, синего, а также зеленого и фиолетового цветов, как раз под расцветку известного сообщества.

Перед ними на столе, скрестив короткие ножки, восседал московский гость с торжественно-брезгливым, потным лицом. Тем не менее в руках у него тоже была тарелка с маслянистыми сочными пельмешками. Возможно, это такое условие поставил хозяин кафе в целях рекламы его продукции. Без пельменей в руках Эдуарда Холодного здешняя встреча могла и не состояться.

Около московского гостя Вельяминов с Иваном углядели им обоим весьма знакомую физиономию вовсе не молодежного статуса. Раз и другой она мелькнула. Кажется, это был Хатрет, и тоже с тарелкой аппетитных русских пельменей в руках.

Генерал многозначительно вздохнул и поманил его к себе. Хатрет одновременно лукаво и подобострастно хихикнул, да весь и вышел.

– Сбежал, сволочь... – прицельно сощурился Михаил Антонович.

Холодный, как бы и не видя необычных гостей сквозь плотные, словно танцующие клубы дыма модных электронных сигарет, с жеманно-презрительными интонациями вальяжно вещал протоистины о том, что сегодня с началом СВО быть русским неприлично и губительно, поэтому самые образованные, передовые и лучшие спешно покидают страну.

– Их уже больше миллиона... – восторженно объявил Холодный, оживив себя губастой витиеватой улыбкой. – Поэтому сегодня, милые мои, и я прощаюсь с вами. Может быть, навсегда. Приличному человеку надобна свобода. Во всем, ото всех и от всего!

Цветная молодежь в унисон, кто бодро, кто с придыханием или стоном, как заклинание произносила в тон ему слова-пароли их принадлежности к новому смартфонскому времени. Само собой, это были «вау», «зашвар», «агриться», «го», «жиза», тот же «кул» вкупе с «вайбом» и иже с ними, так сказать, из одной бочки.

– Или я разбомблю сейчас этот сходняк, или мы демонстративно отступим на заранее подготовленные позиции?.. – поморщился генерал.

– Лучше последнее... – сдержанно ответил Морозов.

Их таки заметили. Верноподданные слушатели Холодного начали на обоих прищуренно оглядываться. Просто извертелись в конце концов. Как инопланетяне, впервые прибывшие на нашу грешную планету. Морозов отметил про себя, что этой живописной молодежи непривычно видеть рядом с собой людей без татушек и краски на лицах да еще говорящих на каком-то для них непонятном ветхозаветном наречии.

Это реально нечто, когда на тебя тупо пялятся лица с огненно-красными пятнами вокруг глаз и рисованными черными перьями на щеках и лбу. Кто-то тарачился на ге-

нерала и Морозова непонимающе, иные с растерянностью, а некий юноша из здешних по непонятной причине, вдруг взволнованно приложив руку к пустой голове, тем самым как бы отдав честь матерой генеральской шинели с суровой алой окантовкой. Кстати, он, как видно, перед своим появлением сюда, скорее всего старательно елозил лицом по палитре, насыщенной маслянистыми свежими красками, чтобы превзойти всех своей яркой эпатажностью.

– Уха-а-ди-и... – томно растягивая медленно выползавшее из нее слово, капризно поморщилась под печальным озадаченным взглядом Ивана на вид самая более-менее приличная младость с напополам зелено-оранжевой прической.

Генерал топнул ногой, сотряся тарелки на ближайших столах вместе с озорно подпрыгнувшими в них вертлявыми молодцами-пельменями, и вышел прочь так напористо, словно с боем вырвался из вражеского окружения.

– Сюда я больше не едок! – постановил Михаил Антонович, величественно стоя на пороге интернет-кафе подлинным памятником былой эпохе в своей серой переливчатой каракулевой папаше и маститой шинели, бдительно глядящей на белый свет всеми двенадцатью своими золочеными пуговицами.

## 8

Люси дома не было, и пока Иван не увидел ее записку, это его вполне устраивало. Ничто так не предполагает желания одиночества и сопутствующей ему сосредоточенности, как переход с одной работы на другую. Особенно если вы делаете это впервые. Именно так случилось у Морозова, который работал на ремонтном заводе изначально и до тех пор, пока на месте того, как с небес упав, не возрос во всей своей величественности тот самый «Макдональдс», чем-то похожий на черную кулинарную дыру, азартно и весело засасывающую в свое масштабное нутро толпы восхищенных представителей молодежи, цветасто разукрашенной татушками и кольцами. Однозначно, что ленинский Мавзолей в лучшие годы бодрого патриотизма строителей светлого будущего коммунизма не видывал таких основательных

многослойных очередей в свои мрачные врата, как этот культовый американский бренд конца двадцатого столетия. Сам президент России Борис Ельцин в свое время не устоял перед магией его зазывно преображенной в некий загадочный культовый символ желто-оранжевой буквы «М», которая кое-кому из особо решительных противников сети быстрого питания напоминала ни мало ни много двугорбого верблюда.

Не состоявшееся их с генералом азартное поглощение якобы сибирских пухлых пельменей, весело купающихся в масляно-сметанном разливе, и, само собой, под нечто благородно сорокаградусное, Иван Морозов на скорую руку нетерпеливо заменил холодным супом трехдневного настоя и напластал почти мерзлое сало из холодильника, но то самое, им самим на рынке не с наскоку выбранное, – молодое, с бледно-розовым отблеском, да непременно с вкраплениями любовчинки и отменным запахом будто бы свежего молока.

Пластая его тонкими, чуть ли не просвечивающими лепестками, Иван мельком углядел возле микроволновки листок со знакомым ему Люсиным расхристанным почерком, буквы которого, в зависимости от темпа письма, валились или налево, или направо.

Он строго наклонился к расхристанно начертанной записке.

«Извини, Ванюшечка! Хатрет заверил, что на его родине Андрон получит достойное образование современного политехнолога. Перед ним откроются счастливые долларо-вые горизонты. В общем, мы уезжаем все втроем. Возможно, прости, навсегда! Вначале Москва, потом Нью-Йорк. Или Лос-Анджелес. Как Хатрет решит. Он такой милашка! Не забудь подогреть куриный суп, а то вечно хлебаешь его холодным. Котлеты на балконе в миске. И не порть желудок своим дурацким салом! Завтра на работу надень новые носки! Прощай. Твоя пресчастливейшая дура-Люся».

Иван машинально порезался. Хорошо так, основательно – нож-то сам недавно старательно наточил.

Однако Иван даже не ойкнул.

Внутренняя боль пересиливала.

Насторожился: в нем не было и искры ревнивого порыва мчаться на вокзал и перехватить там своих искателей чужеземного счастья. Странно, что не было... Он даже удивился такому себе. Что-то непонятное до конца, но такое зрелое и основательное начало в нем словно бы отсчет нового, еще неведомого до сих пор времени. И не только ему неведомого. Иван потаенно чувствовал, что оно, это новое особое время решительных перемен во всем, вызрело и масштабно объявило о себе везде и всюду.

Словно больше нет прежнего Ивана Морозова, шлифовщика шестого разряда. Нет никого прежних, включая генерала Вельяминова и агента ЦРУ Хатрета. Включая все нынешнее человечество.

А кто отныне есть?.. Поглядеть будем... Новый человек вот-вот явится. По крайней мере его уверенные и быстрые шаги уже слышны отовсюду.

Иван хотел включить телевизор. Тот поначалу никак не поддавался. И так уворачивался, и эдак от выполнения своих прямых обязанностей. Все норовил Ивану вместо новостей подкинуть то азартные латиноамериканские футбольные баталии, то распрекрасных фигуристок, вихревым сверлом выющихся на льду с игривыми ленточками, или какую-нибудь на скорую руку состряпанную псевдотрогательную киношку, скажем, с тупо-мелодраматическим названием вроде «Верните любовь».

И вдруг как прорвало экран. Словно перенапряженная динамика изображения выплеснулась Ивану прямо в комнату. Он машинально отпрянул. Не удивительно, так как на экране толпы молодых россиян кишели хлеще, чем горбуша в протоках на нересте, норовя прорваться через границу в Казахстан.

У многих остались дома престарелые родители, верные друзья, но это никого из них не беспокоило. На всех мелькавших на экране взволнованных, перенапряженных лицах было написано только одно: «Я – лучший и единственный во Вселенной. Все ради меня и во имя меня, прекрасного!»

Иван понял, что ему во чтобы то ни стало надо увидеть Люську и сына.

Маршрутку Ивану ждать долго не пришлось: свезло, одним словом. Станным делом, но ему с первых минут в ней показалось, что и ее пассажиры едут не по своим обычным делам, а тоже целеустремленно мчатся в сторону границы. Это ощущение усиливалось тем, что водитель проскакивал одну за одной свои остановки и уперто несея словно бы в неведомую даль дальнюю.

Иван напряженно глядел в окно, чтобы не встретиться взглядом ни с кем из попутчиков. И тут вдруг он случайно заметил в самом конце салона в притемненном его углу двоих. Этим двоих, как он тотчас понял, нельзя было не заметить. Если бы он, Морозов, их не увидел, то его понимание сегодняшней жизни потянуло бы на непоправимо мрачную и безысходную ее оценку.

На последних сиденьях маршрутки, стремительно несущейся сквозь новую, еще не во всем понятную для многих жизнь, сидели двое: женщина лет шестидесяти и молодой человек годами около сорока.

Сидели напряженно, взявшись за руки.

По всему, мать и сын. А кто же еще мог бы вот так сосредоточенно молчать и в то же время явно напряженно и заботливо думать друг о друге. Она была в каком-то стареньком темно-синем пальто эпохи былой перестройки, он – в новенькой солдатской, еще зимней камуфляжной серо-зеленой форме, на коленях – вещмешок, явно наполненный домашними вкусностями: скажем, разномастными пирожками один другого аппетитней, классической отварной курицей, тем же салом, без которого военному человеку тоже никак нельзя, и, само собой, они самые – сочные, ядреные свойские котлеты. Само собой, многое что еще отменное для утоления солдатского аппетита имелось в этом дородном вещмешке, однако не совсем прилично вникать в содержимое чужих сумок.

Время от времени женщина застенчиво, аккуратно всхлипывала. В ответ сын еще сильнее сжимал ее руки, а моментами, почувствовав, что она уже не справляется с собой и вот-вот зарыдает на всю маршрутку, нагибался и быстро, взволнованно их целовал.

Как видно, мать провожала сына в армию.

Морозов тотчас почувствовал, что у него самого в душе, оказывается, тоже есть слезы. Да такие настырные, быстрые, что ему сейчас с ними не справиться.

Как раз была его остановка – Морозов поспешно вышел.

У входа в вокзал, словно они заранее договорились о встрече, стоял Илья Круглов. Правда, применить к нему слово «стоял», как и к генералу Вельяминову, будет не совсем правильно. Круглов масштабно возвышался между снующими «пассажижскими потоками», и взгляд его был не то чтобы обыденный, как и полагается человеку из городской суетной толпы, а вовсе даже зрелый и мудрый, словно он в эту минуту вглядывался не в текущую обыденность нашего земного мира, а вдохновенно созерцал торжественное великолепие вселенской бесконечности во всех ее плоскостях.

При этом он как бы всеми фибрами своей души отчетливо ощущал, что каждую секунду сквозь него вертко, чуть ли озорно пуляют триллионы солнечных нейтрино. Это явственно придавало Илье, одетому более чем обыденно в соответствии с зарплатой паркового служащего, дерзкую космическую масштабность и значимость. Он был на фоне мельтешивших разноликих уезжающих, встречающих, приезжающих и провожающих ни мало ни много животворным памятником Вселенной.

– Приветствую тебя, мой земной брат! – шагнул Круглов навстречу Ивану.

– Рад видеть... – отозвался тот достаточно напряженно, чуть ли не сухо, потому что перед глазами у Морозова все еще была мать, провожающая сына на фронт. По всему чувствовалось, что он, скорее всего, был у нее единственный.

– Странно, что ты не в духе! – гортанно воскликнул парковый астроном.

– Отчего ты так решил?

– Тебе волшебное зеркальце подать или в лужу на себя глянешь?

– Спешу я, спешу...

– В редакцию?

– С какой стати?

– Уже весь город читает твои отточенные афоризмы и восторгается ими! – торжественно объявил Круглов. – Я впервые со времен СССР увидел очередь к газетному киоску! Ты – талантище. Хочешь, подкину классную тему для твоего нового выстрела? Записывай. Каждый вечер толстый астроном ходит за водкой в гастроном.

– В другой раз... Прости. Я очень спешу.

– Другого раза может и не быть, человек из Антимира. Так, кажется, тебя генерал Вельяминов величает?.. – вздохнул Круглов. – В общем, думай мозгами. Японские ученые определили, что ядро Земли перестало вращаться. Это все равно, что у человека остановилось бы сердце.

– Уверен, что тебе по силам это ядро вновь запустить, – хмыкнул Морозов, напряженно вглядываясь в броуновское мельтешение человеческих фигур.

– Вот ради этого я, астроном, и иду сейчас в гастроном... – с удовольствием всхотнул Илья.

– Хорошего праздника... – машинально проговорил Иван и рванулся к вокзальному турникету.

Он прошел сквозь него, как нейтринно через астронома.

Поезда на путях уже не было. Судя по цифрам на табло, он полчаса как отбыл в направлении Москвы.

## 9

– Такого исхода из России еще не было на моей памяти! – громогласно встретил Морозова генерал, вышедший ему навстречу при полной парадной форме и солидно, в перезвон, бряцая сияющей увесистой множественностью медалей и орденов на еще теплом от утюга кителе, только что изысканно, мастерски отутюженного Маргаритой Михайловной. – Я, не смущайся, сию броню на себя специально сегодня надел. Чтобы реально от всей беглой шантрапы отделиться. В гражданскую драпали за рубеж сознательные враги советской власти, в Великую Отечественную перебежали к фашистам предатели Родины и трусы. Недавние диссиденты с визгом отрабатывали подачку на всяких там западных радиостанциях. Одним словом, ныне измельчали ненавистники России. Вон сейчас,

Ванюша, в основном прут напролом в чужестранье певички, шансонье и самовлюбленные айтишники. А с каких-то высоких идейных соображений? Ни фиги! У них сегодня просто-напросто не в тренде быть патриотами родной Отчизны.

– От себя не убежишь... – отчетливо проговорил Морозов. – Вон даже сердце у Земли остановилось от всей этой смрадной канители.

– Ну ты даешь, человек из Антимира! Какое еще сердце?.. – взволнованно вздохнул Вельяминов, так что чуть ли не весь воздух в его кабинете пришел в движение.

– Ядро планеты. Оно перестало вращаться. Именно так сказал мне сегодня наш астроном. Мы с ним случайно на вокзале сошлись, – уточнил Иван.

– Мать-природа всю боль человеческую чувствует... – сострадательно постановил Вельяминов. Эх, Сталина бы на всю эту либеральную сволоту... Коньяк будешь?

– Буду, – отчетливо побледнел Морозов.

– А с какого рожна у тебя физиономия такая смурная?

Иван не ответил. Долго, напряженно не отвечал.

Уже Маргарита Михайловна принесла на серебряном увесистом подносе, разукрашенном всякими художественностями в стиле восемнадцатого века, свои разномастные кулинарные изобретательности, кои возжелал супруг, а Морозов все никак не находил нужных слов. Только губами нет-нет да судорожно шевелил. Вкривь и вкось.

– Эх, тебя, братец, загвоздило... – сочувственно вздохнул Михаил Антонович.

– Жена моя и сын... – вдруг трудно, будто он сейчас как бы заново учился говорить, объявил Иван. – Они того... С Хатретом... Уехали в Штаты... Сбежали, одним словом.

Вельяминов резко встал. Кажется, генерал сейчас едва ли не вдвое увеличился во всей своей и без того рослой масштабности. Просто-таки всю комнату собой занял.

– С какого такого бодуна?!

– Люське взбрело в голову сына учить там на политтехнолога... И вообще у нее с этим цэрэушником вроде как чувства определенные вдруг наметились...

Морозов порывисто снял рюмку со стола, да пить-таки не стал. Некая внутренняя судорога как зажала его. Ничто сейчас душа Ивана, кроме боли, принимать не желала.

Не успевшая выйти из кабинета мужа Маргарита Михайловна от всего услышанного растерянно оступилась и свой поднос, правда, уже пустой, как есть уронила. Тот чуть ли не колоколом отозвался, тяжело пав плашмя на дубовый маститый паркет.

Этот серебряный тревожный звук старинного благородного металла с напрягом проник в Ивана, будто разбудив его от большого сна.

– Как же Вы говорите, что Ваша супруга и сын за границу уехали? Ничего себе... А ведь я только что в окно видела их на скамейке возле нашего подъезда! – оторопело объявила Маргарита Михайловна.

– Боевая тревога! – пророкотал свыше неувядающий бас Вельяминова. – Ноги в руки, Ванюша, и минута тебе на построение внизу у подъезда. Последний парад наступает!

Михаил Антонович едва успел напутственно приобнять Морозова.

Выбежав из подъезда со стремительностью, превышающей все армейские нормативы, Иван чуть не сбил с ног шедших ему навстречу Люсю и Андрона. Кстати, прозванного еще в восьмом классе «адронным коллайдером».

Никто из них долго не мог заговорить первым.

– Ты простишь нас?.. – наконец с трудом проговорила Люся. – Мы не смогли уехать...

Иван ни слова не смог сказать. Даже дыхание у него пресеклось. Он обнял Люсю и Андрона, замороженно чувствуя, как триллионы звездных нейтрино радостно пронизывают их...

– Какой воздух в городе необычно свежий! – как с небес раздался над ними с генеральского балкона счастливый голос Вельяминова. – Словно после грозы! Уверен, что он такой сейчас по всей стране! Сколько с началом СВО всякой дряни бежало от нас! Только бы они не вернулись...

Генерал настоящим полководцем оглядел родной город с высоты и облегченно вздохнул:

– Поднимайтесь, Ваня, ко мне. Вместе с сынком и Люсенькой. Будем чай пить и песни про гордый «Варяг» петь!

# ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА АНТРЕСОЛЯХ?

Повесть

*«Человек по своей природе политическое животное».*

Аристотель

После короткого утреннего общения на лестничной площадке с новым соседом Аркадием (то ли айтишником, то ли неким менеджером) Игорь Юрьевич Лепендин отчетливо почувствовал нарастающее раздражение.

– Если Вы собрались ехать в центр, хочу Вас предупредить: там сегодня опять будет демонстрация сторонников Насыпного! – первым бойко заговорил молодой человек.

– Я далеко не его поборник... – сухо, сурово отозвался Игорь Юрьевич.

– Нисколько не сомневаюсь!.. Это у Вас на лице ясней ясного написано! – разоблачающе объявил Аркадий. – Но независимо от ваших верноподданнических взглядов транспорт в центр и обратно все равно будет ходить с перерывами. А некоторые маршруты городские власти и вообще временно отменят. Чтобы хитроумно минимизировать масштабы народного протеста!

– Так уж и народного?.. – отчужденно хмыкнул Игорь Юрьевич.

– По крайней мере, его лучших представителей! Само собой, молодых! – гордо объявил Аркадий, которому было разве что лет около тридцати пяти. – Кстати, я на прошлой демонстрации даже шестиклассников видел! Азартные и веселые, они смело шли навстречу своему счастливому будущему с самодельными транспарантами: «Свободу Насыпному!!! Политическое старичье на свалку истории!!!»

– Роддомовских младенцев никто не нес с такими же лозунгами? – вскинул подбородок Игорь Юрьевич, чтобы несколько ослабить внезапно объявившееся жжение изжоги.

Аркадий снисходительно хохотнул.

Само собой, они были людьми более чем разных поколений и в силу того, само собой, взглядов. Однако Игорь Юрьевич, пенсионер с десятилетним стажем, бывший уче-

ный секретарь местного филиала государственной библиотеки, всегда придерживался мнения, что истинное понимание смысла жизни если и приходит к человеку, то разве что лет после семидесяти. А тут вдруг впервые столкнулся с очевидным фактом, что этому молодому человеку его, Игоря Юрьевича, заматеревший опыт бытия не только не важен, но даже забавен и, наверное, смешон. Неспроста нынешняя молодежь завела моду протестно одеваться шиворот-навыворот. Поэтому тридцатипятилетний Аркадий как какой-нибудь отвязный шестиклассник был в обвислом черном худи с капюшоном, узких желтых очках и зауженных донельзя белых штанцах, открывающих голые бледные лодыжки; ко всему он носил разноцветные носки. Само собой, на таком дерзком фоне более чем кондово смотрелись длинный темно-серый кожаный плащ и классическая фетровая черная шляпа Игоря Юрьевича – ровесники былой моды на товары былой Югославии. В этой одежде он напоминал Аркадию одного из тех членов Политбюро ЦК КПСС, которые на кадрах старой кинохроники поднимались на площадку Мавзолея в партийно-праздничные дни.

– А с какой такой стати Вы лично манкируете Насыпно-го? – снисходительно усмехнулся Аркадий.

– Ни с какой... Просто физиономия его мне не нравится... – глухо отозвался Игорь Юрьевич.

– Значит, вам безразлична судьба России!

– Отнюдь! Мне безразличны настырные самовыдвиженцы в народные вожди... – глухо отозвался Лепендин.

– Естественное кадровое продвижение – это когда человек поднимается с годами по ступеням руководящих должностей. А Ваш Насыпной объявился как черт из табакерки – и подавай ему кресло президента страны.

– Мы ждем перемен! Перемен требуют наши сердца! – радостно пропел Аркадий, чувствуя в себе вдохновенное бурление международных принципов либерально-демократических свобод.

И тут сама собой припомнилась Игорю Юрьевичу из былых времен знаменитая фраза Максима Горького: «С кем вы, мастера культуры?»

– Послушайте, Аркадий, а что вам в этой жизни важнее более всего? – строго напрягся Лепендин. – Вы помните такие слова из песни: прежде думай о Родине, а потом о себе? Как они Вам?

– Тупо. Фигня. Я предпочитаю наслаждаться жизнью и хочу покрасить волосы в зеленый цвет! – азартно рассмеялся Аркадий. – А может быть и пол сменю! Год буду женщиной, потом – снова мужчиной! И опять – женщиной!

Игорю Юрьевичу вдруг захотелось перестать слышать и видеть, чувствовать и обонять. Одним словом, оказаться подальше от этого мира. Обрести свое личное «убежище Монрепо». Скажем, на антресолях в его коридоре, всегда в детстве так манивших его воображение своими ужасно любопытными тайнами. А что если действительно там среди схронов почти вековой давности его реально ждет нечто вроде сказочного «золотого ключика» от Рая на земле?

В громоздком величественном облике антресолей всегда чувствовалось что-то мистическое, словно время там загадочно уплотнилось, сделав прошлое и будущее настоящим. Это была самая настоящая кладовая спрессованных временем событий. Неспроста основным материалом антресолей стал практически вечный мореный дуб, имеющий, как известно, густо-черный цвет, искрящийся серебристыми прожилками.

На антресолях с незапамятных времен что только не хранилось. Год от года, десятилетие от десятилетия там благодаря его родителям, всегда трудно расстававшимся с отжившими предметами быта, накапливалась всякая всячина: скажем, старая посуда, детские игрушки Игорька, там можно было найти действующий ламповый приемник, ржавые гантели, поломанную ручную мясорубку, старое прохудившееся цинковое корыто, коллекцию значков эпохи СССР и даже зачитанные вдрызг журналы. Там возлежали, словно ожидая свой звездный час, библиотечные тома Ленина и Маркса, которые Лепендину удалось спасти в ельциновские годы от уничтожения с помощью, как тогда было принято, обыкновенного топора. В общем, много

чего на антресолях жило вечностью. Это была настоящая машина времени.

Игорь Юрьевич взволнованно усмехнулся.

Сегодня же вечером, решительно взяв стремянку, нервно пригладив седые, крылато разлетающиеся волосы, он сделал первый шаг навстречу прошлому: включив трофейный немецкий фонарь «Даймон» с ярким густым лучом, Игорь Юрьевич осторожно просунул голову в душную, захлавленную и запаутиненную атмосферу словно бы спрессованных десятилетий.

«Как же я потом стану отсюда задним ходом пятиться?..» – настороженно подумал он и вдруг замер: в хлестком луче «Даймона» Игорь Юрьевич увидел перед самым своим носом присыпанный полувековой мертвенной пылью журнал «Огонек» – растрепанный первый номер давнего 1952-го. Хотя тот был без обложки, но до сих пор хранил остатки особого типографского аромата, присущего цветным иллюстрированным журналам той поры. В скольких избах, хатах, юртах, саклях, армейских казармах, тюремных камерах и, само собой, на домашних стенах сталинок и хрущевок не висели в свое время радующие глаз цветные «огоньковские» вклады: с портретами Ленина и Сталина, огромным тяжеловесным гербом СССР, похожим на суровую икону нашей планеты, потом же картинами великих художников, среди которых особой народной, солдатской и эковской любовью пользовались иллюстрации типа «Данаи» Рембрандта или Боттичеллевы «Венеры, рождающейся из пены».

Игорь Юрьевич напряженно вздохнул. Можно сказать, что дело чуть было до ностальгической слезы не дошло. Но не дошло.

Перемогся он, отдышавшись.

Чем был тогда журнал «Огонек» для советского человека? Всем он был. И для пацаненка Игорька, и для его папки с мамкой, которые, кстати, поначалу брезгливо называли «Огонек» чтивом «для парикмахерских». За журналами тогда ходить на почту, как сейчас, не надо было: почтальон с гордостью сам приносил их и аккуратно, сосредоточенно раскладывал по железным ящикам на

дверях. Какой же это был особый, радостный момент, когда ты вместо привычных ежедневных газет «Правда» и «Известия» вдруг видел через дырочки в дверце почтового ящика присутствие в нем очередного журнального издания, на весь подъезд романтично пахнущего своими красочными страницами. Кстати, папа Игорька Юрий Михайлович Лепендин ежегодно по заранее составленному на семейном совете списку торжественно выписывал нужную корреспонденцию на почте: себе как директору лучшей городской школы целую кипу журналов – «Партийная жизнь», «Советская педагогика», «Семья и школа», потом же непременно «Вокруг света», а также «Крокодил» с карикатурами на тунеядцев, расхитителей народного добра и злобствующих империалистов. Мама, Татьяна Яковлевна, как заведующая библиотекой гарнизонного Дома офицеров, конечно же, имела служебный доступ ко всем центральным газетам и журналам, однако она не представляла культурный семейный отдых без собственного издания в руках: когда дома на диване в гостиной, когда в дачном шезлонге под зеленым навесом резных виноградных листьев, а то даже под шелковым китайским зонтиком на пляже Дома отдыха имени Горького. В такие минуты мама Игорька любила не только читать «Работницу» или «Здоровье», но и делать на их страницах аккуратные изящные пометки карандашом, а также старательно выписывать в подаренный ей супругом кожаный блокнот взволновавшие ее глубокомысленные афоризмы великих людей, мудрые народные пословицы и удивительные кулинарные рецепты.

Самой собой, Игорек от родителей не отставал и жил в том особом счастьее мире, декорациями для которого были его любимые журналы «Пионер», «Костер», «Мурзилка», «Юный натуралист» и «Юный техник», а когда достаточно подрос – «Техника – молодежи», «Знание – сила» и коронная «Наука и жизнь». Со свежими номерами он долго не расставался и всюду гордо ходил с ними, заткнув очередное новое издание за школьный ремень с медной бляхой, а самым радостным временем его чтения была, конечно

но, ночь: да чтобы под одеялом и непременно с лучистым «Даймоном», красный и зеленый светофильтры которого придавали ощущение праздничной сказочности такому его занятию. Жизнь под одеялом нравилась ему своей необычностью и загадочно волновала чем-то неведомым. По крайней мере, именно в этой одеяльной норе случился его первый в жизни поцелуй. Он долго к нему шел. Как вырвался. Инициативу воспитания половых чувств уверенно взяла на себя ее величество Книга, а именно фантастический роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». В одну из ночей, как в полусне, заторможенно, будто по чьей-то чужой воле Игорек стал медленно приближать к себе книгу с прекрасной Низой Крит на обложке. Астронавт смотрела на него словно бы с удивлением и тревогой. Игорек взволнованно зажмурился. Его напряженные, вмиг высохшие губы, наконец, порывисто тыкнулись в обложку. И еще раз, радостней, решительней, просто-таки азартно. Это был судорожный первичный приступ пробного, настороженно нарождавшегося желания любить.

«Все-таки почему «Огонек» без обложки? – задумался Игорь Юрьевич, глядя на таинственно появившийся из бездны времени журнал. – Допустить, что это я его когда-то порвал, невозможно. «Огонек» был в нашей семье заглавным изданием. Родители вечно спорили за первенство читать его!»

Игорь Юрьевич напрягся, пытаясь мысленно воссоздать переплетение нитей прошлого. Итак, почтальон входит в их подъезд. От этого человека в памяти Лепендина осталась большая, на длинной лямке черная кожаная сумка, синий берет, а еще серебрившаяся на груди чеканная медаль «За отвагу»: на ней три быстрых ястребка и непобедимый танк. Почтальон с профессиональной сноровкой быстро, ловко опускает в металлический ящик яркий фасонистый журнал. Это большой, гляцевый «Огонек». Этот самый. Мог ли он в ту минуту, скажем, надорвать обложку, а потом сам или родители ее скомкали и выбросили?» – «Нет...» – ответил себе Игорь Юрьевич и вдруг издал губами почти трубный звук – он увидел на сохранившейся второй странице следы

от карандаша. И тотчас все для него стало на свои места. Память живо включилась. Даже с какой-то мстительной точностью: он во всех подробностях вспомнил тогдашнюю историю. Это была нехорошая история. Очень и очень нехорошая. Она вызвала столько панической суеты в их доме. Самый настоящий сумасбродный переполох тогда случился. Ничего подобного в их семье ни раньше, ни позже не происходило. Мама полубормочно накапала себе валерианку, отец, судорожно приняв добрую рюмку армянского коньяка, принялся нервно метаться из угла в угол именно с этим «Огоньком» в руке. Тот заполошно трепетал всеми своими большими страницами. Словно порывался выскользнуть и улететь, куда подальше, от всей этой страшной истории. Кстати, тогда на журнале еще была обложка. Да, так. Он это точно помнит! И, как у всех номеров «Огонька», обложка была радостная, пафосная и словно лучившаяся на всю страну большим человеческим счастьем. На ней, окрыленные яркой верой в светлое будущее, шагали навстречу коммунистическому завтра двое счастливых, патриотично уверенных в своем счастливом будущем молодых людей: рабочий и колхозница на фоне Красного знамени, торжественно украшенного большим, вернее, гигантским портретом мудрого Сталина. Иосиф Виссарионович, правда, был как бы несколько не похож на себя. Как только папа и мама это заметили, так сразу их обоих внезапно как хорошим разрядом тока ударило.

Прошло несколько напряженных секунд. У мамы глаза от напряжения или испуга купались в слезах, все пребывающих: того и гляди – утонут в них. Папа побледнел настолько, что его лицо как бы вовсе исчезло. Он сейчас был в глазах Игорька как всадник без головы, книжку про которого ему недавно с выражением читала мама.

Наконец, причина несхожести «огоньковского» Сталина с подлинным ликом вождя объяснилась. Несколько минут назад Игорешка радостно и вдохновенно пририсовал карандашом Иосифу Виссарионовичу бородку «клинышком». Самую что ни на есть ленинскую. Как видно, Игорек из разговоров папы и мамы, а также благодаря их не умолкав-

шему целыми днями ламповому приемнику «Балтика» проникся единством этих двух вождей мирового пролетариата, что и озарило его преподнести такой факт зримо, образно. Как осчастливить им всех и вся.

Нет, Игорька не только не отшлепали, но даже почему-то не ругали, хотя поначалу казалось, что все именно к этому склоняется по нарастающей. По крайней мере, было очевидно, что папа потерял контроль над своими руками, — их дальнейшие действия были непредсказуемы. Однако он каким-то образом превозмог себя и, судорожно покряхтывая, торопливо сжег в печке с вовсе не пролетарским и не крестьянским названием «буржуйка» злосчастную первую страницу, а сам журнал, такой долгожданный, такой любимый, непрочитанным забросил поглубже на антресоли.

Родители никогда не возвращались к теме ленинской бородки, которой Игорек щедро наградил лик Иосифа Виссарионовича за четырнадцать месяцев до смерти вождя. Не возвращались они к ней даже после выступления Хрущева на XX съезде с разоблачением культа личности Сталина. Более того, совсем уже старенькие папа и мама уже после развала СССР и возвращения в Россию капитализма о том случае с «Огоньком» за январь 1952 года ни разу не заговорили. То, что произошло в тот зимний вечер, более чем глубоко затаилось в безднах их памяти, и было там старательно, надежно замаскировано по всем правилам уникального свойства нашего мозга уничтожать следы болезненно травмирующих воспоминаний.

Но эта чуть ли не парализовавшая отца и маму ленинская бородка, проросшая с помощью изгрызенного карандаша на лице Иосифа Виссарионовича, для трехлетнего Игорька ничего не переменила. Несмотря ни на что, он тогда весь вечер был безмятежно весел и счастлив.

...Игорь Юрьевич услышал дверной звонок, лежа враскорячку на антресолях. Но, правда, далеко не в позе человека с разведенными руками и ногами со знаменитого рисунка Леонардо да Винчи. Тело Лепендина отнюдь не имело ни малейшего отношения к знаменитым пропорциям «золотого сечения».

Звонок продолжал настырно судорожно верещать.

«Кого же там принесло, так твою перетак?.. – почти гневно подумал Лепендин. – Щас кинусь открывать! Уже разбежался!.. Где мой парашют?»

Он судорожно хихикнул.

Звонок не собирался шутить. Он уже рвал и метал. «А подать, мол, сюда немедля Ляпкина-Тяпкина!» Этакого-разэтакого!!!

«Явно какие-нибудь мошенники... – сурово предположил Игорь Юрьевич. – Таскаются по домам, впаривают старикам втридорога всякую никому не нужную белиберду!»

Как бы там ни было, желание продолжить исследование магического чрева антресолей у Лепендина поуглохло. На такое наглое вторжение банальной жизни в его романтическое погружение в прошлое душа Игоря Юрьевича отреагировала унылым вздохом.

Неуклюже пятясь назад по вековечной пыли буквально ватной плотности, он как бы медленно возвращался из «прекрасного далеко» в серый короткоживущий сегодняшний день. Каждая вещь на антресолях многое поведала ему о зигзагах человеческого существования. Скажем, те же театральные афиши далеких шестидесятых с портретами так восторгавших его маму знаменитых артистов местного драмтеатра – Сергея Папова, Леонида Броневого и Риммы Мануковской. Или оказавшаяся буквально под носом тускло-серая пыльная маска Буратино, которую Игорек любил надевать на все домашние праздники и разговаривать с родителями и гостями особым деревянным голосом. А вон чуть дальше лежит папина английская клинковая опасная бритва с тонким стершимся лезвием, возле нее – разодранный надвое черный томик Ницше, фарфоровая немецкая статуэтка без милой романтической девичьей головки – результат начавших прорезываться в Игорьке смутных эротических судорог, а вон отсвечивают старой тусклой сталью его коньки-ножи, «норвежки», как их тогда называли, далее опрокинулась набок плетеная корзина со старой советской посудой во главе с мрачной чугунной сковородой. И за всем – своя многозначная история...

Звонок повторился бог весть в какой раз, дерзко вознамерившись в любом случае выудить Игоря Юрьевича из романтично-философских глубин антресолей.

Он строго поморщился, откашлялся и гортанно крикнул:  
– Иду же!

Само собой, это «Иду же!» прозвучало как добротный мат. Вряд ли иные словесные конструкции уместны, когда ты пятишься неуклюжими рыками, будто тот же рак, оказавшийся в опасности.

Однако, как ни долго спускался Игорь Юрьевич, он, наконец, так-таки достиг входной двери и, судорожно переведя дыхание, потянул ее на себя. Кстати, она показалась ему просто-таки чугунной.

– Добрый день... – интеллигентно, чуть ли не заискивающе проговорила не совсем трезвая физиономия Аркадия.

Молодой сосед душевно рассмеялся – даже типа каблуком щелкнул, но беззвучно, потому что носил по общему порыву кроссовки.

– Шестиклассники меня портвешком угостили для храбрости, когда мы с ними цепочкой с песней двинулись на полицию... – расправив грудь, почти гордо вздохнул Аркадий.

– Какое, однако, завидное у вас единство поколений... А исполняли Вы «Марсельезу» или рэп, идя в атаку? – многозначительно проговорил Лепендин, едва не закашлявшись: сказала-таки основательно помявшая грудь вылазка в антресольные глубины.

– Влада Бумагу! И притом мы несли плакаты и цветы. Все выглядело с нашей стороны безобидно и даже празднично. Кстати, у меня с собой фронтовые сто граммов! – отчетливо, почти гордо сказал Аркадий. – Можно я войду? Только я не один. Со мной Алина. Разрешите, сэр?

– Вау! – игриво обозначила себя кукольным голоском зеленоволосая Алина.

– Будьте любезны, прошу... – напряженно, но несколько растерянно улыбнулся Игорь Юрьевич.

Гости свойски прошли на кухню. Молодой сосед, озорно упав на диван, победоносно огляделся, явно приго-

товившись к некоему эпохальному откровению. Алина нежно положила голову ему на колени. Ее накачанные филлерами пухлые губы были похожи на жареный румяный бублик.

Игорь Юрьевич, замаявшись, тем не менее в итоге благосклонно достал «Арарат», и они торжественно приняли по рюмке. От второй Аркадий отказался, в отличие от Алины.

Последние десять лет после смерти жены Игорь Юрьевич словно бы не видел вокруг себя женщин. То есть они были в реальности и даже в большом количестве, особенно в его годы работы в библиотеке, но какие-то все фантомные, словно приходящие и уходящие в особый, неведомый мир, изгнавший его самого...

Сейчас Лепендин оказался в достаточно непростом для себя положении. Лицом к лицу с молодой девушкой, как в эту минуту с Алиной, он не был уже несколько десятилетий. Так что ему показалось, что напротив него, ни мало ни много, улыбается некая инопланетянка. С какого-нибудь Сириуса или Альгаира. А может быть, с Веги?..

– Я шизею!.. – хватко улыбнулась ему Алина и показала язычок.

Игорь Юрьевич болезненно вздрогнул. Как иначе он мог отреагировать на явление в масштабах его хрущевской кухни девицы с пирсинговыми шариками и цепочками из хирургической стали на бровях, ноздрях, губах и ушах? Возможно, и на сосках ее зарождающейся махонькой груди, и детском аккуратном пупке, похожем на младенческий кукиш, и, простите, куриной попке? Все остальное место на многочисленных открытых частях тела Алины было занято татушной черной и коричневой графикой а-ля самодетельная готика с патологическим уклоном.

– Игорь Юрьевич, как Вы считаете, я одет современно?.. – вдруг сказал Аркадий таким голосом, словно от ответа на сей вопрос чуть ли не вся его дальнейшая жизнь зависела. Не исключено, что и планеты Земля в том числе.

Алина задорно расхихикалась, не отрывая голову от его судорожно стиснутых коленей.

– Этот вопрос и привел вас ко мне?.. – по возможности мягко улыбнулся Лепендин.

Настроение у него медленно, со скрипом, но улучшалось. «Арарат»?

– Он только преамбула.

Аркадий вдруг решительно налил себе еще рюмку, но пить не стал:

– Знаете, школьники, с которыми я на демонстрации познакомился, прямо в лицо мне сказали, будто я нарочно так модно одеваюсь, чтобы войти к ним в доверие. Что я вроде полицейского провокатора и за ними доглядываю. Мол, взрослым ни в чем доверять нельзя! А вот Вы с первой встречи произвели на меня впечатление глубокой личности. При всей явной несхожести наших политических взглядов. Вот я и предлагаю нам с Вами в следующее воскресенье пойти на демонстрацию вместе. Мне Ваше мнение будет очень важно. Кажется, в России наступает новая революционная эра. Мы опять впереди планеты всей! Уже наши дети идут на баррикады! Гавроши великой истории, вперед!

– Однако... – поморщился Игорь Юрьевич. – До этого, слава Богу, еще не дошло. И, надеюсь, не дойдет.

– Не стоит так все это упрощать, господин консерватор... – умно, строго поморщился Аркадий и махнул-таки рюмку с усердием. – Вы должны увидеть демонстрацию свободных демократических людей своими глазами и заценить их взгляды по совести! А не судить нас через призму ручного телевидения или газет, купленных властью на корню! Вам не поздно поддержать нас, молодых, на пути к Великой Истине!

– Аркадий радостно, энергично встал и бесшабашно, скорее машинально, не вполне понимая, что делает, хватко выпил подряд еще две рюмки замечательного «Арарата». – Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы каждый человек был сам по себе велик и независим! Будь ты дворник или олигарх. Ни у кого, ни над кем не должно быть ни малейшего превосходства!

– Да вы и бунтарь, и романтик в одном флаконе! – строго хмыкнул Игорь Юрьевич. – Эка вон сколько в Вас разномастного энтузиазма сошлось! Так и прет из всех щелей под высоким давлением!

– Мне никто теперь не указ! – ярко, решительно постановил Аркадий. – Так пойдете в гущу народную?! Решайтесь! – он машинально скрипнул зубами. – Пришло время по совести решить, с кем Вы.

– Может быть, и решусь... – Игорь Юрьевич смято улыбнулся красно-зелено-черному пятну Алины.

– Ошизеть!!! – ошастливленно взвизгнула она. – Все-таки усвоили!!! Ай да дедуля!

– Итак, в воскресенье, не откладывая! Бодрым шагом! Всем и вся!!! – вдруг отчаянно побледнел Аркадий.

Так и казалось, что он сейчас пропоет что-то вроде «Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка, другого нет у нас пути, – в руках у нас винтовка!». И пропоет, и притопнет.

– И все же, видимо, придется сказать Вам нет... Баррикады еще не возведены, но мы с Вами уже сейчас по их разные стороны... – вдруг аккуратно вздохнул Игорь Юрьевич. – Демонстрация – это вовсе не игра. Это выбор жизни. Или Вы с народом, со страной, или хотите сломать ей хребет под аплодисменты Запада... Других вариантов бунтарство не предусматривает. А Вы пойдете, Аркашенька, за свои идеи на эшафот? Как те же декабристы на виселицу?

Алина прищурилась и вдруг ловко провела пальчиком по серому лицу Аркадия сверху вниз: ото лба и до подбородка.

– Кису-у-у-ня! – вскрикнула она. – Давайте вместо виселицы в переполох сыграем! Чур, я буду зайчиком!

Игорь Юрьевич нахмурился.

– Еще древнегреческие мыслители говорили об обреченности человека жить в политическом пространстве. Но они, не падайте со стульев, глыбко ошибались! Я только что спустился со своих антресолей. Там у меня самая настоящая кладовая времени... И знаете, что я там, наконец, понял? Если кто-то зовет вас на протестные шествия, настраивает на драки с полицией и прочее, значит, он вас подло использует. Все эти спартаки, лжедмитрии, робеспьеры, пугачевы, ленины и нынешние насыпные держат народ за дураков! А кто-то их самих держит за дураков. Вот такая круговая дурацкая порука.

– Зашквар... – тупо проговорил Аркадий. – А как же высокие идеи? Свобода, равенство, братство?!!

– А Вы спросите об этом у памятника господину Гильотену... *Liberte, Egalite, Fraternite*... – Лепендин прочмокал эти слова по возможности с парижским густым проносом. – Когда сии лозунги впервые взвились над головами несчастного человечества? Если память мне не изменяет, 30 июня 1793 года. В дни той самой Великой французской революции. Сейчас на дворе 2021 год. Минуло 228 лет. Сколько революций, мятежей, бунтов и восстаний прошло за это время под самыми священными лозунгами! А каков итог? А сколько одураченных голов теперешние робеспьеры и мараты готовы предать отсечению во имя целей неведомого им Хозяина Мира? Кстати, кто оплачивает ваши демонстрации? Ленина финансировали германцы, Троцко-го – американцы. Я думаю, что фигуранты поныне не поменялись. Поглядите пристальней, кто поддерживает Насыпного, Тихановскую?.. Кому в горле стоит вернувшийся на круги своя Крым? Наша Победа в Великой Отечественной?! Просто-напросто извечно российские недра и земли не давали и не дают покоя многим странам.

– Мы – империя зла! – покаянно взвизгнул Аркадий.

Когда он прощался, на глазах у него были блестящие слезы.

Алина с неохотой вышла следом за ним, но за порогом, обернувшись, нежно сдула со своих ладоней в сторону Игоря Юрьевича едва ли не целую стайку эротически алых пухленьких сердечек.

Долго не спалось Лепендину в эту ночь. Но не из-за роя сердечек Алины. Не покидало его томящее ощущение, что он не сказал Аркадию чего-то главного. Эка невидаль, эта пацанская демонстрация... У русского человека вольнолюбие всегда было в крови. Но не преклонение. Да еще перед иноверцами. Да если все вспомнить... Нет, даже не ленинскую бородку, пририсованную им «огоньковскому» портрету Иосифа Виссарионовича. А, скажем, копнуть поглубже, когда он впервые держал в руках запрещенную в СССР книжку. Основательно зачитанную, нарочно без обложки, с аккуратно вырезанной

ножницами со всех страниц фамилией автора. Такое у тебя было, Аркадий?

И припомнился Игорю Юрьевичу летний Воронеж далекого тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, подгорная улица Фрунзе и горячая толь крыши сарая с полуразвалившейся голубятней, – там на корточках сидят два двенадцатилетних послевоенных пацаненка: он и Митька, его уличный дружок, – худющий, исцарапанный, одетый явно в одежонку, до него уже основательно изношенную кем-то из старших братьев. Они только что азартно, споря, толкаясь острыми пацанскими локотками, играли в пристеночку – их медные пятаки ловко, с прищелком отскакивали от красной кирпичной стены. А сейчас этот ржаво-веснушчатый Митька, выигравший у Игорька целых двадцать копеек как раз на пломбир и стакан «чистой» газировки, то есть без сиропа, напряженно дыша, показывает ему книгу со стихами. Для взрослых. Бдительно, не давая даже подержать ее. Кстати, Митька – будущий командир атомной подлодки.

«Атас! Запрещенная... За такую книгу нас с тобой могут в тюрьму посадить... Понял? – тихо сказал он и, оглядевшись, стал осторожно читать из нее строчку за строчкой чуть ли не по слогам, как и полагается не вылезавшему из двоек и троек забубенному пятикласснику. – «Зацелую допьяна, изомну, как цвет, хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты».

«А кто это написал?..» – робко спросил Игорек.

«Точно не знаю. Папка говорил, что этого автора будто бы давно убили... Какой-то Есенин... Только никому об этом ни слова! Молчок!»

Вспотевший от напряженного чтения Митька, бдительно озираясь, тщательно спрятал свою затерзанную книгу под ремень, сверху хорошенько натянул рубашку.

Память, память... Ее только тронь. Сколько всего, казалось бы, напрочь забытого, таится на ейных антресолях...

...Как-то осенью двадцатилетний Игорь Лепендин, электрик городского Дома культуры, однажды оказавшись дома один (родители ушли в драмтеатр на премьеру пьесы

«Хроника одного дня» и останутся на фуршет для актеров и избранных зрителей), не без некоторого раздраженно-го волнения вдруг сел за отцовскую пишущую машинку «Украина». Нет, не ради увековечивания на днях внезапно объявившейся в нем странной и малопонятной, эдакой заковыристой первой любви к соседке Тане. И не ради самолюбивого желания начать дневник будущего великого ученого или дерзко приступить писать стихи, чтобы заткнуть за пояс разных всяких там евтушенков и вознесенских.

Игорь торопливо наступал на печатной машинке ни мало ни много текст политической листовки. Просто сел и написал? Это была как некая новая захватывающая игра? На дворе поздняя осень семидесятого. Хрущевская оттепель давно миновала. Вызревал брежневский застой. Советские люди засыпали и вставали с анекдотами про Леонида Ильича и коммунизм, ждущий советских людей через десять лет в 1980-м, но в доме Лепендиных такое народное или, может быть, инородное творчество не приветствовалось. Отец был убежден, что говорить о чьих-либо недостатках неприлично: вначале от своих следует избавиться. Как-то Игорь дерзнул озвучить один из свежих анекдотов, на его взгляд самый-самый: «У армянского радио спросили, куда стремится капиталистическая Америка. Армянское радио, не задумываясь, ответило: «Капиталистическая Америка стремится к своему исторически неизбежному загнанию». – «А Советский Союз?» – «Советский Союз стремится ее догнать и перегнать...»

И что за муха его тогда укусила с этой пишущей машинкой – неведомо. До сих пор неведомо. Как неведомо, почему сегодня Аркадий ходит на демонстрации за Насыпного, приглядывается, прислушивается там с умным видом... Запретный плод сладок? Самолюбие тешится? Слишком просто. Тут и массовый психоз о себе может заявить. Как те бурные аплодисменты, которые квакеры легко могут вызывать в театре или на концерте. Или сработала в нем старая обида с политическим душком?

Про подавление восстаний в ГДР и Венгрии в пятидесятые Игорек слухом не слыхивал до поры до времени в

силу успешной работы советской цензуры и наших усердных «глушилок» вражеских голосов. О расстреле рабочих в Новочеркасске случайно узнал во дворе от хорошо принявших на грудь крикливых доминошников: «Рыба! Рыба!!!» Тут кто-то и шепнул хриплым неопохмелившимся голосом, будто поднялись новочеркасские рабочие, пошли с голыми руками на танки, – припер их рост цен на продукты и низкие зарплаты. В общем, взбаламутился передовой авангард всех трудящихся.

«Ничего такого не было и никогда не будет! Западная пропаганда! – прокричал на все на это отец и строго, бдительно напрягся, словно пытаюсь загипнотизировать сына. Эдакий семейный Вольф Мессинг: «Не верь болтунам! Болтун – находка для шпиона!» А через несколько лет после Новочеркасска – вот вам, будьте любезны, «Пражская весна», перемешавшая в Чехословакии аромат сирени с дизельными выхлопами танков стран Варшавского договора. Они вошли в Прагу, вызвав поголовную гордость советских людей за наших парней-освободителей, спасших союзную страну от происков капиталистических провокаторов: в СССР и взрослые, и дети восторженно обсуждали, как стремительно развернулись наши войска, как мужественно захватили наши десантники пражский аэропорт, а по ходу наступления еще и пресекали факты жестокости к простым чехам со стороны гэдээровских и польских солдат.

Тем не менее все почему-то достаточно скоро забыли про эти передраги. Как забыли и о стрелявшем в Брежнева Викторе Ильине, о восстании, поднятом замполитом Валерием Саблиным на противолодочном корабле «Сторожевой»...

Совсем другое усадило Игоря печатать листовки мерзущими от волнения пальцами...

Как-то он, студент-заочник второго курса филфака, пришел в военкомат с просьбой принять его на службу военным корреспондентом. Вдруг ни с того ни с сего объявилось в нем хотение «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете». До того Игорь в разные годы собирался стать то летчиком, то космонав-

том, потом же полярником и даже сотрудником уголовного розыска.

Как бы там ни было, в военкомате его просьбу выслушали с уважением и дали «добро», но с одним условием: стать, не откладывая, кандидатом в члены КПСС. И место будущей службы ему уже с радостью наперед определили – остров Сахалин.

Юрий Михайлович сына восторженно поддержал, Татьяна Яковлевна, как водится, ударилась в слезы и отрицание. Она, оказывается, тайно мечтала, что ее сын станет лучшим зубным врачом СССР...

Как бы там ни было, Игорь, не откладывая, подал заявление о вступлении в партию. Этот вопрос решить тогда комсомольцу было нельзя без одобрения и рекомендации комсомольского собрания. Казалось, какие проблемы? Игорь вон даже на Доске Почета городского Дома культуры представлен среди передовиков культурного труда: мальчишески ухмыляется на фото, как упрятанный в свою тогдашнюю смоляную раскидистую бороду.

В общем, собрание наметили через две недели. На исходе этого времени сполна наволновавшийся и даже заметно похудевший Игорь спохватился, что нигде не находит свой комсомольский билет. А на такие собрания, где тебя будут рекомендовать кандидатом в члены КПСС, полагалось являться обязательно с этим документом, ко всему прочему еще и свидетельствующим об уплате тобой комсомольских взносов в размере пяти процентов от зарплаты.

Весь дом втроем перевернули, тарарам полный устроили, но ничто не помогло. Само собой, в рекомендации Игорю к вступлению в ряды КПСС собрание отказало, да мало того, заместитель директора Дома культуры по воспитательной работе Константин Эдуардович Яровой возмущенно высказал предположение, что их электрик мог продать свой билет агентам вражеских разведок. В связи с этим Яровой, кстати, бывший полковой особист, предложил не только исключить Лепендина из комсомола, но и передать материалы по этой «грязной» истории органам госбезопасности для дальнейшего расследования.

До полуночи товарищи по комсомолу, не потерявшие доверия к Игорю, отпαιвали его темным «Мартовским» пивом, а девчонки пытались развеселить и азартно целовали слезно-мокрые, а частично даже сопливые щеки и лоб несостоявшегося военкора.

Дома с Игорем случился настоящий психический приступ. Он судорожно бился на кровати, как будто его ломал столбняк, а потом и вовсе потерял сознание. «Скорую» не вызывали только потому, что Игорь то и дело кричал, что к власти в нашей стране пробрались американские агенты и делают все, чтобы как можно скорей разрушить СССР. Но он все это остановит, открыв народу глаза, куда и зачем его ведут наши вожди.

Только через много лет выяснилось, что Татьяна Яковлевна накануне того самого рокового комсомольского собрания припрятала билет сына на антресолях во имя его будущей успешной карьеры «зубника». Игорь вновь визжал и топал ногами, бил кулаком по столу, и если бы не отец, выбил бы себе все зубы (один или два – точно) невесть откуда имевшимся у них на антресолях стоматологическим молотком.

«Уважаемые товарищи! – одним пальцем, то и дело пугая клавиши, принялся аккуратно печатать Игорь. – Счастье народа давно не заботит высшие круги КПСС. Пока вы живете по скудным продуктовым талонам, советская номенклатура устроила для себя роскошную жизнь со спецпайками и магазинами «Березка». Не верьте лживым утверждениям о скором построении коммунизма в СССР! Вместо этого Вы получите новое крепостное рабство под дудку дяди Сэма!»

Не успел Игорь сойти со ступенек портика с листовками в кармане модного тогда нейлонового итальянского плаща, как тотчас вздрогнул: их сталинка бдительно нависла над ним в ночи, словно пушкинский медный всадник над бедным Евгением. Натянув поглубже фуражку и замотав лицо по нос отцовским клетчатым шарфом, Игорь взволнованно прислушался. Темнота снисходительно-насмешливо ждала, когда он, наконец, решится переступить в себе комсомольца-ленинца.

И вот уже Игорь, судорожно озираясь, неуклюже лепит на стенах домов и дощатых заборах самодельные наивные листовки с помощью крахмального клейстера, который мама добавляет в бак при стирке постельного белья.

За полчаса он развесил вкривь и вкось свои мелодраматические воззвания на стенах домов их темной неуклюжей улицы имени Моисея Соломоновича Урицкого – когдатощего председателя Петроградского ЧК. Бабушка Игорька Александра, когда еще была жива, рассказывала, что Моисея Соломоновича в 1918-м застрелил в питерской театральной ложе студент, молодой поэт и бывший юнкер Леонид Каннегиссер. Ко всему – народный социалист. Отмстил за смерть в застенках ЧК своего друга Владимира Перельцвайга, тоже народного социалиста. Ни мало ни много. «На единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором... За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов!» – написала тогда «Красная газета», официальный орган большевистского Петросовета.

«Никого из них нам сегодня не следует судить... – как-то высказался по этому поводу Юрий Михайлович и тревожно побледнел. – Тогда так было: куда попал, там и пропал».

И все-таки их улицу, думал Игорек, припечатывая листовки, следовало назвать улицей Жертв красного террора. Он решил, что эта мысль станет темой его новых листовок.

В ночи Игорю попадались запозднившиеся прохожие, словно на автомате бредущие домой с работы на близком отсюда Центральном железнодорожном вокзале, но он дерзко не обращал на них никакого внимания. И они, в свою очередь, спотыкаясь и побряхывая от усталости и оупения, в его ночные дела не вглядывались.

Наконец он до того распалился своей доморощенной революционностью, до того почувствовал себя человеком, способным изменить этот мир к лучшему, что даже напевать принялся. Вернее, мычать под нос слова песни, которые в тот момент никак не могли соответствовать его антисоветской экзальтации. Тем не менее песня бодрила и вызывала в душе какой-то священный трепет: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гне-

тут, в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут».

Страх пришел, когда Игорь припечатал сикось-накось последнюю прокламацию. Страх был особенный. Ничего подобного Игорь до сих пор не испытывал.

«Руки вверх!» – вдруг отчетливо услышал он из едкой темноты требовательный, внушительный голос.

Он вяло обернулся, поскользнувшись на мокром от густого тумана уличном булыжнике.

Никого... Может быть, это окликнул его, забавляясь, дух того самого Соломона Моисеевича, убиенного студентом?..

Насколько позволял видеть свет из редких окон, на улице из пешеходов сейчас был только один Игорь.

«Страх на тараканьих ножках ходит...» – машинально вспомнил он одну из присказок бабушки Александры.

На обратном пути он то и дело спотыкался, а дважды так и вовсе упал. Во второй раз ноги выше головы торчком вскинулись: пошел первый снег, мокрый и склизкий.

Первый раз в своей жизни Игорь лег спать, не раздеваясь. Только зеленый итальянский нейлоновый плащ сбросил возле кровати. Как вывалился из него. Словно бабочка из куколки, народившись к новой жизни.

...Он где-то читал, что преступника тянет на место преступления. Это оказалось правдой. Рано утром Игорек, выйдя будто бы вынести мусор, быстрее быстрого оказался на улице имени чекиста Урицкого, но тут, бдительно притормозив, с нарочито равнодушным выражением лица прошел всю ее насквозь.

...Никаких следов своей вчерашней антисоветской деятельности Игорь обнаружить не удалось. То ли бдительные дворники еще утренней ранью сорвали его самостоятельные произведения, скорее всего, даже не читая наивную писульку, то ли над устранением следов ночного диссидентского творчества спешно потрудились бдительные последователи Соломона Моисеевича из КГБ СССР?..

Долго не отпускало Игоря глухое болезненное волнение: с одной стороны, вызванное опасностью быть разоблаченным, с другой, напротив, от тайной гордости за свой поступок.

Родители Игоря вскоре почувствовали за сыном что-то неладное. Как-то походка у него странно изменилась, точно прыгающей стала, то и дело он нервно оборачивался без всякого на то повода, кушал быстро, словно не жуя еду, а по ночам спать вовсе перестал, разве что под утро часок покемарит.

Иногда его заставляли молча стоявшим в ночи у окна. Объяснений он никаких категорически не давал. При этом, однако, на лице у него объявлялась такая шальная по дерзости судорога, что родители в конце концов от него отступились. Юрий Михайлович, надеясь, что сын в итоге сам, наконец, откроется, проговорится, стал осторожно вежлив с ним, а Татьяна Яковлевна теперь часто ходила с чуть вздернутым подбородком, аккуратно сдерживая таким ноу-хау материнские слезы. Родители часто уединялись, чтобы пошептаться и найти нужную психологическую тактику общения с что-то так обостренно переживающим ребенком.

Однако истина им долго не давалась. Наконец все познания Юрия Михайловича и Татьяны Яковлевны свелись к одному жизненному сюжету: вероятней всего, какая-то девочка забеременела от их сына, а ее родители слышать не хотят об их браке – чересчур рано, обоим надо получить высшее образование. Каждый раз мама Игоря вдохновенно утверждала, что она не допустит аборт и будет настаивать перед родителями девочки, чтобы им с мужем доверили самим воспитывать до поры до времени будущего малыша. Имя ему уже придумали: если в этот мир придет мальчик, то будет непременно Александр, а коли девочка, тогда нарекут ее Ангелиной!

Эта уверенность их не только успокоила, но и вдохновила на конкретные действия. В общем, родители Игоря наметили отправиться в ближайшую субботу на электричке за распашонками и чепчиками на «черный рынок», еще называвшийся «толкучкой», который негласно сходил в поле за железнодорожной станцией Придача по выходным часам с семи утра. Купить что-то приличное в Воронеже для будущего ребенка тогда было невозможно. Сказывалась постоянная «напряженка» с детскими и не только вещами.

Чтобы не прикатить к разошедшейся «толкучке», знающие люди рекомендовали отправиться туда затемно ранней четырехчасовой электричкой. Ко всему Татьяна Яковлевна настойчиво убедила Юрия Михайловича загодя купить на «черном рынке» для Игоречка приличный свадебный подарок – импортный кожаный дипломат с золотистыми шифрованными замками.

Правда, погода была для такого вояжа явно не благоприятствующая: стояли рьяные, насквозь разящие едучие морозы с вихрями, как с цепи сорвавшимися. Уже какие сутки подряд они многоэтажными колесами катили снега по городским улицам.

– Оставьте все ваши страхи и фантазии... – за обедом угрюмо проговорил Игорь. – Нет никакой беременной от меня девушки... У меня вообще никакой девушки нет. И еще не было. И, может быть, вовсе не будет! Никогда...

Игорь медленно побледнел, словно его лицо начало исчезать. Это было особенно заметно на фоне емкой тарелки с маминым особым густо-бордовым борщом, одна из тайн приготовления которого состояла в том, что ради настоящего вкуса такого блюда не следует экономить на помидорах, а из всех мяс самое оно – темно-красная и именно старая говядина с легким душком, проросшая плотным желтым жиром. Про толченый в соли чеснок тоже не следует забывать. А тем более никак не обойтись без куриных шеек и ядреной гузки.

– Что же ты тогда по ночам мычишь да стонешь?! – построжел отец. – Ты не связался ненароком с какой-нибудь блатной шайкой-лейкой? Кстати, я вчера слышал настораживающую новость от твоего бывшего друга, Митьки. Как вы знаете, он сейчас в КГБ служит. У нас в городе недавно кто-то расклеил антисоветские листовки. Учитывая, что все пишущие машинки состоят на особом учете, найти среди них ту, на которой работал враг, для КГБ не составит труда. Дело считаных дней... – Юрий Михайлович сосредоточенно, трудно вздохнул. – Возможны аресты этих антисоветчиков в самое ближайшее время!

– При чем это все? Думай, что говоришь! – вдохновенно вскрикнула Татьяна Яковлевна и тотчас напомнила мужу,

какой рохлей и мямлей тот был в свои жениховские годы, так что если бы их сердечные дела не взял в свои мужские руки его старший брат летчик-ас Иван Михайлович, им жить вместе никогда не пришлось бы.

– Выходит, мой братец нас поженил?.. – взволнованно построжел Юрий Михайлович.

– А то! Он, кстати, и сам был не против за мной поухаживать, но тут подвернулась эта деревенская выскочка, Нинка, и забила ему голову на всю жизнь...

Игорь знал, что этого до мелочей ему известного воспоминательного разговора родителям теперь хватит минимум на полчаса, а то и более, если отец разнервничается и, достав из гигантского буфета с массивной царской короной, исполненной из посеребренного мореного дуба, четырехгранный тяжелый хрустальный штоф, картинно махнет добрую рюмку «Зубровки». Исход разговоров с таким уклоном непредсказуем. В одном можно быть твердо уверенным наперед: мягкой посадкой этот родительский диалог не закончится. Прецедентов тому не было.

– Листовки расклеивал я... – вдруг тупо проговорил Игорь, нервно взял заветный отцовский штоф, судорожно плеснул из него в стакан светло-рыжей «Зубровки», но пить не стал.

За него это тотчас исполнил Юрий Михайлович. Дстаточно, правда, суетливо и как-то словно бы неумело, точно впервые.

– Не лепи горбатого... – выдохнув, болезненно поморщился отец. – На чужой славе хочешь в рай въехать? Вернее, в ад... Ты это брось, оговаривать себя. Или друга какого спасаешь?

Отец тяжело, мучительно откинулся на спинку трофейного германского кожаного дивана. Стоявшие цепочкой вдоль его резной деревянной спинки фарфоровые слоники, которые до самой смерти ежедневно с любовью протирали фланелькой бабушка Игоря Александра, тотчас (и вовсе не впервые) попадали Юрию Михайловичу на спину всем своим разноразмерным стадом. Точно сорвались с горной тропы в пропасть.

В свою очередь Татьяна Яковлевна будто вдесятеро обрела особой материнской энергии. Первым делом она решительно прошла в коридор проверить, закрыта ли на замок их входная дверь, обитая черным, но уже потускневшим за долгие годы и запаутиненным мелкими трещинами дерматином. При этом Татьяна Яковлевна несколько раз машинально, но достаточно решительно, дернула ручку: и та вдруг с треском оторвалась, ощерившись ржавыми когтистыми шурупами.

– Тише, пожалуйста... – едва ли не простонал Юрий Михайлович, при этом как-то странно, одним глазом, нервно прищурившись.

– Сын, зачем ты так поступил? Какая муха тебя укусила? Плохо живется? Ищешь приключений на свою того этого? Ты их нашел. Тебе однозначно светит статья за изготовление и распространение в письменной, печатной или иной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

– Я сам не знаю, что на меня нашло... – вздрогнул Игорь.

– Ты был пьян?..

– Нет.

– Я немедленно иду к Митьке. Только он может нас спасти! Они с Игорем так были дружны в свое время!

Татьяна Яковлевна машинально отбросила злосчастную дверную ручку и сосредоточенно, как никогда щедро налила заветную мужнину «Зубровку» в граненый стакан по самый «Марусин поясок». Из матового дородного холодильника «ЗиМ» (завод имени Молотова), который когда-то в детских глазах Игорька напоминал ему веселого белого медведя, мама достала блюдо с сочными кусками селедки иваси, утопающими в луковой соломке.

– Пей, – строго сказала мужу Татьяна Яковлевна.

– С какой стати такая забота? – смущенно усмехнулся Юрий Михайлович.

– Пей просто так, – тоже усмехнулась супруга.

– Ну ладно... – восторженно улыбнулся Юрий Михайлович и вкусно опустошил посуду. Это было самое настоящее действие, напоминающее некий языческий обряд, исполненный особой магической силы.

Татьяна Яковлевна налила еще раз с не меньшей щедростью.

– Пей.

– Странно как-то это все выглядит! – веселя на глазах, с некоторой бодрей, чуть ли молодечески проговорил Юрий Михайлович и аккуратно, но с весьма очевидным, словно вспыхнувшим в нем аппетитом, взялся за малосольную иваси.

– Вот теперь ты никуда не пойдешь... Ни к какому Митьке. И слава Богу, – неожиданно добросердечно, почти ласково проговорила Татьяна Яковлевна. – Потому что у меня очень хорошая интуиция. И я стопроцентно уверена: никто этого дела с прокламациями раскручивать не станет. Все спустят на тормозах. Кому надо высшее начальство тревожить? Самим через это запросто может не поздоровиться. Мол, запустили донельзя профилактическую работу!

...Тем не менее днями Юрий Михайлович на своем Москвиче-402, благополучно повторившем собой базовый немецкий Opel Kadett того времени, отвез тяжеловесную печатную машинку «Украина» на дачу на так называемых Ближних Садах возле военного аэродрома «Балтимор». И в деревянном сарае старательно изрубил колуном на мелкие части. Их он потом закопал в здешних лесах – Долгом и Шиловском.

...Игорь тоже не сидел сложа руки и успел отпечатать на «Украине» под копирку пяток новых листовок.

Текст диктовала Татьяна Яковлевна:

«Уважаемые товарищи! Мы живем в великой стране, создающей коммунизм, перед нами открыты широкие горизонты больших свершений! Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза – наш рулевой в счастливое будущее! Не верьте мерзавцам, недавно попытавшимся ее опорочить в своих гнусных листовках!!!»

Расклеивал их Игорь тоже ночью. Вместе с мамой. Отец на это время был неограниченно допущен к мерцавшему холодными искрами хрустальному дородному штофу, на этот раз густо золотившемуся популярным пятилетним

болгарским коньяком «Плиска» с достаточно народной стоимостью в шесть рублей семьдесят копеек.

Как бы там ни было, хотя с того дня прошли многие десятилетия и уже нет Советского Союза, нет КГБ и так далее, но Игорю Юрьевичу все еще хочется кому-то, знающему толк в таких вопросах, рассказать эту историю, наконец разобраться в ней. Что с ним было? Когда ему теперь приходится проходить мимо здания бывшего управления КГБ, ныне ФСБ, известного всему Воронежу «серого дома», похожего на крепость с бдительными строгими окнами, Игорь Юрьевича одолевает странное желание потянуть на себя тамошнюю массивную дверь, войти и признаться во всем. Только в чем всем? Может быть, на нем кто-то испытывал воздействие какого-то загадочного излучения? Всякое лезло в голову.

...«А что если мне про эти листовки рассказать Аркадию?! – вдруг дерзко усмехнулся Игорь Юрьевич. – Мол, и мы были рысаками когда-то! Не лыком шиты! Чтобы обо не заносился со своим Насыпным. Вы еще не родились, когда мы знали, что в стране так, а что – не так! Поэтому нас не проведешь на мякине. Мало каши он ел, этот ваш Насыпной. Одним прыжком возмечтал на вершину власти вскочить. А в нем за версту видно пренебрежение к простому народу».

Сегодня Лепендин часа два гулял по проспекту Революции в своем не подверженном времени одеянии – нейлоновом итальянском плаще и таком же берете. Аккуратно постукивая бадиком по серым тротуарным плиткам, он прохаживался от памятника Ленину до памятника Платонову, словно провалившись в густые потоки воспоминаний...

...Когда убивали при Горбачеве СССР, казалось Игорю Юрьевичу, будто земля у него под ногами поплыла: день ото дня роковые пророческие аварии с гибелью сотен и сотен людей – Чернобыльская катастрофа, гибель круизного лайнера «Адмирал Нахимов», страшный, будто атомный, взрыв неподалеку от секретного ядерного города Арзамас-16, а ровно год спустя невиданная по числу жертв катастрофа на Транссибирской магистрали в Баш-

кирии. С полок магазинов исчезали продукты и самые необходимые вещи: сигареты, спички, мыло, зубная паста, одежда и обувь. Кому везло, бывало, находили их в лесах да оврагах...

«Сколько еще лет, веков всякие разные эмиссары будут тянуть тебя, милая Родина, на дыбу? По живому готовы рвать Россию. Только ты начала обустроиваться после ельцинского разора, как со всех сторон тебя вновь норвят подсесть, вновь русской кровью залить...»

Прошелся в тот день Игорь Юрьевич и по родной улице Урицкого, невольно слезу уронил, родителей вспомнив и Митьку, который когда-то тайно читал ему на крыше куриного сарая книжку запрещенного Есенина. Да и потом через него Игорь Юрьевич все последние советские годы всегда оперативно был в курсе разных всяких так называемых антисоветских литераторов – Митька, он же Дмитрий Боев, служил тогда в органах госбезопасности и давал ему читать то «Раковый корпус» на тонкой папиросной бумаге, то «Мастера и Маргариту» или, скажем, «Доктора Живаго». Много чем из этой диссидентской серии снабжал Игоря Дмитрий Владимирович, пока в перестройку во время служебной командировки не остался навсегда в Англии. С помощью своего дружка по левобережному суворовскому училищу Володьки Резуна, кстати, всегда считавшегося у своего начальства самым продвинутым архипатриотом.

И тут вдруг Игорь Юрьевич услышал, чуть ли не у самого лица:

– Мужик, закурить не найдется?

Ему в лицо насмешливо заглядывала выдавшая виды физиономия знатока «бормотухи» с явно многострадальной печенью.

– Не курю! Бросил... – с достоинством усмехнулся Игорь Юрьевич.

– Я, между прочим, тоже! – подмигнул незнакомец. – На целых пять минут бросил. А это для меня настоящая вечность. Когда я долго, минут пять-десять, не дымлю, у меня начинает резко ухудшаться память. Так что я Вас не сразу узнал...

Игорь Юрьевич тревожно вскинул подбородок.

– Не понял... – сказал он глухо. – Как же это вас удивляет, что Вы меня не узнали? Вы и не могли узнать. Никак. Мы с Вами детей не крестили. Вообще я Вас вижу первый раз в жизни.

– Это точно... Не крестили. И вы меня видите именно впервые. Вполне согласен. Кстати, я Жора... Жора Воронежский... – значительно усмехнулся тот. – В самом деле, Вы никак не могли меня знать прежде. Да и я, если точно говорить, в свою очередь запомнил Вас только по физии... И то смутно. А сейчас как осенило, кто передо мной! Душа работала. У нее свои глазки в этой жизни.

Жора благородным дружеским жестом извлек из траурно-черного большого пакета явно от магазина «Красное-белое» бутылку розового портвейна «777», более известного как «Три топора».

– Предлагаю раздавить сию ампулу в память о нашей нынешней знаковой встрече. Я бы сказал, исторической! Правда, благородного закуса нет. Вернее, никакого. А что как мы его просто занюхаем? Или слабо?

– Уговорил, занюхаем! – вдруг неожиданно для самого себя согласился Игорь Юрьевич. Расположил его чем-то этот прокопченный гадким табаком Жора Воронежский. – Только вначале признайтесь, где и когда наши пути-дороги пересекались?

– Ноябрь 73-го помнишь?

– Так, так... Вроде да. А где конкретно?

– Улица Урицкого, брателло... Ночь. Трудовой народ со второй смены из последних сил шаркает домой...

– Стоп, понял, не дурак... – напрягся Лепендин. – И ты был тогда среди них?

– Вроде того. Я с малины пехал, а ты вдруг у меня на глазах внаглую от своего безделья интеллигентского листовки развешиваешь. Размечтался в великую историю войти?! А сам весь дерганый, пуганый... Как воровать впервые вышел... – Жора поморщился, сплюнул. – Было больно глядеть на тебя. Пропадешь ни за что! Органы не дремлют! В общем, сорвал я одну твою хреновень, прочитал – порож-

няк сплошной сопливый, но за который могут запросто на Луну отправить. И тут меня просекло, что с твоими мамкой и папкой станет, когда гэбэшники тебя заметут, и ты с переляку в штаны наложишь. И наговоришь под их подсказку всего разного на себя, на своих родителей и друзей, что было и чего не было и быть не могло.

Игорь Юрьевич несколько побледнел и машинально хрустнул пальцами.

– Я был искренен. По возможности...

– Эх, сапог... А я тогда почему-то пожалел тебя. Такой опрятный, как видно, очень культурный мальчик, робкий. Чай еще ни одну девочку не целовал... – напряженно усмехнулся Жора и вдруг молча, самозабвенно сцедил в себя ноль семь литра портвейна с запахом сургуча и мокрого войлока. Оставил Игорю Юрьевичу разве что на два глотка. Подмигнул золотистым блеском блатной фикса: – Тебе и этого сполна хватит. Ты сейчас и без того будешь идти, шатаясь из стороны в сторону, как в попу пьяный... Так вот стал я тогда за тобой эти листовочки тихим сапом снимать. А они такие сырые от клейстера, склизкие. Но я их все равно одну за другой по карманам рассовал. В общем, гони монету еще на пару бутылок моего любимого портвешка – и мы на всю оставшуюся жизнь с тобой в полном расчете... – сурово откашлялся Жора.

Игорь Юрьевич благородно нахмурился.

– Не разыгрывайте меня. Разве я без понятия? Такой Ваш поступок... Вы спасли мою судьбу. Да что там, саму жизнь! Я готов подписаться на любую сумму. Извините, конечно, посылную для пенсионера.

– Не вертись, мужик, задницей на шиле, – озорно подмигнул Жора.

Лепендин торопливо, как-то лихорадочно сунулся по карманам и, не считая, отдал все, что у него было. А было у него копейка в копейку еще на пару бутылок.

– Адье! Контора пишет, подельник! Балдей по-черному! – всохотнул Жора, словно из глубин своей неведомой Лепендину особой зоновской жизни. – Не поминай лихом, интеллигент!

Лепендин огляделся, чтобы сориентироваться, в какой стороне может быть ближайший банкомат. Денег у него не было даже на дорогу домой. Все подгреб в порыве благодарных чувств.

У банкомата стояла длинная угрюмая очередь – люди, наконец, привыкли соблюдать необходимое между собой полуметровое пандемическое расстояние. Хотя в масках были далеко не все. Несмотря на грозящие за это штрафы.

– Кто последний?! – вполне любезно, просто-таки радостно-радушно поинтересовался Лепендин.

– Не последний, а крайний! – объявила ошарашенная возможностью проговорить дерзость стоявшая достаточно в стороне прилично одетая, высокая и мощная женщина примерно равных с ним лет. Кстати, с двумя антиковидными масками на лице: черной, а поверх нее – красной.

Она почему-то сразу Игорю Юрьевичу не показалась. Хотя разве можно уверенно судить о человеке, если у того открыты только лоб и глаза? Наверное, все-таки можно. Женщина определенно не понравилась Игорю Степановичу, правда, непонятно чем. Может быть, даже всем. Всей собой.

Она почти величественно усмехнулась и добавила, как постановила:

– Да будет вам известно, что сейчас образованные люди пользуются словом «крайний». Последняя у попа – жена! И мы тут с вами стоим вовсе не в свой последний путь! Вот так. А крайняя – это я и есть. Нравится вам или не нравится.

– А вы за кем держитесь?.. – аккуратно и по возможности лояльно вздохнул Игорь Степанович.

– У меня пока что достаточно своих сил ни за кого не держаться! – отчетливо объявила «крайняя». – Особенно за таких, как вы, интеллигентских шибздигов. Я, между прочим, недавно ходила на митинг за свободу для Насыпного! Меня потом по местному телевидению даже показывали. А что?! Я сумкой так хорошо огрела по спине одного омоновца! У меня дома все обхохотались.

Разномастная угрюмая очередь стояла безучастно ко всем мировым и государственным проблемам. Ее, эту оче-

редь, наверняка не волновали даже такие темы, как причины и цели возникновения Вселенной из ничего четырнадцать миллиардов лет назад.

Дома Игорь Юрьевич напоил себя чаем, как-то поуспокоился и даже возмечтал о новой ходке на антресоли. Что-то волнующее звало его в очередное путешествие по минувшему времени. Словно там он надеялся, наконец, обрести связующую нить между прошлым и настоящим.

Рывок, еще рывок. Ага, кажется, потерял тапочек. Нет, уже оба. «Ладно, фиг с ними, – сдавленно вздохнул Лепендин. – Пусть валяются. Чем меньше лишних движений, тем меньше пыли». А пыль тут выросла отменная: слежавшаяся, нагустевшая, липкая. Такую на бутерброд можно намазывать. Паутина там и там провисала тяжелыми мохнатыми гроздьями. Моль судорожно мелькала в радостном ожидании аплодисментов Игоря Юрьевича. Конечно, давно пора бы пригласить уборщицу по вызову, но только кто из них согласится лезть в такую мрачную пещерную пасть, ко всему развернутую под потолком на хорошей высоте, чем всегда отличались сталинки.

И все же за этот его сегодняшней поход в глубины антреселей он был ими щедро вознагражден. Здешний мир встретил Игоря Юрьевича тем, к чему он никак не мог бы остаться равнодушным. Что только не разглядел Лепендин на антресолях, словно на некоей машине времени пролетая над своей жизнью. Все это сопровождалось эмоциями всех спектров: от радости до печали, от восторга до грусти и так далее.

Он азартно налево-направо высвечивал бдительным густым лучом своего ярчайшего немецкого армейского «Даймона» волнующие разные разности. Скажем, мелькнул в дальнем углу подкопченный примус-коротконожка, когда-то красновато-золотистый, а сейчас цвета грязной глины, но до сих пор едва уловимо пахнущий настоящим керосином. А вот прямо по курсу валяется на боку детская Игорешкина копилка – гипсовая композиция из трех лопухих щенков, у одного из которых с давних пор не было головы. Возможно, это результат его собственной жесто-

кой попытки изъять из копилки определенную сумму. Скажем, десять копеек на молочное мороженое или двадцать за вовсе волшебный шоколадный пломбир. Не исключено также, что медные пятаки потребовались ему играть в пристеночку или в «бе-бе» (по-другому – расшибец, расшибалочка), где металлические деньги ниже «десятьюньчика» не годились, иначе никак нельзя было составить стопочку в середине квадрата на земле, называвшегося «казной». А вот валяются матовый от пыли, но изначально строго-черный лаковый футляр часов из мореного дуба, а рядом поблекший головастый и щекастый глобус с государствами и границами, многих из которых уже давно нет. Уныло бренькнуло задетое локтем детское пианино, под звуки которого он когда-то по маминой настоятельной просьбе не раз пел для гостей до сих пор не забытую им песенку: «Вновь богачи разжигают пожар, миру готовят смертельный удар. Но против них миллионы людей: армия мира всех сильнее!» Гости снисходительно аплодировали.

...Вдруг в недра дубовых антресолей вновь звонко, нагло дребезжа, влетел дверной звонок.

Игорь Юрьевич раздраженно напрягся. Ума много не надо, чтобы догадаться. Это опять трезвонит неугомонный Аркадий, его молодой сосед. И, возможно, опять вместе с той самой многоцветной Алиной. Однако вспомнив о ней, Лепендин как бы несколько смягчился. Даже приятно вздохнул.

Однако придать своему залежавшемуся на антресолях телу задний ход ему, как и в прошлое посещение, удалось не сразу. Начните пятиться, лежа на животе, с помощью локтей и колен, и вы поймете его. У вас наверняка получится нечто похожее на то, что и получилось у Лепендина.

То, что в итоге получилось у него, никак нельзя сравнить даже с классическим примером пятящегося взад рака. Вообще то, как выбирался он на этот раз из глубин антресолей, лучше ни с чем не сопоставлять.

– Иду же!!! Иду... – рыкнул Лепендин со всей возможной громкостью в ответ на новую порцию настырных звонков.

И тут какой-то новый, просто-таки сокрушительный звук прогреготал на весь дом. Это Игорь Юрьевич ногой толкнул времянку, и она упала на стоявший в коридоре элегантный трельяж югославского производства. Уже и страны такой давно нет, а зеркала ее производства до сих пор блистали в его доме, как некогда дружба наших стран. Но ничто не вечно под Луной.

– Что там у вас за битва?! – прокричал за дверью Аркадий, но достаточно хрипло: он сегодня надорвал голос на очередном митинге за свободу для Насыпного.

Заскрипев зубами, Лепендин ослабил пальцы и рухнул на пол с дубовым паркетом сталинской эпохи.

– Что там у вас за громы, а молний нет?.. – снова подал голос Аркадий.

Игорь Юрьевич глухо, придушенно рыкнул и осторожно пошевелился, проверяя себя – вроде руки-ноги целы, шея не сломана, а мозги, хоть и плохо, но, кажется, еще кое-как работают.

– Вы с Алиной? – болезненно отозвался он. – А то у меня тут такой тарарам!

– Сам я, сам... – чуть ли не со стоном отозвался Аркадий голосом капризного ребенка.

Дверь неспешно приоткрылась. Перед Игорем Юрьевичем, согнувшись, обессиленно упираясь обеими руками в проем, стоял то ли Аркадий, то ли кто-то другой, отдаленно на него похожий. В любом случае, перед Лепендиным предстал человек в куртке как у соседа, но без одного рукава, с очками без стекол и вспухшей кровоточащей губой. Этот человек глухо, утробно постанывал.

– Вы с демонстрации? Вас избили омонцовцы?! – вскрикнул Лепендин.

– Коньячку, пожалуйста... – выдохнул Аркадий. – Это меня так пацаны отделали...

– Ваши революционно настроенные гавроши?

– Они самые. Так сказать, «дети Насыпного»... От которых я был в таком романтично возвышенном восторге... А они меня заподозрили, будто я полицейский провокатор. Даже каким-то попом Гапоном обозвали. – Аркадий тяжело засипел сквозь зубы: – Кстати, не знаете, кто это?

– Потом, все потом... И чему только вас в школе учили?..  
– нахмурился Игорь Юрьевич.

– В общем, они всей толпой набросились на меня... Стали обыскивать, выворачивать карманы... Наверное, удостоверение полицейское искали. А ничего не найдя, принялись злобно пинать. И при этом кричали, что миром должны править дети! Что всех взрослых с их нравочениями и отстойными понятиями надо сжечь в газовых камерах! Омоновцы едва отбили меня... Не поверите, я даже расплакался на руках у полицейских...

– И Вы по-прежнему считаете правильным свое участие в подобных акциях? – строго-отчески проговорил Игорь Юрьевич.

– Именно так! – хорохористо оживая после живительной рюмки неподдельного «Аралата», уже чуть ли не с былой вдохновенностью проговорил Аркадий. – Иного нет у нас пути! США и самые передовые страны Европы хотят, чтобы мы жили толерантно и достойно. Они всегда стремились передать нам свои высшие ценности! Скажем, однополые браки! Во все века мы все лучшее перенимали у них. И сейчас не должны упустить свой шанс государственного взросления!

Аркадий еще долго говорил в этом направлении. Особенно вдохновенно зазвучал его голос, когда он объявил, что они с Алиной во имя торжества толерантности в России решили сменить пол, обменяться именами (она станет им, а он – ей) и пожениться. А еще они решили усыновить или удочерить какую-нибудь забавную микрособачку.

– И я дам ей свою фамилию! Правда, будет звучать круто: чихуахуа Петровская! Если потребуется, мы и псинке пол заменим на раз-два.

Легким электрическим и никаким иным мелькнуло с жужжанием нечто вроде афоризма в голове еще не оправившегося от падения Игоря Юрьевича: «Каждое поколение идет на баррикады под своим флагом... Но ими всеми правит одна и та же дурь».

Он с омерзением отчетливо, до памятования тогдашних ночных прохладных запахов вспомнил себя, трусливо,

самовлюбленно расклеивающего идиотские листовки по мрачной и грязной улице кровавого революционера Урицкого.

Лепендин не ответил ни слова насчет предстоящего брака Аркадия и Алины, а также обретения микропсиной фамилии Петровская.

Пока сосед возжигал «Араратом» пламя своего революционного настроения, Игорь Юрьевич, напрочь забыв об учтивости и много еще о чем, поспешно вернулся на антресоли. Оглядевшись с помощью «Даймона», нашел достаточно удобное место. Вздохнув с облегчением, прилег, устроив под голову стопку журналов «Огонек», ностальгически пахнущих его счастливым детством.

Сколько политики в этой жизни... Без нее просто никуда. Слово именно ей и ради нее только и живем. А может быть... Игорь Юрьевич, насколько возможно, вдруг с усилием потянулся рукой к своей спине, норовя достать пальцами как можно подальше, до самых бы лопаток. Нет, он не крылышки там ангельские искал у себя. Он уже, наконец, отчетливо понял, что их у него нет и быть отродясь не может. Не того сорта он человек. Если вообще он человек...

Игорь Юрьевич ни мало ни много искал у себя за спиной на худой случай нити или какие-нибудь иные жилки прочней с учетом его достойного веса. Такие идут от сочленений театральной куклы к ее ваге, посредством которой и устраивается хитроумность вождения.

Не найдя ничего, он заплакал. Детски так, почти мило. Но хныкал так-таки недолго.

Поерзав, похряхтев, Игорь Юрьевич устало закрыл глаза. И у него в эту минуту вдруг появилось нежное, чуть ли не младенческое желание остаться здесь навсегда. Но согласиться с таким мнением или отвергнуть его он не успел. Заснул вмиг и благодатно наш Игорь Юрьевич. Так что не дергайтесь, господа. Жизнь на антресолях вполне даже возможна. Какая-никакая, может даже и развеселая вполне.

# МАЛАЯ РОДИНА

Повесть

*Приютился домик на окраине  
меж рекой и брошенным погостом.  
Русская душа так любит тайное  
бурное течение, где звезды  
постигают видимую истину  
единенья. Или – одиночества?  
Русская душа здесь очень искренна:  
«Если не в Отечестве, то в отчестве».*

Зоя Колесникова

Класса с пятого мы каждый учебный год старательно под строгим учительским надзором писали сочинение о родине. В сентябре – о Родине большой, в мае – о родине малой. С раскрытием темы об Отчизне у меня проблем не было. Как-никак оба моих деда – фронтовики Великой Отечественной, а одна из бабушек – партизанка. А вот сочинения про малую родину у меня настойчиво бросовали. Отличник по всем предметам, я за них каждый раз получал «тройки» и даже иногда «колы», чем окончательно выводил из себя мою любимую учительницу русского языка и литературы Ирину Юрьевну. Но что я мог поделать? В силу определенных жизненных обстоятельств малой родины у меня не имелось. Авиапункт, в котором служил мой отец, часто перелетал с места на место. Как говорили летчики, менял дислокацию: Коростень, Поронайск, Гастелло, Сталинград и, наконец, Воронеж.

Мама очень переживала за меня и однажды предложила вместе с папой общими усилиями придумать мне малую родину. Само собой, лучшую из лучших. Однако, как они ни старались, в итоге ничего толкового у нас не вышло. Придумать малую родину почему-то оказалось невозможно. Какая-то нелепица складывалась. Тогда мама решительно предложила отдать мне свою малую родину. Она родилась в селе Садовом Сталинградской области, куда некогда Екатерина Вторая сослала восставших запорожских казаков.

Но на середине рассказа о своем детстве мама непонятно почему разволновалась и заплакала. На том и остановились.

Кстати, этому отсутствию в моей жизни малой родины, как нарочно, досадно соответствовала моя заковыристая фамилия Безродный. Она сама собой напрашивалась быть «дразнилкой», и дворовые пацаны, где бы мы не жили, не могли этим не воспользоваться. Так что когда они, собравшись всей шайкой под нашими окнами, ором звали меня гулять, то на всю улицу звонко кричали: «Родный-безродный, хор народный, выходи!!!» Кстати, еще раз насчет фамилии. Когда я повзрослел и уже обрел определенный жизненный статус, время от времени мне встречались весьма культурные и начитанные выше крыши люди, которые уважительно интересовались: «А поэт Бездомный из «Мастера и Маргариты» Михаила Афанасьевича Булгакова случайно не Ваш родственник?» На что я несколько виновато отвечал: «Возможно и родственник. Хотя моя фамилия Безродный». Далее следовали интеллигентные, иногда слишком интеллигентные извинения.

Как бы там ни было, когда Ирина Юрьевна в очередной раз объявляла нам, что сегодня мы будем писать сочинение о малой родине, она всегда взволнованно и сочувствующе смотрела в мою сторону. Она знала наперед, что я накарябаю в тетради своим ужасным почерком. И я всегда честно писал в ней одно и то же. Это были всего несколько откровенных и по-своему печальных слов... Чему-чему, а быть искренним меня родители и деда, вкуче с бабушками, научили. «У меня нет малой родины», – всякий раз уперто объявлял я на тетрадной странице. И всякий раз Ирина Юрьевна, заглянув в нее, торопливо отходила к окну перевести дыхание или неуклюже садилась рядом, если болела моя соседка по парте рыжая Олька. После напряженной, нервной паузы Ирина Юрьевна взвинченно говорила мне по-настоящему страдающим голосом: «Напиши хотя бы, почему у тебя нет малой родины». И я тупо писал. Мне было стыдно за себя. Очень стыдно. И еще я боялся, что ее уволят с работы из-за меня. Однажды я слышал, как директор школы Илья Ильич Заславский, невысокого роста хмурый

и ярко-лысый крепыш, обозвал Ирину Юрьевну «не патриотичным педагогом!». «Рожу я, что ли, ему эту малую родину?!..» – печально вскрикнула она и в очередной раз убежала плакать в наш школьный планетарий со звездной россыпью на огромном белом куполе.

Может быть, моя малая родина затерялась в глубинах Вселенной?

Как бы ни было, я успешно окончил школу и поступил в «универ» на журфак, но на том проблемы с отсутствием у меня малой родины не окончились. Однажды в кустах здешнего парка мои сокурсники под пиво с чипсами наперебой, перекрикивая друг друга, ударились в элегические воспоминания о своем детстве. В основном, по-моему, завиральные. «А сомы у нас в реке с теленка размером!»; «Дед мой в распутицу, жалея лошадь, распрягал ее у горы и сам тащил телегу наверх!»; «Соловьи у нас в Тамбове курских во всем превосходят!» И так далее, и тому подобное.

Когда подошла моя очередь бить себя в грудь и вдохновенно рисовать чарующие пасторальные картинки, я признался, почему этого не будет в моем исполнении. Все как-то разом притихли, словно я признался в некоем неприличном заболевании или гадком поступке.

Тем не менее ныне «малая родина» у меня есть. Достиг, так сказать, я ее скромных, но милых берегов, – сподобился. Самая что ни на есть она настоящая, с реальными координатами. Та самая, без которой ну никак нельзя в этой жизни быть полноценным человеком. Нет, я ее не сочинил, как когда-то отчаянно намеревался. Более того, я не присвоил себе чьи-то чужие воспоминания о чужой малой родине.

Она у меня сегодня реально имеется, и она истинно моя. Только по целому ряду жизненных обстоятельств мне уже практически некому рассказывать о своей малой родине под пиво или даже подо что-то более крепкое.

Разве что вам?..

После первой зимней сессии на журфаке мой однокурсник Виталий Еремин пригласил меня отдохнуть в его родном поселке Касторном соседней Курской области: «Гаран-

тирую классную рыбалку, полную корзину отменных белых грибов и три классных дня на сельской свадьбе! – энергично, шире своего собственного лица, улыбнулся он. – Мой тамошний лучший дружбан завтра женится. Главный инженер сельхозтехники.

Я не сразу, но согласился. Кажется, в итоге во мне сработало некое интуитивное предчувствие важности этой нежданно-негаданной поездки.

Одно меня чуть было не тормознуло.

– А что мы преподнесем твоим молодоженам?

– Ты что, не врубился, куда мы едем? Самый лучший для жениха подарок – это мы с тобой и наши кулаки!

– А они тут при чем?.. – тупо переспросил я.

Виталий снисходительно обнял меня.

– На селе свадьба не свадьба, если она без драки! Чтобы, конечно, не очень всерьез. Так сказать, до первой крови.

Я жил на Сахалине в землянках и японской минке из бамбука и бумаги, на материке приходилось тесниться в коммуналках, но деревня или село были для меня настоящей Terra incognita. Тем не менее, как считал я, сельская жизнь вряд ли могла стать для меня серьезным открытием. Что-то я о ней все-таки знал. Пусть и вприглядку. Напротив нашей хрущевки в годы оные располагался Центральный колхозный рынок Воронежа: под открытым небом и со всеми сопутствующими ему запахами, не всегда достаточно ароматными: лошадиного пота, сена, гнилой картошки или скисшейся капусты, мокрых фуфаяк и самогона. Хотя неподалеку стоял как выросший в землю одноэтажный «Дом колхозника», больше похожий на заброшенный амбар, селяне предпочитали по разным причинам ночевать на рынке под рогожками при своем товаре, устроившись спать вместо каких-никаких матрацев на грубых холщовых мешках. Перед сном они почти всегда негромко пели, и я, как не зажимал уши, был-таки достаточно в курсе их тогдашнего репертуара: «Степь да степь кругом», «По Дону гуляет казак молодой» и, кажется, «Бродяга». Само собой, под аккуратно, застенчиво звучащую в тесноте городских близких стен улыбчивую гармонь-хромку.

– Резиновые сапоги у тебя есть? – вдруг строго спохватился Виталий.

– Найду, если хорошо поискать. А зачем они?

– Завтра дождь обещают. Так что ты по тамошнему чернозему в другой обуви дальше станции не уйдешь.

Свадьбу наладили в саду, то есть сразу за домом на шести сотках, затененных густотой ветвей весенних яблонь и груш, словно снегом порошивших своими облетающими цветками. Правда, решились вынести праздник на свежий воздух только тогда, когда здешний дед Буратино, прозванный так за свой понятно какой длины нос, верней всех дипломированных специалистов метеослужб чужавший будущую погоду, не объявил со снисходительной усмешкой: «Дождя не будет, люди...»

На свадьбе запели после второй рюмки. Не по чьей-либо просьбе или, более того, настоянию, а само собой, на радостном долгожданном порыве, всей свадебной гурьбой враз почувствовав, что им без песни уже более никак нельзя. Пора, брат, пора!

Вначале всем кагалом, но тем не менее разгонно, разноголосно ахнули для прочистки горла, для разминки вдоха-выдоха развеселые «Два гуся», а следом, без перерыва, всей свадьбой в порыве надрывном во всю мощь не пропели, – прокричали бодро зачинное, заводное:

*Синий-синий иней.*

*Синий-синий иней.*

*Синий-синий иней...*

*Синий-синий, у-у-у-у-у-у-у!!!*

Мы с моим другом сидели в таком месте, относительно жениха и невесты, что для всех были на виду, и вполне могли сойти за «свадебных генералов», если бы не наша с ним тогдашняя, из всех щелей сквозящая, азартная младость.

В любом случае нам, как городским гостям, поставили водку, кажется, очень даже плюсовой марки «Байкал», – остальные нагоняли градус настроения местным яблочным самогоном, умело приправленным мятой да кипреем, отчего в итоге являлось на столы вполне душевное произведе-

ние, вдохновенно располагающее и к песне, и к философским размышлениям за жизнь, и к мурдобою.

Когда публика взвизгивающе-радостно выдала забористое донельзя «синий-синий, у-у-у!», я вдруг взволнованно встал. Как охотник, услышавший в лесной птичьей разногласице заветный волнующий звук.

– Сейчас... Погоди... – шепнул сокурснику и по возможности аккуратно пошел вдоль спин гостей, устроившихся у свадебных столов на заметно просевших под ними досках, укрытых коврами, ковриками или шерстяными одеялами, а некоторые так и вовсе восседали на подушках.

Я шел с закрытыми глазами. Чтобы ничто не помешало мне найти девушку, голос которой я только что выделил среди всех. Был ли он лучшим в этом самостийном хоре, не уверен. Но я его полюбил. Но более всего я враз полюбил саму певунью. И теперь протискивался к ней между гостями как на самый что ни на есть настоящий брачный зов. Кстати, когда мы поженились, она почему-то перестала петь. Хотя в гости мы ходили достаточно часто. Это косвенно подтверждает, что ее тогдашнее пение на свадьбе в самом деле было брачным призывом.

И пока я шел на ее голос, он становился все громче, словно чтобы я не сбился с пути. Эта девушка уже как бы догадывалась, зачем идет в ее сторону этот незнакомый ей высокий плечистый парень с ажурной, отроческой бородкой и очень располагающей смущенной улыбкой.

У меня до того дня в любовном плане не было достаточного опыта. Вернее, опыта не было никакого. Я не влюблялся ни в детском саду, ни в школе, а наших дворовых девчонок вообще впритык не видел. Я тогда был влюблен в космос и писал фантастические рассказы, один из которых пару лет назад на первой полосе напечатала «Пионерская правда». Сейчас я писал стихи, которые, правда, нигде не печатали.

И вот я уже рядом с ней. Я нашел ее. Стою, как бы глядя в сторону, чтобы не мешать ей петь: «Ты, ветер, знаешь все, ты скажешь мне, она, она, где она!»

Я такой и представлял ее себе. Она не была голливудского типажа красавицей вроде Мэрилин Монро, Джини

Лоллобриджиды или Жаклин Биссет. Она была лучше. Потому что я ее любил. А не любить ее было невозможно. Хорошо, что это было так, а не иначе. Из всего этого скажу, что у любви волновая природа. Как, скажем, у света.

Провожая под вечер ее до калитки, я почему-то сразу понял, что женщина, которая в заношенном байковом халате сосредоточенно курила на высоком крыльце «Беломор» – ее мать. Она почему-то в моем понимании и не могла быть другой, только такая: рослая строгая женщина с лицом несколько смуглым и чертами, которые вполне можно назвать греческими. Над головой у нее из-под крыши прыскали вразлет торопливые деревенские ласточки. На весь двор слышалось их сосредоточенное усердное щебетание: негромкий и просто-таки сердечный перебор особых звуков – «вит», «ви-вит», «чивит», «чиривит» и тому подобное.

Она медленно повернула ко мне свое сосредоточенное лицо. Внешне не отличавшаяся особой красотой, она имела в каждом своем движении столько особой, чуть ли не царственной осанки, что обычно на улице мужики из достаточно немолодых, помнивших еще прежнее житье-бытье в императорской России, при виде ее машинально снимали шапки и строго вздыхали. «Чай, девка из цариц понтийских будет...» – не раз слышалось ей вслед.

– Здравстье... – невольно смявшись, с хрипотцой начал я. – В народе говорят: ласточки строят гнезда только под крышей у хороших людей!

– Александра Ивановна... – сурово вздохнула она. – Гляжу, Маринка, ты привела мне не будущего зятя, а какого-то самодеятельного орнитолога. А в курах или утках он у тебя хоть разбирается маленько?

– Мама!.. – смялась Марина.

– Ладно. Проходи, девья... – себе на уме проговорила Александра Ивановна и покосилась на меня. – И ты не торчи перед крыльцом. Если не трус. Там в доме еще один Маринкин жених битый час ее выглядывает. Одним словом, картина Репина «Не ждали».

– Неужели Славка?! – сердито напряглась Марина.

В гостиной за столом напряженно сидел, сведя руки за спинкой стула, роста среднего, но явно с отменной

мышечной массой плечистый старший сержант ВДВ. От лежавшего перед ним на столе редкого по тем временам букета голландских сочно-белых роз веяло бледным холодком. Рядом устроилась розовошекая коробка со знаменитыми в те годы воронежскими конфетами «Песни Кольцова».

Когда я входил, внушительный дембель поглядел в мою сторону так, как реагируют разве что на порыв сквозняка. Не более того.

– Вячеслав Саликов, – бдительно проговорил бывший десантник.

Я что-то нелепо проямлил в ответ. Что сказал, и сам не понял. Кажется, с языка у меня слетела знаменитая фраза из «Гамлета». Та самая, про «быть или не быть?». Прозвучала она в моем неуклюжем исполнении почти как «бить или не бить».

Вячеслав снисходительно, почти сочувственно улыбнулся.

Его фартовая «дембельская» форма, обшитая белым сияющим кантом, убедительно говорила сама за себя: впечатлял и старательно утянутый в талии китель и то, что рукава, погоны и клапаны карманов были украшены зеленым переливчатым бархатом. Армейские обыденные пуговицы и петлицы старательно заменены на позолоченные, ремень лаково-белый, весьма щегольски скрипучий благодаря особой методике прошивки. Кажется, ничто не ограничивало фантазию автора этой идеально отглаженной формы, ярко, бодро сверкавшей всевозможными значками и медалями, порой даже не имевшими никакого отношения к их владельцу. Но все это множество блекло перед наплечным парадным акселем с пышными кистями, густо сплетенными из блескучих серебристых нитей. Именно тот придавал всему дембельскому облику ярко бравый гвардейский вид. Сапоги Вячеслава явно поскрипывали под мелодию песни «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди!»

Через неделю этот парень станет в Воронеже на авиазаводе учеником слесаря, через год – там же мастером, потом старшим мастером, вскоре – начальником цеха, секре-

тарем парткома, главным инженером и в итоге генеральным директором и академиком.

Но мало кто помнит, что в девяносто первом, тогда еще главный инженер Саликов, замечая ушедшего в отпуск генерального, не пропустил на завод кортеж с президентом России Борисом Ельциным, рвавшимся выступить перед рабочим народом накануне новых выборов. Не уступил, как не уговаривал Вячеслава тогдашний губернатор.

Выслушав четкий, бодрый доклад Вячеслава о его службе и нынешних намерениях по созданию прочной советской семьи с Мариной, Александра Ивановна отправила дочь на двор (пшеница курам сыпни!), а сама тяжелым мужским шагом, однако с определенно женственной грациозностью в спине и плечах, направилась в спальню.

Кто-то ждал ее там за дверью.

Вскоре оттуда послышались отзвуки разговора на тех еще повышенных тонах. Минута от минуты они отчетливо нарастали, дойдя до судорожного напряжения. Потянуло едким папиросным дымком.

Почти тотчас в спальне раздался судорожный треск оконной рамы и зуммерящее дребезжание стекла. Кажется, там кто-то порывисто распахнул створки.

– Хуже мужика весь дом прокоптила!!! – донесся оттуда усталый, на пределе сердитый голос явно немолодой женщины.

Это, как я понял вскоре, была старшая сестра Александры Ивановны – Прасковья Ивановна, Паша, никогда не бывшая замужем, холостячка из тех, кого обычно уничижительно зовут «седыми макушками». Правда, к ней подобное прозвище не пристало. Во-первых, она, как и ее младшая сестра Шура, то бишь Александра Ивановна, всю жизнь в Воронеже и том же Касторном занималась весьма уважаемым делом – работала главным бухгалтером: то в ЮВЖД, то на хладокомбинате или, как ныне, трудилась в местной ветлечебнице. Во-вторых, однажды Паша, будучи уже девкой лет, наверно, основательно за сорок, так-таки дерзнула пригласить на ужин местного зоотехника – в качестве возможного кандидата в мужья. Тот какой год более чем внимательного поглядывал на нее известным осо-

бенным взглядом. Всю ночь из окон их старой хаты слышался резвый наигрыш гармоники. Кажется, зоотехник даже несколько раз в пляс пускался, судя по имевшим место оглушительным притопам его хромовых офицерских сапог, неведь как раздобытых к такому жизненному случаю. Только наутро Прасковья Ивановна, перебудив половину Касторного, с надсадным, чуть ли не паническим криком выставила претендента в мужья. Вовсе даже без чая или той же рюмки. Еще и грабли, поначалу чуть не упав на них, судорожно бросила вслед незадачливому претенденту в мужья. Потом последовала очередь лететь через изгородь его гармоники, — она с печальным музыкальным вздохом, распустив свои яркие алые меха, вознеслась над кустами молодой акации.

Причина такого серьезного изгнания неведома никому и поныне.

Как бы там ни было, с этим человеком она больше не виделась. Говорили, он вскоре уехал куда-то к черту на кулички. Лишь однажды Прасковья Ивановна туманно выразилась по поводу того ее несостоявшегося бракосочетания: «Ждали жениха из заморья, а прибыл из задворья...»

Тут дверь спальни открылась более чем решительно. В гостиную с деловитой поспешностью вышла первой на правах старшинства лет семидесяти женщина, которую, как ни глянь, никак не назовешь старушкой, хотя бы даже за один ее резкий, ироничный взгляд. По ее суровому лицу, словно отягощенному своим знанием людей и жизни, можно было уверенно сказать: она знает про людей все то, что им самим о себе и неведомо.

Она строго-печально приобняла соседского Вячеслава, победно сиявшего парадно-дембельскими красотами де-сантной формы.

Многозначительно вздохнула:

*– Простите мне, что я решился к вам  
Писать. Перо в руке, могила –  
Передо мной. – Но что ж? Все нуто там.*

Даже в девяносто с гаком лет, незадолго до своей смерти в Доме престарелых, она, крепко, но нежно держа в своих пальцах мои руки, наизусть читала мне тихим,

за мороженым голосом поэму ее любимого Лермонтова «Мцыри»...

Шура и Паша, как их обычно называли близкие, а порой и не очень люди, были внешне достаточно похожи. По крайней мере, я поначалу их различал лишь по прическам: у Прасковьи Ивановны были волосы, уложенные на голове тугим венком, из-за седины похожим на серебряную корону, а у Александры Ивановны были модные тогда длинные пряди, хорошо смотревшиеся даже без укладки, – как раз то, что надо для современной, вечно куда-то спешащей деловой женщины. Позже я убедился, что именно взгляд более всего различал сестер: у старшей – сурово-ироничный, пронизывающий, уставший от понимания всего и всех, а у младшей – властный, зоркий и в то же время сочувственный.

Как бы там ни было, я сразу почувствовал, что мне с моим первым курсом журфака в их женском обществе придется непросто.

Прасковья Ивановна благожелательно посмотрела на демобилизованного воина, над которым словно развевался флаг с гордой надписью: «Где мы – там победа!».

– Где жить собираешься, сосед?

– В Воронеже. В общежитии. Устроюсь на авиазавод! – пружинисто ответил Вячеслав, переливчато прозвенев медалями различного достойного происхождения. – Я в десанте служил. Так что кое-что по летной части кумекаю.

Прасковья Ивановна покровительственно улыбнулась: улыбка была внутренняя, скромно-радостная, так что обнаружилась себя только через ее несколько повеселевшие глаза.

Я понял, что моя песенка, кажется, спета.

Прасковья Ивановна в форточку нарочито сердито крикнула Марину.

Она вошла не сразу: напряженная, ни на кого не глядя. Тем не менее это не помешало ей отчетливо и даже веско сказать:

– Слава, ты иди, ладно?.. Я сейчас за плетнем твою мамку видела. Она так обрадовалась, что ты приехал! И в то же время обиделась – домой не спешишь!

Саликов медленно поднялся, взял со стола импортные царственные цветы и оглядел их так, словно не понимал, что это и зачем.

– Тебе пора, Слава, – настойчиво проговорила Марина.

– Дура, девка... – глухо буркнула Прасковья Ивановна и вдруг боковым зрением увидела, как сестра взволнованно достала очередную папиросу.

Она тотчас ту выхватила, наотмашь бросила на пол и растоптала, просто-таки изничтожила босой пяткой.

Табачную пыль сквозняком подхватило: все как один напряженно закашлялись и зачихали.

Саликов по-армейски лихо прищелкнул каблуками, в быстром поклоне поцеловал Прасковью Ивановну ее смуглую руку с припухшими зигзагами словно бы живых вен, и, уходя, наотмашь метнул в окно букет голландских роз, словно боец в бою последнюю гранату во врага.

Прасковья Ивановна судорожно вздернула подбородок, явно пытаясь такой самоизобретенной методикой не допустить появление слез на щеках.

Я тогда не мог не посочувствовать Вячеславу. Однако мое сочувствие было бы еще искренней, если бы я тогда знал некоторые особые подробности их с Мариной былых отношений. Точнее, как раз отношений-то никаких и не было. Года два до армии, когда Вячеслава окрылила любовь к Марине, эти их якобы отношения дальше сельской танцплощадки не распространялись. Да и то они выглядели более чем странно. Так, идя на танцы или возвращаясь с танцев, самое большое, что Марина позволяла Вячеславу, – так это идти за ней следом на расстоянии не менее десяти шагов. Само собой, они не разу не танцевали. Но даже в таких неблагоприятных обстоятельствах чувства Вячеслава к Марине не засыхали, а, более того – цвели и пахли со все большей силой. Возможно, они сохранялись на этом уровне всю жизнь, пока в пятьдесят восемь лет Вячеслав, генеральный директор, академик и лауреат Государственной премии, не погиб в автокатастрофе: он выезжал с дачи вместе со своей кинематографически красивой супругой, когда груженный КАМАЗ взял на абордаж его люксовый Mercedes-Benz. А на следующий год, только вернувшись

со мной с дачи, за чаем на кухне внезапно умерла Марина. Когда ее хоронили, на лице у моей жены была сдержанная добрая улыбка. Возможно, она встретила там Вячеслава и, наконец, не потребовала от него держаться не ближе десяти шагов...

– Славка, вот увидишь, большим инженером станет!  
– пророчески возвестила Прасковья Ивановна, когда тот подхватисто перепрыгнул родной плетень, словно десантировался в напряженно ждущую его новую большую жизнь.  
– А это для мужика самая основательная профессия. Помню, до революции к отцу частенько заглядывали эти самые инженеры. Когда на праздник какой, когда по делам: станцию нашу железнодорожную тогда расширяли. Сколько в них ума было! Сколько порядочности! Высшего сорта люди. Куда твоему филологическому студенту тягаться! На их факультете, слышала я, одни девки учатся! Какого лешего он туда сунулся? Чтобы Маринке с вертихвостками изменять налево-направо? Мелкота!

Александра Ивановна взволнованно раскурила «Беломорину», как поставила перед собой дымовую завесу.

– Не путай, Паша, грешное с праведным! – топнула ногой моя будущая теща. – Разве не видишь? Разуй глаза! Они любят друг друга. Чего тут мудрить? Вот...

– Это когда же они успели втюриться? – взвинченно хихикнула Прасковья Ивановна и чуть ли не с кулаками подступила ко мне. – Какая такая любовь может быть к деревенской девке у городского стилиста?!

– Когда это моя Маринка деревенской стала? – с емкой грозностью проговорила Александра Ивановна. – Не забывай, она в Воронеже родилась!

– Извините. Можно я пойду на сон грядущий книгу читаю?.. – вздохнул я как можно радушной.

– Почитай отца и мать! – на гневных слезах крикнула мне вслед Прасковья Ивановна.

Весь вечер сестры вдохновенно ругались. Их не останавливали ни распахнутые окна, ни растворенные двери сеней, ни сошедшиеся возле их дома соседи и прохожие, явно нацеленные старательно прослушать такую изощренную разборку. Более того, по ходу ее они невольно разделились на

две партии, каждая из которых держалась своего мнения относительно исхода сегодняшнего нашего с Вячеславом сватовства: одна часть рьяно была за своего земляка, другая, как ни странно, не менее уперто стояла на первенстве моей кандидатуры.

Я почему-то предполагал, что, в конце концов, Александра Ивановна или Прасковья Ивановна, а, может быть, и они обе турнут этот «зрительный зал» с помощью помойного ведра или ловко брошенной метлы.

Однако все вышло по-другому, как я и предположить не мог своими городскими мозгами: то одна, то другая сестры стали выходить к «народу» со своими аргументами, ища понимания и поддержки. Только народ, как было сказано у классика, потупившись долу, всякий раз сосредоточенно безмолвствовал при их появлении. Желанной поддержки не услышала ни та, ни другая.

...В итоге Вячеслав женился, опередив нас с Мариной. Точно с эдаким вызовом! Тем не менее он и она иногда созванивались, но не чаще, чем раз в год. А однажды Вячеслав так и вовсе пригласил нас к себе на Новый год. Был канун двадцать первого века. Кто-то ждал больших перемен к лучшему, кто-то, по традиции, видел только регресс во всем.

Я предполагал, что Вячеслав рассчитывает потрясти нас уровнем своей тогдашней гендиректорской жизни и небывалой красотой его супруги. Последнее в самом деле было неоспоримым фактом. В остальном Вячеслав, к чести его, жил, не выделяясь. Обычная, пусть и четырехкомнатная, квартира в обычном заводском доме на Левом берегу, новогодний стол тоже не демонстрировал олигархических заскоков в виде невозможных блюд, доставленных с помощью авиации из лучших ресторанов того же Парижа или Рима: центровое блюдо – только входившая тогда в моду курица на соли, из классики – селедка под шубой, румяные отбивные, золотистый холодец и домашние молодцеватые пельмени, а из области изыска – свежие дыни, с оказией прибывшие из Узбекистана.

Утром Вячеслав пошел нас провожать. На другой берег города мы романтично отправились по ледяной броне

«Воронежского моря», торжественно повторявшего густое, термоядерное сияние первоянварского солнца. И тут я на этой ледяной арене вдруг ни с того ни с сего в слепом диссидентском азарте предъявил Вячеславу правду-матку в том плане, что в его заводской газете нет серьезной критики, а только одно торжественное славословие.

Этого вполне хватило, чтобы стать для нас долгожданным поводом схватиться не на шутку.

– Ты говори да не заговаривайся, – напрягся Вячеслав.

– Я за свои слова отвечаю, – отчетливо выдал я.

Мы сцепились и с обоюдным удовольствием принялись валить друг друга чередой подножек. Так как схватка обошлась без «кулачек», то она со стороны вполне могла сойти за баловство. Тем не менее Марина охала и ахала. Потом принялась плакать, раздосадованная нашей мальчишеской дурью.

В общем, драчуны из нас оказались никакие, но мы старались, как могли, перед ней. В любом случае, остатки пара от бывшего соперничества сполна выпустили.

Так что когда Вячеслав от моей очередной подножки распластался на огнистом льду, а я без сил упал рядом, мы оба смущенно рассмеялись. У Славы, кстати, нашлась чекушка «Столичной», и мы приняли на посошок самым празднично-эксцентричным образом: пили лежа на зеркале здешней акватории, а заплаканная, но уже повеселевшая Марина Снегурочкой стояла в наших заснеженных головах и стыдила нас самыми что ни на есть срамословными выражениями: сказывалась основательная школа Шуры и Паши.

...Расписавшись в пятницу в загсе, мы с Мариной, уже мужем и женой, на все выходные переполненным до натужной давки «дизелем» уехали в Касторное. Как говорится, к теще на блины. Чес слово, лучших я нигде и никогда не едал. Не блины, а подлинное произведение искусства. И вовсе даже не кулинарного.

Именно их обе сестры торжественно вынесли в гостиную на больших серебряных блюдах с позолотой да чеканкой узорчатой явно дореволюционного происхождения. Посуда сия самой что ни на есть Николаевской эпохи загадочно мерцала доподлинным лунным блеском. Смуглые

сочные блины с дородной купеческой солидностью устроились во главе стола, усталого плотной льняной скатертью, из себя разномастные по-всякому, но в одном схожие, – видом своим эдакие веселые, даже озорные. Какие были из блинов изнеженно тонкие, какие, напротив, увесистые, матерые. А вокруг их царства застольного торжественным хороводом расставились тарелки с молодой подкопченной свининой, увесистыми, налитыми котлетами таких обстоятельных размеров, будто каждая была на лопате жарена, потом же румяные кусмени сома здешнего улова и прочие аппетитные невозможности. Последним приплыл знатный наваристый супец с переливчатым золотистым сиянием, какой только возможен от молодого домашнего петуха: из кастрюли в самом деле грозно выглядывали его воинственные шпоры.

Сестры уважительно, как бы священнодействуя, строго-радостно налили для меня в лафитник пятьдесят граммов чистого спирта.

И, поджав губы, внимательно смотрели на меня.

– Быть добру! – на курский манер проговорил я, усмехнулся и вкусно, аккуратно выпил.

Шура и Паша одобритительно вздохнули.

Утром сестры повели меня «на огород», отороченный густым вишняком с россыпями мелких, ярко-зеленых шишечек будущих ягод.

Посреди огорода, опушенная лебедой и татарником, стояла нараспашку без двери старая бревенчатая хата с пустыми окнами и без крыши, кособоко растопырясь на фундаменте из матерых валунов, почти совсем притопших в густом курском черноземе.

– Надо бы, молодец, убрать с глаз долой эту вековую, – сдержанно проговорила Александра Ивановна через дымную густоту очередной папиросины. – Глядеть на нее больно. В ней наши батюшка с мамой жили-доживали после революции.

Я обошел неказистую хату, бережно потрогал теплые и точно по-своему живые бревна: они лежали плотно, как спаянные, – лезвие бритвы не просунешь, не то чтобы лом втиснуть.

– Марина говорила, ваш отец владел почти всеми землями Касторного. На свадьбу особую карету в Воронеже ему на заказ делали. Две мельницы держал. И вдруг такая неприглядная лачуга?

– Эх, зять – ни дать ни взять... – теща, не дососав папиросу, раздраженно отбросила ее в аляповато запаутиненные кусты малины (подальше от Пашиных глаз), судорожно полезла в пачку за очередной «гильзой». Как видно, ее успокаивал даже не столько процесс курения, сколько самого закуривания, всегда у нее неспешного, сосредоточенного и подчеркнуто деловитого: – Насчет батюшкиного достатка все верно... Только в революцию он наперед углядел, что к чему в стране будет. И, не ожидая раскулачивания, отдал большевикам все до последнего зернышка и последней копейки, в том числе земли, купеческие свои хоромы в два этажа с колоннами да львами. В них сейчас районный клуб последние дни доживает. А себе оставил наш милый-дорогой Иван Терентьевич для пропитания тридцать нынешних соток да вот стоящую перед тобой неказистую черную избенку. Антихристы такую сметливость ему зачли, не тронули. А все пять братьев Ивана Терентьевича, которые не слабей его были своими хозяйствами, когда продразверстка началась, к Антонову подались. Там вскоре каждый свою пулю и нашел.

Как самый что ни на есть подлинный мужик, я интуитивно догадался простучать кувалдой стены и на слух определить самое слабое место. Наконец первое бревно отлетело, трескуче ухнув, а там и второе соскочило, третье за ними загромыхало, пыхнув дымком усохшего мха, прозывавшимся «кукушкиным льном», которым в ту давнюю пору знающие плотники конопатили щели. Кстати, поныне нет лучшего утеплителя, плотного и упругого.

Видя, что дело у меня заладилось, Александра Ивановна уважительно принесла мне деревянный высокий жбан стылого мучнистого кваса, отменно пахнущего мятой.

– На-ко, зятек, побалуйся кисленьким!

Кажется, первый экзамен по предмету «зять – ни дать ни взять» я сдал. По крайней мере, зачет получил.

Спал я в ту ночь как никогда крепко.

Утром, еще по росе, снова был на огороде. Брушил-крушил неумемно, всласть.

Прасковья Ивановна строго-насмешливо посматривала за мной в щелку расшитой пестрыми петухами оконной парчовой занавески.

К вечеру от старой хаты и следа не осталось. Разве что лежавшие, сыро поблескивая, по ее углам большие валуны-обереги, возможно когда-то принесенные в эти черноземные края древними ледниками. Что-то языческое, тайное было в их суровом обличье.

Назавтра, расшатав ломом первый камень, я подхватил его под склизкие бока и, поднатужась до ломоты во лбу, тяжелым кособоким шагом оттащил в запаутиненный малинник.

Упав, валун как бы с облегчением тяжело ухнул. Как тугая волна пробила под моими ногами землю.

– Ай да молодец! – тихонько засмеялась теща.

Когда я одолел все угловые валуны, пришла на огород Прасковья Ивановна. Не глядя на нас, нагнувшись, стала что-то бдительно высматривать в лоснящихся сырым чернотомом ямках, оставшихся на месте валунов.

– Паша, че ты там потеряла?.. – нахмурилась Александра Ивановна, не вынимая изо рта уже докуренную до мундштука папиросу: как видно, отсутствие его во рту вызывало у нее ощущение дискомфорта.

– Молчи! – строго отчеканила согбенная Паша. – Долго объяснять. Ты еще мала была, так что не в курсе.

Наконец она, тяжело задышав, распрямилась и с гордостью протянула нам в мелко дрожавших руках горсть чего-то грязного. Так могли выглядеть монеты, пролежавшие в земле лет эдак под сотню. Это они и были.

Взгляд Прасковьи Ивановны потеплел.

– Батюшкины... Закладные... Чтобы на удачу, на счастье... Еще царские, серебряные.

Ее лицо заметно посвежело – на нем ненадолго проглянул зыбкий румянец.

– Этими монетами добрые люди одаряли своего будущего домового...

Как бы там ни было, именно после такой находки что-то в ней ко мне отрицательное поубавилось, если не совсем ушло.

По крайней мере, на другой день вечером она крепко взяла меня за руку и вывела на крыльцо. Близкий соловей, как будто обрадовавшись нашему появлению, ударил что есть мочи во всем своем курском щегольском разнообразии: вначале классическое, раздумчивое «Фить-фить-тех-тех», «Тю-тю-тю!», далее неперемutable требовательное «Пить-пить...», а потом веселое, резвое: «Пил-пил-пил! Иду-иду-иду! Тр-р-р-р!», украшенное с оттяжкой, с хрипотцой «Тр-р-х, тр-р-х» и, наконец, венечное, чистое и звонкое «Тю-тю-тю!».

Когда соловей взял паузу, Паша показала мне рукой в сторону здешней большой узловой станции:

– Возле путей шпалы видишь?

– Вижу... – глухо сказал я, ничего не видя.

– Я со сторожем договорилась... – как бы сама себе улыбнулась Прасковья Ивановна. – Шпалы бросовые. Их недавно заменили на железобетонные. А про деревянные забыли. К чему это я? Да к тому, что они в нашем хозяйстве обязательно пригодятся... Сарай нам нужен новый.

Я предпочел промолчать и получил легкий, почти дружеский тычок в спину.

– Теперь у нас в доме мужик есть... Он сообразит, что к чему.

Дождавшись настоящей сельской темноты, явственно плотной, мы с Пашей неспешно отправились к станции. Отработавшие свое старые шпалы, дегтарно, муторно пахнущие креозотом, изнуренно, даже мертвенно лежали вповалку. Они чем-то напоминали бойцов, попадавших без сил, где пришлось, после долгого изнурительного перехода.

Одаренный Пашей высоким, но обязывающим званием «мужик в доме», я с напрягом поставил на попа первую шпалу, явно шестипудовую. Все во мне дрожало от напряжения, словно я попал под шальной электрический разряд.

Кажется, я держался на ногах за счет шпалы, поднявшейся во весь свой почти трехметровый рост. Или около того. Сантиметры явно уже ничего не меняли.

Я тупо обнимал шпалу, не представляя, что буду делать с ней дальше. Жирный едкий запах креозота вот-вот мог лишить меня сознания.

– Пошли, герой... – шепнула Паша и, бдительно оглядевшись по сторонам, шагнула вперед, освещая мне дорогу еще трофейным немецким фонарем «Даймон».

Я мужественно поднырнул под шпалу и медленно, чуть ли не вприсядку, понес ее виляющими неровными шагами.

Как бы там ни было, часа через два все шпалы одна к одной лежали у нас в малиннике. Кажется, они, наконец, нашли свое место и, умывшись зрелой росой, благодатно отдыхали вдаль от натанцевавшихся на их спинах стальных рельсов.

Когда теща проснулась и учуяла пробравшийся всюду невыносимый едкий запах шпал, тотчас на всю улицу прогремел ее колокольной мощи голос. Именно на таких его громовых высотах бросилась она отчитывать сестру, что та из жадности не сходила к пивному ларьку и не наняла местных пьяниц, а угробила «нашего» парня.

Я искренне хотел успокоить Александру Ивановну, но у меня не было сил пошевелить языком, а ноги дрожали более чем очевидно.

Заметив такую мою «ломку», теща тотчас решительно взяла из особого, на ключ обычно закрытого резного шкафчика с царской короной из черно-серебристого мореного дуба граненый стакан. Его темно-золотистое содержимое бодро сияло, будто осколок солнца. Градусная крепость этого изысканного произведения явно зашкаливала и была способна втрое воздать ценителю его растроченные силы. Вкусом оно было выше всяких похвал, соединив, казалось бы, несоединимое: бодрящую кислинку лимона, огненную яркость привкуса имбиря, нежность малины и дерзость жаркого перца.

– Богатырский напиток, – вдохновенно улыбнулась теща. – По особому рецепту составлен нашим батюшкой, Царствие ему небесное, место покойное!

Между тем соседи и прохожие из утренних, привлеченные объяснением сестер на более чем повышенных тонах, с любопытством шустро замелькали под нашими окнами, чтобы заценить вдохновенное качество словесного сражения Шуры и Паши. Оно вполне было способно дать душе энергетический заряд на весь день.

Заметив такую радостную стороннюю суету возле их дома, Прасковья Ивановна тотчас решительно вышла на крыльцо и одним широким махом веерно выплеснула густое содержимое переполненного помойного ведра в сторону кустов желтой акации, за которыми вдохновенно прятались восторженные зрители.

Никто из них не ойкнул: каждый получил свое.

Александра Ивановна величественно улыбнулась: кому, как не ей, было не знать в тонкостях тему преступления и наказания. В августе тридцать второго неурожайного они с девками тайком от родителей пошли под вечер на колхозное поле – голод осадить несобранными колосками пшеничными. А Шура в подол колоски эти клали, как самой совестливой. Пока не налетел с кнутом бригадир, углядев их со специальной дозорной вышки, – глаз у него после гражданской войны был один, но как у сокола зоркий: прискакал, между прочим, на лучшем коне из бывшего табуна Шуриного батюшки. В общем, ей, как дочери кулака, объявили десять лет по тогдашнему «дедушкиному» Указу – так называли тот в деревне по прозвищу подписавшего его Михаила Ивановича Калинина, всесоюзного старосты.

Только словно бы молитвами Шуриной матушки Матрены Агриппиновны через полгода Политбюро спохватилось и потребовало прекратить практику привлечения к суду по закону «о трех колосках» лиц, «виновных в мелких единичных кражах общественной собственности, или трудящихся, совершивших кражи из нужды, по неосознанности и при наличии других смягчающих обстоятельств».

И Шура вернулась по амнистии. Но это уже была другая Шура. Во всем, не считая даже того, что она теперь демонстративно, чуть ли не вызывающе, курила сорокапятикопеечные папиросы «Бокс» из бросовых табачных отходов. Это про них тогда пели на блатной манер: «...выкуришь полпачки, встанешь на карачки, сразу ты становишься другой!» Шура уже в те годы «съедала» пачку в день. По ее словам, та пачка выглядела очень неказисто, была аляповато разрисована и ко всему исполнена из плохой серой бумаги.

Само собой, ничего этого об Александре Ивановне знать не знала и ведать не ведала бригада шабашников, как-то нанятая сестрами в конце семидесятых строить новый и, конечно же, кирпичный дом. На месте той самой хаты на огороде, что я недавно рассыпал по бревнышкам. Дом предполагался трехкомнатный, на высоком фундаменте. Само собой, он должен был иметь кладовую, холодные сени и крыльцо-террасу. Отопление предполагалось устроить по городскому варианту – хоть и с печью, но водяное, с чугунными батареями. Сказалось и такое веяние нового времени: этот проект без вопросов не предусматривал закуты для животины и птицы.

Когда шабашники подняли первую стену до высоты будущих окон и крикнули Прасковью Ивановну заценить работу, она только руками озадаченно развела: внешне сохраняя важность старшей сестры, Паша во всех «мужских» вопросах полагалась на Шуру.

Александра Ивановна была в это время в Воронеже: подыскивала съемную квартиру для Марины, новоиспеченной студентке химфака технологического института. И тут вдруг замутило ей душу непонятное беспокойство: она немедленно отправилась на Курский вокзал и выехала в Касторное первым же «дизелем».

Увидев ее на дороге еще издалека, шабашники, забавы ради, выстроились шеренгой возле возведенной ими стены, сыро пахнувшей свежим цементным раствором: все, как один, легко, забавно пьяненькие от пенно-кудрявого пива.

– Как дела, работнички? – подойдя скорым строем шагом, деловито напряглась моя будущая теща.

Труженики уныло промолчали.

– Работают мужики... Особо не балуют... – тихо, несколько растерянно подала голос Паша, не поднимая глаз.

Вскинув голову, Александра Ивановна неспешно подошла к стене и пригляделась, словно ее кирпичи строго пересчитывала. Кажется, она при этом многозначительно улыбалась. При всей строгости лица – одними глазами. Никто не знал, что Шура обладает загадочным талантом видеть насквозь в людских головах и душах всякие-разные процессы и мыслительные подвижки.

– Поберегись! – вдруг глухо вскрикнула Александра Ивановна и, напрягшись, ладонями обеих рук решительно надавила на свежую стену.

Рабочий люд, отяжеленный утренним приемом крайне необходимого им пива с явной добавкой самогонного ускорителя, неуклюже шарахнулся в разные стороны. Пиво пивом, но они моментально сообразили, что сейчас произойдет.

А произошло то, что слепленная ими очень даже неровная стена развалилась, как костяшки домино, поставленные в ряд. Она грянула оземь, на лету расщепляясь на отдельные, глухо падающие кирпичи.

Александра Ивановна как прошла сквозь стену, то есть в прямом смысле этого выражения. Без какого-то там мистического подтекста.

– Кладите по новой, работнички сраные... – сдержанно проговорила Шура, не поднимая глаз. – И чтобы на этот раз без глупостей. А то всех собак на вас спушу...

Виновато ужавшиеся мужики закивали торопливо, послушно, аки бессовестно нашкодившие дети.

Тем не менее всякий январь Паша на другой день после новогоднего праздника строго-ласково впрягала младшую сестру готовить за себя годовой бухгалтерский отчет по районной ветлечебнице, что всегда было для нее самой невыполнимым высшим пилотажем.

Хмыкнув, Шура величественно садилась за стол, солидно обложенный деловитыми счетами, накладными и прочими финансовыми бумагами. Вид у нее при этом был величественный. Как у человека, уверенно знающего себе цену. Неспроста Александра Ивановна много лет работала в Воронеже на ведущих должностях в бухгалтерии ЮВЖД, а позже так и вовсе стала главбухом знаменитой на весь СССР фабрики отменного мороженого «Холод».

Перепоручив сестре штурм цитадели бухгалтерского мастерства, Паша всякий раз аккуратно, тихо сидела поодаль от вдохновенно играющей цифрами и процентами младшей сестры, окутанной густо-маговой, тяжелой дымовой завесой «Беломора». Кстати, в такие дни Паша не подавала никаких признаков своего недовольства этим

азартным пристрастием сестры. Даже не отмахивалась от наплыва многослойных папиросных облаков. Не решалась. Сидела тише мышки.

Так стойко сдерживала себя Паша всю неделю, пока работа упорно творилась от страницы к странице. Более того, придушив характер, во всем радостно-лицемерно угождала сестрице. Тот же, скажем, чаек организовать ей со своим текучим медом от акации или золотистым абрикосовым вареньем. Рюмочку регулярно подносила и вовсе не с пустяшным содержанием, тем самым, что был возрожден ей по рецепту их славного батюшки и обладал самой настоящей возможностью позволить человеку радостно ощутить за спиной могучие трепетные крылья.

С тех пор как Александра Ивановна утвердила меня на должность Маринино мужа, между мной и тещей тем не менее особо теплых отношений достаточно долго не наблюдалось. Даже когда я с ней союзно покуривал на крыльце: она, ясно, свои штатные папиросины «Беломор», я – сигареты, скажем, тогдашние «Ту-134», «Космос», а то и самые настоящие болгарские золотые «БТ» с шикарнейшей надписью под этикеткой: «Продукт исключительного качества. Оригинальный бренд БУЛГАРТАБАК».

Само собой, процесс дымления всегда предполагает определенное неформальное общение курильщиков.

Его у нас с Александрой Ивановной не было.

Наконец, я как-то в такую минуту очередного совместного и обычно молчаливого курения с почти мальчишеским задором радостно объявил теще:

– Недавно я дал поглядеть свои стихи одному известному воронежскому поэту. И они ему понравились! Частично, конечно. Он, кстати, руководит сейчас всеми воронежскими писателями!

– Это не наш ли касторенский Володька Гордейчев? – иронично прищурилась теща.

– Да... Владимир Григорьевич... – удивленно промямлил я. – А вы его знаете?..

– Я забыла больше, чем ты знаешь!.. – с солидной уверенностью проговорила Александра Ивановна. – А Володька, он нам, пусть и далекая, но родня. Я его, чертенка, с пе-

ленок воспитывала, чтобы настоящим мужиком рос! А его в стихи занесло сдуру ума... Но вот кроссворды он так ловко разгадывает, что никому за ним не угнаться! Влет! Бывало, едем с ним в «дизеле» домой, так он в минуту с любым по сложности справлялся. А ты так способен?

– Да нет... – перенапрягся я и покраснел, кстати, как-то странно, нелепо, – одной щекой, точно от недостатка в организме нужной краски. – Меня эти всякие разные ворды никогда не интересовали... Ни кросс, ни кей, ни скан или те же чайн.

– Ну и зря! – строго прищурилась Александра Ивановна. – Башка чиста – мощна пуста. А вообще ты кроме моей Маринки и своих никому не нужных стихов что любишь?

Вот тут и произошло чудо.

– Фильмы Тарковского... – глухо, но не без вызова, не без некоторой робкой дерзости объявил я.

Александра Ивановна с некоей снайперской внимательностью зорко стрельнула по мне снизу вверх густым взглядом своих отчетливо черных глаз. Как бы там ни было, они чем-то напоминали живущие во вселенских далях загадочные черные дыры. Наверное, тем, что их роднило одно свойство: они ненасытно поглощали в себя весь окружающий мир.

– А ты, милоч, «Андрея Рублева» видел? Или «Солярис»? – как экзаменуя меня, отчетливо и требовательно проговорила теща.

– Мои любимые... – радостно выдохнул я. – А еще «Сталкер»!

– Нравится мне невозможно Андрей Арсеньевич! Но ни с кем здесь об этом не поговоришь от души! – как-то раскрепощенно, с удовольствием рассмеялась Александра Ивановна и немедленно зарядила рот новой папиросиной.

– Сочувствую... – чуть ли не шкოდливо проговорил я, не ведая тогда, что через восемнадцать лет моя теща умрет с Тарковским в один год – тысяча девятьсот восемьдесят шестой и в один с ним декабрьский день, двадцать девятого числа.

– Сапог ищет сапога, а лапоть лаптя, – внушительно проговорила мне Александра Ивановна, обретя вместе с

очередным отрадным глотком табачного дыма свою обычную гордо-строгую интонацию.

Как видно, неспроста ее батюшка на своей свадьбе вокруг Касторного на лакированной белой, с царственными золотыми вензелями, карете круги нарезал: была в их породе явная знатная царственность, да с веками заплуталась в своих бесчисленных родовых ветвях.

Самым радостным днем для Шуры и Паши во всей их касторенской эпопее стал день, когда мы с Мариной впервые приехали втроем – с нами был трехмесячный сын Саша. Его рождение стало для нас счастливейшим праздником праздников, но тот с первых минут потускнел перед заполошной, надрывной радостью бабушек. Они с первых минут принялись капризно отнимать Сашулю друг у друга: каждая сердито вожделела самолично тетешкать «малого», решительно, гневно, до задыха обвиняя всех остальных в бестолковом неумении обращаться с ребенком. В общем, их восторженная ревность не знала предела. Мне даже моментами казалось, что результаты ее могут оказаться достаточно плачевными. В любом случае, невозможно было не заметить, что для Шуры и Паши с первых минут ребенок стал заглавным в нашей пополнившейся семье по всем признакам, включая разумность, сообразительность, толковость и уже явно проклюнувшийся прадедушкин характер истинного волевого и достойного мужика, которого ждет подлинное знатное будущее. Рядом с их обожаемым внуком я в глазах Шуры и Паши однозначно выглядел чем-то второстепенным и, может быть, даже вовсе не обязательным. Как тут было мне не вспомнить печальную судьбу богомолов-самцов.

Однако на другой день обе мои тещи неожиданно переменились и посуровели. Что-то непонятное мне с приближением вечера волновало их все заметней. Они чаще и чаще стали тревожно коситься в окна. Более того, то одна, то другая или даже обе вместе выходили на крыльцо, а то и за калитку, – сторожко прислушивались и напряженно вглядывались вдаль.

– Вы гостей каких-то ждете? – внимательно посмотрел я на Марину.

– Вроде того... – многозначительно улыбнулась она.

– Уж не Славку ли Саликова? – объявил я по возможности безразличным голосом. – Слышал-слышал, что он уже назначен генеральным директором авиазавода...

– Ого, сколь отелловской ревности в Вашем голосе, сэр!  
– сочувственно улыбнулась Марина.

Тем не менее, суета обеих сестер явно усиливалась. К ночи она достигла апогея, когда Прасковья Ивановна перед нашим поздним ужином торжественно-строго поднесла мне сполна налитую золотистым спиртом с корицей серебряную, ярко начищенную старинную стопку. К этому серьезному напитку прилагался на тяжелой серебряной вилке желтовато-зеленый, словно покрытый сплошь бородавками, плотный огурец – эдакий махотка крокодилчик, густо и сладко пахнувший укропом, хреном и еще чем-то неповторимо забористым.

– Ну-ка, малый, прими добрую граммилку. Для храбрости отчаянной!

Я выпил, недоумеваю. И все-таки с должным молодева-тым азартом. Взгляд у меня явно осмелел.

– Еще одну налея малому... – как оценив выражение моего лица, вдумчиво проговорила теща.

В итоге я выпил три полноценных славных стопаря и съел с особой мужицкой хваткостью кусок за куском румяной чесночной свинины, запеченной в духовке на живом огне грушевых поленьев.

Наконец еда перестала проходить в меня, и я перенасыщенно отвалился от стола.

– Еще кусочек? – как пропела душевно надо мной Александра Ивановна с особой загадочной интонацией.

– Вот уж нет! Вот уж спасибо! – тяжело улыбаясь, едва выдохнул я. – Целых три куска умял!

– Положим – четыре... – произнесла теща с таким видом, словно собиралась нежно обнять меня. – Да кто за тобой считал?

Прасковья Ивановна внимательно, но не без некоторой лукавой хитринки, оглядела меня.

– Теперь наш парень справится... – вдумчиво сказала она.

– Годен! – отчетливо резюмировала теща.

– Опять шпалы носить или уголь колоть?!

Александра Ивановна торжественно шагнула ко мне. Я машинально заметил, что она почему-то держит руки за спиной.

– Вот тебе оружие, зятек! Защити им бедных старух!

Теща подала мне добротный сыромятный кнут с тугой петлей на конце: ни дать ни взять настоящий «кистень».

– Вы с Маринкой как раз приехали на Петров день, – строго вздохнула Шура. – При батюшке мы на него всегда ходили под утро в поле «караулить» солнце: верили, что оно на восходе раскидывает ленты, однако увидеть это дано только счастливым. Но теперь на Петров день один сплошной разбой: ребятня, какая постарше, шухарит ночами без укороту – уводят у соседей коров, свиней выпускают из закута, кладут неохватные бревна поперек дороги, крепят над дверью ведро воды, замазывают окна. Но против кнута они не решатся пойти!

До рассвета мы просидели на крыльце с Александрой Ивановной, уговорив по пачке, – она «Беломора», я классного «БТ». Парадокс советского времени: скажем, в Воронеже такого курева было днем с огнем не сыскать, а в Касторном – пожалуйте. Какая книга редкая и интересная, какую в городе по благу не достать, здесь всегда ждала тебя на прилавке уютного книжного магазинчика, располагавшегося на въезде в центральное село. Так что, приезжая, я по дороге со станции всегда в него занырявал, как на праздник. Выходил не раньше, чем через час с непременно подарками для себя и Марины вроде полного собрания сочинений Ивана Бунина, сборника Антона Чехова «Палата № 6» или трехтомника Салтыкова-Щедрина «Культурные люди».

В самом деле, оказалась Петрова ночь беспокойной, шухарной: с пересвистами, азартными мальчишескими криками и их архаровским ором на все Касторное. То доносились пацаньи песни типа «кого-то жуют под бананом», то девчонки азартно, ошастливленно повизгивали, а какая-то баба заполошно вопила время от времени, разгоняя пацанву. Участвовали в этом особом действе и легендарные кур-

ские соловьи, разбавлявшие бедовую ночь своими классическими коленцами.

Одним словом, никаких серьезных покушений на наше подворье в моем «богатырском» дозоре обнаружено не было. Но вовсе без мальчишеского озорного разбоя не обошлось: ребетня втихую разобрала деревянный мосток через здешнюю реку-ручеек Вшивку, а часу в четвертом, рассветном, пацаны зажгли старое тракторное колесо и на палке катали его по улицам Касторного. Роняя мохнатое червленое пламя, оно выглядело жутковато, чуть ли не апокалипсически. Маловероятно, что мальчишками двигало старинное поверье, будто так можно узнать, в каком доме живут здешняя ведьма или колдун. Якобы у «нехорошего» жилья колесо должно было бы непременно взорваться, а тайный чародей (чародейка) – с воплем вылететь в трубу.

Этот эзотерический эксперимент сорвал Жорик-Матрос, конюх местной ветлечебницы, прозванный так соответственно его бывшей службе на Северном флоте. Возможно, он и отвел самую настоящую огненную беду от поселка. Жорик-Матрос, грозно понукая свою старую лошадку с поэтическим прозванием Акация, вдруг объявился перед мальчишеской ватагой самым настоящим храбрым витязем-воителем. Притом азартно размахивал над головой пугающе высвистывающей собачьей цепью, сверкавшей, как молния, бликами густо горевшего тракторного колеса. Правда, нашлись-таки потом очевидцы, которые утверждали, что скорее всего оружием Жорику-Матросу служил на самом деле его бывлой флотский ремень с золотистой старшинской бляхой, помеченной якорем со звездочкой. А что вместо шлема он использовал алюминиевую кастрюлю, так это однозначно. Правда, распугало мальчишек не силовое улюлюканье конюха ветлечебницы, не шепелявый посвист его цепи или потрепанного ремня: престарелая лошадка Акация померещилась им в предутренней хмари самым настоящим богатырским Сивкой-Буркой, под копытами которого земля робко дрожит, из очей коего искры пыхают, из ноздрей дым кудрявый вьется, из заду головешки пылающие валятся. В общем, горы и доли он промеж ног пропускает, малые реки хвостом застиляет, широкие – перепрыгивает.

Как раз в то утро невиданная раскидистая гроза девятым валом надвигалась на Касторное, по пути задиристо, вертикально поигрывая тяжелыми красно-синими молниями, так что мальчишкам и не то могло привидеться.

Как бы там ни было, закатив от греха подалее свое огненное колесо в здешнюю реку-ручеек Вшивку, они вприпрыжку разбежались по домам с озорным посвистом, провожаемые заполошным трескучим клекотом лягушек.

Мы же с Александрой Ивановной всю ночь на крыльце азартно говорили о фильмах Андрея Тарковского. Только что на экраны вышел снятый им в Швеции фильм «Жертвоприношение», и это был первый фильм мастера, который моя теща не приняла. Само собой, по политическим мотивам – за то, что Тарковский стал невозвращенцем.

Как я достаточно скоро смог убедиться, в касторенской, да и не только, сельской жизни одним из самых сакральных событий всегда были и поныне остаются два особых процесса, тесно связанных один с другим – сажать картошку и выбирать ее. Само собой, в центре всего этого знатного действия в касторенских краях стоял Жорик-Матрос. Если летом и зимой касторенский народ про него забывал, то весной и осенью он был всем крайне потребен.

– А в иное время так со мной, глядишь, и не всякий поздоровкается! – усмехаясь невесело, определял Жорик свое социальное положение. – Ничего! Будет и на моей улице праздник. Вот тогда сочтемся славой!

У него одного в поселке имелась лошадь, так что Жорик сам очередь устанавливал со всеми вытекающими и втекающими последствиями. А его угрозы свести с кем-то счеты им быстро забывались. Жорик вполне осознавал свою высокую ответственность и поэтому никого не обижал: даже Прасковья Ивановна, будучи главным бухгалтером ветлечебницы, как и все, ходила к Жорику-Матросу уважительно договариваться поставить их с Шурой в очередь «насчет лошадки». Уважительно – это значит не с пустыми руками, и разговаривала непременно с просительными, чуть ли не заискивающими интонациями, после которых Паша потом три дня отплеывалась.

День для посадки или выкапывания «картошки» никакие метеосводки не определяют. И спутники такому делу не по-

собники. Надо вживе чувствовать природу, ее настроение. Такая обязанность лежала именно на Жорике. По весне и осени люди ему только что в рот не заглядывали: терпеливо ждали те самые его магические слова, хорошо известные всем: «Чтой-то сегодня моя лошадка копытом больно шибко била!» Это на его языке означало, что, значит, пора сажать или копать картофель.

Договорившись с Матросом насчет лошади, с утра пораньше мои женщины ловко латали мешки и пришивали к ним тесемки. Мне же было велено собирать по саду яблоневую падалицу – полакомиться всласть Жоркиной лошадке. Словно подманивая, торопя конюха, с утра томилась на печи его любимые макароны по-флотски и был наготове спирт из запасов ветлечебницы, старательно настоянный Пашей на зверобое и иван-чае. После стакана-другого такого волшебного зелья с лица Жорика-Матроса будто лет тридцать испарялось, и он тогда совсем молодцом, разрозовевшимся чуть ли не юношеским румянцем. Он всласть командовал и на огороде, и за столом, без сидения за которым всем гуртом копачей картофеля никак не могло обойтись такое серьезное, почти историческое действие. Матрос неуменно танцевал подряд со всеми женщинами. Однако чаще других он выхватывал из-за стола именно Пашу, но это, тем не менее, никаких дальнейших серьезных последствий не имело. Как и тот факт, что Жорик однажды подарил ей свою фотокарточку в грачино-черной матросской шинели на фоне бело-голубого Андреевского флага.

В тот день ждали мы Жорика до полудня, а с полудня ждали до обеда.

В ожидании Матроса первой, как всегда, теряла всякое терпение Прасковья Ивановна: даже ногами принималась топтать, точно исполняя некий шальной танец. Следом за ней суровела и начинала сердито гоношиться теща.

Вот тут не дай Бог случиться самому рядовому приближительному дождю, силы которого едва хватит слегка приоткрыть влагой касторенские крыши.

– Досиделись!!! – мельком глянув в окно, отчаянно прокричала Прасковья Ивановна.

Тотчас заполошно подхватила и Александра Ивановна, само собой, прежде зарядив себя новой папиросой.

В итоге все мы, наспех одевшись потеплей, поспешили на огород срочно выбирать картошку «под лопату», пока погода совсем не испортилась.

– Не ругайся, Паша дорогая! – вдруг раздался за плетнем певуче-зычный гордый голос Жорика.

Он стоял жердью у наших ворот, держа под уздцы свою понурую, скучную Акацию.

– Я специально для вас за новой сохой ездил! Такая пенец зацепит железной коронкой – «цок»! И слетел тот на раз! Двадцать пять рублей заплатил, не пожалел, ради вас, девьки мои золотые! А на старой сохе у меня уже ладонь между зубьями проходила, а у этой только два пальца и просунешь! Рвет и мечет!

Жорик влет наломал веток в саду и разнес их по огороду, бдительно втыкая там, где в земле прятались большие камни.

Сняв с телеги новую соху, старательно закрепил ее между оглоблями.

– А ну, пошла, родимая!!! – озорно гыкнул Жорик, и Акация, приоглянувшись на хозяина, как бы хмыкнула ему в ответ усталой улыбкой, оголившей истертые темно-желтые резцы.

Пошатнувшись, лошадка рывком тронулась.

За ней от ее новых кованых подков оставались на земле глубокие блестящие вмятины.

– Лошадка у меня модница, ради праздника на шпильках сегодня!!! – озорно крикнул Жорик-Матрос, ровно ведя соху и чуть припадая в коленях на каждом шагу. – Я бы с ней в цирке выступал, только боюсь, она там музыкой своего брюха благородный воздух напрочь испортит!

Прошли почти весь огород, когда лошадь вдруг тревожно дернулась и стала, виновато покосившись на хозяина.

Жорик тотчас сообразил: коняга подвернула ногу. Отпачались, одним словом.

– Спокойно, девьки, спокойно...

Он аккуратно распряг Акацию и бережно вывел на траву. Та опасливо прихрамывала и тревожно озиралась, словно

ища в наших лицах понимание того, что с ней произошло и что будет дальше.

Хлопнув себя по ляжкам, чтобы придать своему длинному жилистому телу необходимое ускорение в нужном направлении, Матрос, прыгая с борозды на борозду, враскачку поскакал к телеге. Через минуту-другую, судорожно хэкая, он приволок на огород ручной ржавый плуг, – его лемеха давным-давно не вспарывали землю, остатки которой, как некая мрачная опухоль, намертво прилипли к ее лемехам.

Теща моя и ее старшая сестра, увидев такое нелепое ко-собокое чудо-юдо, не сговариваясь, внимательно, как бы даже оценивающе поглядели на меня.

Я ждал, что Александра Ивановна сейчас всенепременно торжествующе произнесет какую-нибудь культовую философскую фразу из своей бездонной копилки народной мудрости, в которой пренебреженно центровым смыслом озорно-колко топорщились ершистые слова: «Зять ни дать ни взять».

Однако сестры сосредоточенно промолчали. Прасковья Ивановна так даже поглядела на меня еще раз, но уже с некоторым потаенно-сдержанным сочувствием.

– Поди-ка сюда, малой... – вдумчиво проговорил Жорик-Матрос.

Еще ничего толком не понимая, я шагнул к нему.

Он тотчас с силой крепко похлопал меня по плечу, словно хотел убедиться, надежно ли я стою на ногах.

– Годится! – уверенно, бодро проговорил конюх. – Будем запрягать парня!

Строго, хватко, но ладно переплел он меня ремнями, соединяя в одно целое с сохой. При этом приговаривая себе под нос своим опустошенно беззубым ртом: «Не дергайся, не замай дедушку. Все рядышком там будем».

Даже кнут в руки взял и весело гыкнул:

– Это я для пущего юрмора. – Кашлянув, объявил с явно армейской бодрой и веской интонацией: – Трогай, орел!

И навалился на рукоятки плуга.

До боли уперевшись животом в ремень, я нахраписто потянул по борозде наше незамысловатое сооружение явно эпохи первого черепановского паровоза.

С первого шага меня невольно завалило, со второго я едва не пал на колени, но метров через пять как врос в этот плуг, ощутил свою силу и пошел упорно, ровнехонько, с настырным азартом.

Только сейчас я сполна уловил яркий духмян раскороченной земли: густо пахло ее живительным нутряным темным соком. Этот черноземный аромат вдвое придал мне сил.

Мы с Жориком основательно поперли напролом. Разбегайся, народ, сила идет!

Чтобы управиться до настоящего дождя, сестры скорехонько позвали соседей: тут так вообще принято, чтобы вместе, всем кагалом, собирать картофельный урожай. Однако по-всякому бывает – на этот раз отозвались только Буратино с Буратинихой и, само собой, Докука, известная тем, что вроде Жорика весной и осенью становилась нужна всем – очень она отзывчиво всегда помогала. Правда, за ней была известна такая странность, что Докука всегда отказывалась от платы, а когда приглашали за стол, ела мало и вовсе не пила. Только потом она всегда присылала свою внучку набрать ведро никому не нужных, нападавших по всему саду яблук или слив.

Когда я разворошил последние борозды и вывернутый сохой розовый, с фиолетовыми крапинами картофель уже лежал поверх земли, огород стал напоминать гигантский разворошенный муравейник, который рябит россыпью яичек. Наполненные пятиведерные мешки стояли по нему как степные каменные бабы. Кажется, тонны три сообща собрали. По крайней мере, моя спина именно этот вес показала к вечеру, не менее.

А через дня два-три, как подсохнет наш увесистый картофельный урожай, приедут за ним по десятилетиями уставившейся практике шахтеры с Донбасса и сыплют нам за него свой уголь добротный, с искрой фиолетовой – антрацит плитный.

Усталые, сели мы, где стояли. Как обычно бывает с наработавшимися людьми, даже не глядели друг на друга.

– Ну, до свидания, люди добрые... – стомленно проговорила Докука. – Если не станете возражать, я к вам сейчас

внучку пришлю яблок набрать. Мне яблоки у вас очень нравятся! Особенно «комсомолка», которая внутри вся красная. И сок у нее красный!

– Пусть приходит, – строго сказала Александра Ивановна, разыскивая по карманам халата папиросы с судорожным напряжением человека, явно давно не курившего, то есть минут двадцать. – Они у нас все равно пропадают. Поросенка уже не держим. Не по силам. Только теперь, соседка, надо бы пообедать! Уже и по времени пора!

Докука, почему-то покраснев, все равно хотела уйти, но Жорик-Матрос не разрешил, навалившись ей на плечо:

– Сиди, красавица! Ох, какие вы все бабы красивые! Даже не знаю, в какую бы мне влюбиться на недельку!

И важно, лукаво взял Докуку под руку:

– Пошли в дом, размножная ты моя! Мы сейчас с тобой у всех в почете! Лови момент, красотулька!

На первое сестры с щедрым уважением подали гостям огненный наваристый куриный суп с золотистой блистающей поволокой и ядреной домашней лапшей. К ним приложены были мордатые сочные котлеты, похожие на панцири блескучих черепашек, да невиданные тогда еще никем из кастроренцев темно-алые китайские помидоры «Черный принц» и, само собой, свойские нежно-колючие огурцы-крокодильчики. Те трескуче, бодро постреливали на зубах.

Сообща трапезничали в радость, хватко – со счастливыми улыбками.

...На следующий год по осени решила Александра Ивановна спилить в саду старые обветшалые яблони и груши. Вкуса да сочности они поныне не имели себе равных, но урожайность их стала штучная, а подгнившие стволы ждали первого азартного ветра.

Объявив такое решение, Шура невольно всплакнула. Деревья еще в начале прошлого века сажал с работниками ее батюшка Иван Григорьевич Тимошенко.

Мою кандидатуру на эту работу Александра Ивановна без размышлений отклонила, несмотря на все мои прежние достаточно явные заслуги: я успешно управлялся с тяжелыми рельсовыми шпалами, не согнулся под пятиведер-

ными мешками с картофелем и оказался способен вместо лошадки напористо тянуть по огороду соху.

Работа в саду требовала особого умения.

Ко всему Александра Ивановна, оценив ее предстоящий масштаб, объявила вердикт:

– Надо идти к Сашке Клину.

За три года в зятях я составил вполне достаточное представление о колоритных поселковых фигурантах: таких, скажем, как конюх ветлечебницы Жорик-Матрос, Докука, чета Буратино, потом же сторож магазина дед Демоньяка или уборщица в здешней школе бабка Пятилетка. Можно было припомнить и еще пару-тройку звучных имен. Положим, бывший завуч по прозвищу Дубняк, завклубом Юрка Кувшин...

Про Сашку Клина я услышал впервые. И почему-то невольно представил себе некую сокрушительную субстанцию с пугачевским топором за поясом.

– Клин клином вышибают! – само собой вырвалось тогда у меня.

При этом я был вместо ответа удостоен такого взгляда Александры Ивановны, какой обычно ловил на себе, если, например, никак не мог зачерпнуть ведром воду из колодца или отрубить голову курице так, чтобы она потом в особом экстазе полчаса оглашенно не носилась без нее по саду, при этом неведомо как ориентируясь и успешно лавируя между деревьев.

Настроившись зазвать Сашку Клина, Александра Ивановна несколько раз ходила «до него». В конце концов, они сговорились. Это была самая настоящая дипломатическая победа моей тещи – в эту пору к Сашке Клину, как и к Жоррику-Матросу, подступиться непросто: они были нарасхват. С ними весной да осенью все касторенцы здоровались по отчеству. Так они оба на время становились один Георгием Степановичем (Жорик-Матрос), а другой, Сашка Клин, Александром Васильевичем. Оба признавались, что слышать им свои настоящие имена было как-то непривычно и неловко.

Загодя Прасковья Ивановна рано утром по осенней, муторной темноте отправилась со мной в райцентр на базар.

Собирался тот уже часов в шесть и достаточно скоро опустевал: осенняя заключительная работа на земле настойчиво торопила народ.

Казалось бы, все у сестер для стола имелось свое, свойское: на чердаке под крышей в марлевом коконе вялился тяжелый, подкопченный окорок, в холодном погребе томилась под прессом кишка сальтисона из свиной рульки с разными мудреными добавками, а веранда была густо увешана золотистыми косами луковых маковок, кулачками чеснока, словно обтянутыми березовой корой. Здесь же основательно стояла и дубовая, вековая кадушка-бабушка с ржаным, мутно-матовым квасом, поверху затянутым склизкой зеленью мятных и смородиновых листьев. Карие глазки изюма вальяжно плавали в нем, украшая белесый квасной лик, как веснушки лик девушки.

Только кто у нас посадит работающего мужика за стол без мяса? Куры вареные, окорока, сальтисон или холодец такими не считались и проходили по части закуски. Одним словом, деревенский стол, на котором в заглавии нет знатных котлет – сирота. Так что у касторенцев они такой же непрменный атрибут праздничного гостевого обеда, как у американцев жареная индейка или карп у чехов.

Сил же держать теленка или поросю у сестер уже не было. А наши с Мариной и Сашей наезды по выходным мало что могли изменить в лучшую сторону. Вот и застучала березовая палочка Прасковьи Ивановны в сторону базара, сторожко предупреждая от недобрых поползновений окрестных собак. Выбор мяса доверялся только ей: она на добрый правильный кусок особое чутье имела, у всех других из нас явно отсутствующее. Возможно, сказывалась ее долгая работа на ветлечебнице.

Не менее часа потратив на сосредоточенный, вдумчивый обход базара, Паша, наконец, определились, повеселела и с удовольствием после честного строгого торга купила глянувшиеся ей куски: непременно и свинину, и говядину. Выбор правильного мяса – половина успеха сооружения достойных представительниц котлетного царства. Такие особые, ответственные произведения у сестер всегда вполне удавались: эдакие пышные мясные черепашки,

набухшие горячим, розоватым соком. Их дородная царственность подчеркивалась знатной застольной свитой: матовыми, отварными картохами, сальтисоном, на срезе похожим на красно-серый с белыми вкраплениями мрамор, сизо-мутным куриным холодцом, запаянным поверху тягучим перламутровым жирком, и разными там бочковыми соленостями, включая знаменитые здешние моченые яблоки, – полупрозрачные, чуть ли не светящиеся изнутри.

Само собой, не могла быть не приготовлена сестрами и питейная норма Сашки Клина – за труды праведные разбейся, но выстави ему полтора литра достойного первача-хреноухи всенепременно с медом, желательнo гречишным. Иное горячительное, включая самые лучшие магазинные импортные напитки, Сашка не уважал и не пользовал.

Так что признанный им богатырский напиток едва ли не дегтярного цвета с красным перцовым отливом был заранее у сестер наготове – в массивном, еще батюшкином графине, облепленном пузыристой шершавостью стеклянных виноградных кистей, а вместо пробки – нежно и целомудренно целующиеся ангелочки.

В субботу в назначенный ранний час Александра Ивановна избегалась за калитку на взгорок высматривать Сашку в осеннем провислом тумане.

Наконец вдалеке глухо послышался хорошо знакомый ей голос настойчивого, усердного мотора.

– Едет! – гордо, чуть ли не со слезой вскрикнула теща. – Уважил, разбойник!

Александра Ивановна радостно осенила себя мелким, как бы потаенным, крестом, словно наложила его не на всю себя, а только на свою душу, и бросилась разносить воротную изгородь.

Вскоре во двор, скрипя и подрагивая, вкатилась своим ходом затрапезная, выдавшая виды телега на резиновом ходу. Такое же впечатление могла разве что произвести печь, на которой сказочный Емеля разъезжал по щучьему велению.

На телеге, подстелив свежего сенца, рулил худой, морщинистый мужик лет сорока с коротким, будто подрезанным носом.

Он подал мне руку, не сходя со своей самобеглой телеги. Рука неожиданно оказалась ломовой силы, какая может быть разве что у металлического рычага.

За спиной Клина на задке судорожно трепыхался невесть из какого металллома собранный движок. Там же торчала когтистая дисковая пила. Вид у нее был задиристый, нахальный.

Сашка Клин сбросил рваную фуфайку, шустро подлез под телегу и начал там что-то сноровисто, деловито соединять и соединять, ловко перекидывая ключ из руки в руку, словно колдовал им.

Когда он пустил мотор, пила азартно рванулась, разметав в клочья вокруг себя густо сосредоточенный утренний мрачный туман.

Приступив к работе, Сашкина телега, медленно накатившись на старое и какое-то из себя сказочно-мохнатое дерево, хватко, с захлебистым подвывом, цапнула сталью по стволу. Яблоню проняла мелкая, знобкая дрожь. А пила тем временем уже напористо пошла через нее насквозь.

И вот уже первое дерево слетело, смертно треща сучьями. Пока я их отсекал топором, Клин завалил другое, третье...

К обеду сад сиротски поредел. Свежие мшистые пеньки омертвело торчали тут и там. Я поджег ворох сучьев, и пламя, особенно яркое, кровянисто-живое среди осенней серой пожухлости, стало раз за разом взрывчато кидаться вверх, словно отчаянно порывалось куда-то улететь.

Клин с гордостью огляделся и, ни с того ни с сего, вдруг с пафосом проговорил, как итог масштабный подвел своей работе: «И на Марсе будут яблони цвести!»

Ел он на веранде. Сесть за стол в комнате Клин отказался. Его самоходную телегу многие заказывали, но ни у кого Сашка в дом не проходил: стеснялся своей неопрятности.

Я не верил, но Клин за вечер только так управился с полуторалитровым графином – нормой угощения, которую хорошо знали за ним во всех окрестных селах. Ел Сашка, почему-то держа тарелку на коленях. В ход на закус шли в основном сало и лук. Приготовленные для него образцово-показательные генеральские котлеты остались нетронутыми.

После угощения Сашка никогда за руль не садился. Выпил, закусил и свалился под стол. Чуть погодя, когда сон уже крепко засосал его, Александра Ивановна положила Сашке под голову подушку и накрыла мужика старым комкастым одеялом, каким в большие морозы укутывала сруб колодца, чтобы лед на воде не так быстро матерел.

Уехал Клин под утро, затемно. Я еще спал. Бог его знает, как он впотьмах управлялся со своим агрегатом на истерзанной касторенской дороге...

...А года через три Сашка Клин погиб: чтобы свою якобы щедрость надо всеми поднять, поднесла ему какая-то бестолочь угощение сверх нормы, а утром ехать ему надо было по-над Вшивкой по правому берегу такой высоты, словно земля здесь все свое нутро выперла наружу.

Оскользнувшись, телега сбросила наземь Сашку. Обрыв там был такой, что он летел под откос все быстрее и быстрее: в итоге душа его не выдержала такого очередного насильственного испытания и торопливо покинула тело. А телега, оставшись без хозяина, отчаянно набрала столь невиданную для нее скорость, словно реально хотела рвануть в небеса вслед за Сашкиной душой.

С тех пор мне, бывает, иногда при взгляде на небо нет-нет, да и покажется смутно, что она действительно там, в далеком межзвездье, так-таки догнала, наконец, своего мастера и тарыхтит сейчас с ним где-нибудь по столбовой дороге Млечного Пути. Может быть, для них и его шустрой пилы нашлась какая-никакая работа в Райском Саду?.. В замещение Адама, первого садовника? Всякое может быть.

Тем не менее в этой, казалось бы, простой истории, поныне осталось для меня что-то безответное, серьезное, год от года все более важное и не дает покоя, тревожит необъясненным смыслом особого, «клиновского» житья-бытья. Ищу его и не найду. И все-таки ищу.

...Годами, а, может быть, и десятилетиями, невесть каким образом установилась у касторенцев душевная традиция: после октябрьского непереходящего праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который был ими почитаем как символ особого покровительства Богоматери Русской земле, уже после всех основных трудов полевых и огородных,

они, не сговариваясь, начинали друг за дружкой подтягиваться к дому моих обеих «тещ». Первыми у их акациевой живой изгороди тихим вежливым скопищем собирались в повечерье соседи близкие и дальние, а потом подходил, налегая торопким шагом, народ не только касторенский, но и из окрестных сел. Кто сам топал, кто полной семьей появлялся, как они все говорили, «девок послушать!»

В такой день мои Ивановны еще с обеда невольно начинали сторожко поглядывать через окно на большак, пока еще практически пустой, безлюдный. Чаще собака через тот торопливо проскочит, чем путник какой-никакой объявится.

Но вот уже темень густится, мрачнеет, устало раскладываясь по низинам и посадкам.

Сестры не соревнуются, кто прежде увидит гостей, но каждая из них со счастливым напряжением всегда желает стать первой. И вот, наконец, у Шуры или Паши срываются взволнованные заветные слова:

– Идут, идут! Глякося, потянулся народ... – взволнованно вскрикнет одна.

– А то! – в ответ светло улыбнется другая.

Далее Шура и Паша вместе приникают к окну, дыхание их спутывается.

А люди прибывают. Наконец уже нагущается возле двора самая настоящая плотная толпа. В ней всегда эдаким воеводой выделяется Жорик, торжественно восседающий на старой понурой Акации. Само собой, без седла.

И всех этих разных, нередко вовсе не знакомых людей отличает одно общее – одеты они явно в самое лучшее из своего достаточно скудного сельского гардероба. Лишь кто-то, случайно здесь впервые оказавшийся, неопытно выделяется до блеска затертой рабочей фуфайкой или нахлебавшимися чернозема стоптанными галошами, – так он невольно норовит спрятаться за спинами.

Сестры чуть ли не влюбленно глядят друг на друга и вот-вот, кажется, горячо обнимутся и радостно всплакнут.

– Айда?.. – наконец тихо вопрошает одна.

– Пора, мать! – твердо, согласно отзывается другая.

Настроение у них явно самое боевое.

Перекрестившись на кухне у икон и накинув большие пестрые шали, делающие их похожими на большие, гордые птицы, обе они плечом к плечу выходят на крыльцо.

Степенно, но не без торжественности поклонившись народу, рассаживаются на ступеньках лицом друг к другу. Точно приготовляясь к некоему серьезному, вдумчивому разговору. Само собой, Александра Ивановна является народу без своей коронной папиросы в насмешливо сомкнутых губах.

Берутся за руки...

И вот она, невесть откуда, точно наплывая с высот заоблачных, тихо выходит на простор к людям первая зачинающая песня.

Народ ошеломленно вздрагивает, оживает и взволнованно подается вперед, – осмелев, уже за калитку во двор кто-то входит, в каждом своем шаге соблюдая достойную аккуратность.

А песня возрастает, окрыляется:

«Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля, – это русское раздолье, это русская земля!»

Слышно, как кто-то припоздавший со всех ног сюда спешит торопливо, чавкая калашами или сапогами по осенней склизкой грязи.

«Не корите меня, не браните, не любить я его не могла...» – вдохновенно ведут сестры, как будто сокровенно делятся только что случившейся с ними горькой историей.

Голоса у них подхватистые, налитые ярким звуком, от которого словно свет между ними всеми бережно распускается, восходит живым явлением.

А за спиной у Шуры и Паши в дверях тихо подпеваает Марина, не смея объявлять во всю силу свой голос – ее время еще впереди.

Расходятся люди далеко за полночь, когда особенно душисто и свежо пахнет осенними яблоками и пахотной землей. С добрым чувством расходятся, что главная точка накануне зимней глухоты-немоты у всех у них в душе зримо поставлена, на все морозные месяцы ее достанет.

Многие по дороге домой начинают сами раззадоренно вести самую запавшую в душу песню, никак не желая с

ней расстаться. Так что со всех сторон по всему Касторному тогда радостно, емко разносится: «Окрасился месяц багрянцем...», «Ты помнишь, изменник коварный...» или, скажем, «Поедем, красотка, кататься». Словно люди – вот так, песнями, между собой радостно, спаянно переговариваются, никак не желая расстаться, сообщая друг другу что-то самое заглавное в этой жизни их, самое неистребимое, сердечное.

В такой день, уже на излете его, песня входила почти в каждый касторенский дом, счастливо, возрадованно преобразая его. Как перед Великой Пасхой или той же всеми вдохновенно любимой Троицей.

Как бы там ни было, в такой звучный, певучий вечер редко кто воздерживался от чарочки, без которой самая счастливая, самая вдохновенная песня нужной задорности и напора никак иметь не может, хоть ты тресни.

...А однажды в конце лета вечером после работы мы с Мариной увидели в прихожей листок бумаги, на котором было написано отчетливым каллиграфическим почерком нашего сына пятиклассника – отличника Саши: «Я уехал в Касторное помочь бабушкам чистить колодец. А еще эта поездка нужна мне для 1 сентября, когда мы будем писать сочинение о малой родине. Я родился в Воронеже на улице Среднемосковской, но все равно считаю своей малой родиной Касторное. И даже не старайтесь меня переубеждать. Только, пожалуйста, не волнуйтесь».

Едва успев на последний «дизель», мы приехали за полночь и пока шли с Мариной со станции, над нами во всей бесконечной масштабности нависали емко сияющие жители галактики: небо прохладно и густо пахло звездами, которые расположились так низко, что головой их можно было зацепить. Несмотря на волнение, мы с Мариной чувствовали себя словно живущими в центре Вселенной.

На родном крыльце тихо, устало пели обе наши Ивановны. Между их голосами застенчиво протискивался крепнувший тенорок Саши.

И я вдруг понял, что у меня отныне тоже есть малая родина, она здесь, я твердо стою на ней и готов немедленно доказать сей факт, написав на эту тему самое честное-пречестное сочинение. Вот оно, перед вами, люди добрые.

# НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ

Маленькая повесть

Заведующий кафедрой самолетостроения воронежского университета профессор Георгий Владимирович Шаталов родился в Украине в конце сороковых. Тогда там в самом разгаре была борьба с бандеровцами, и его отец Владимир Шаталов, командир эскадрильи штурмовиков Ил-2, каждый день вылетал на бомбежку укрывшейся в западных лесах украинской повстанческой армии.

Ныне отметить свое семидесятилетие Георгий Владимирович готовился, когда в тех краях опять начались сражения, но теперь уже с нынешними сторонниками Степана Бандеры: в ответ на многолетний с 2014 года смертоносный обстрел Донбасса Россия вынужденно объявила о начале Специальной военной операции в Украине.

Через неделю его дочь Маша вместе с мужем Костей Гребневым, не советуясь, молчком уехали в Казахстан. Кажется, в Уральск, да еще на такси за 40 000 рублей, чтобы миновать пробки на границе. Кажется, потом они рассчитывали перебраться в Грузию?..

Такой международного масштаба кульбит никак не укладывался в голове Шаталова, но кто бы его послушался? Между прочим, об этом их головокружительном решении дочь объявила эсэмэской уже с той стороны казахстанской границы. «Папочка, не падай в обморок. Покойная мамочка нас бы поняла, постарайся это сделать и ты. Мы уехали из России. Мой милый Костик никак не желает променять меня на окопную жизнь. Потом же, папочка, от войны подальше рожать мне будет спокойней, – попыталась как-то по-человечески оправдаться Маша, которая уже была на пятом месяце. – А Костику все равно, в какой стране работать. Хоть на необитаемом острове. Он же айтишник!»

«Вы поставили меня в весьма нехорошее положение своим бегством!» – тревожно написал Георгий Владимирович.

«Мы молодые люди! Мы по-своему видим этот мир! И имеем полное право ехать, куда пожелается!» – дерзко ответил за жену Костик.

«Молодость не порок, но чересчур быстро излечивается...» – только и нашелся, как отозваться Георгий Владимирович.

Однако они явно не подействовали. Как в Лету канули.

Отныне день ото дня Георгий Владимировича не оставляло обостренное ощущение, что он все свои немалые годы двигался в одном направлении по некоей исторической ленте Мебиуса. И теперь из-за такого странного бесшабашного уезда дочери он, в конце концов, словно каким-то загадочным образом оказался в начальной точке своего непростого путешествия, длиною в жизнь. Это было более чем неприятное, даже, откровенно говоря, тревожное и весьма болезненное ощущение напрасности всех своих прошлых и нынешних дел и помыслов.

Как-то в конце мая две тысячи двадцать второго года Георгий Владимирович, открыв дачный сезон, заметил, что на расположенном здесь неподалеку военном аэродроме чаще обычного стали взлетать знаменитые сверхзвуковые «сушки»-бомбардеры, и брать курс в одном и том же направлении. В каком, догадаться было нетрудно. Они с равным интервалом один за одним, с каким-то неземным апокалипсическим рокотом турбин сурово продавливали небо у него над головой.

Со строгим волнением глядел им вслед Георгий Владимирович. Памятуя, как в детстве летом по выходным в любую погоду, бывало, ездил на трамвае к этому же аэродрому и устраивался в одной из воронок, оставшихся здесь после боев в Великую Отечественную, – и ждал возвращения самолетов с полигона, слушая небо, слушая жаворонков и сусликов, ныне безвозвратно исчезнувших. Тогда на этом аэродроме стояли совсем другие самолеты: длинноносые «двадцать пятые» «Яки», – всепогодные истребители-перехватчики и фронтовые бомбардировщики Ил-28.

Когда они, идя на посадку, пронеслись над Жориком чуть ли не на расстоянии вытянутой руки, он приветствовал

самолеты неистовыми аплодисментами. Ничего удивительного. Жорик мечтал стать летчиком-истребителем. Очень мечтал. В аэроклуб ходил, уже научился парашют укладывать. Да быстро вырос. И вширь, и ввысь явно более чем полагается для пилота «ястребка».

Глядя сегодня на эти уникально совершенные машины, Георгий Владимирович невольно испытывал самый настоящий стыд за свое отстраненное, укромное место в стороне от боевых событий.

Вернувшись домой, он не сразу включил на компе «Новости». Только после второй рюмки коньяка, вроде как снявшего напряжение, вызванное тем, что он, когда-то служивший в армии человек, старший сержант запаса, сейчас сидит мякина мякиной в кресле, в то время как там, на передовой, парни гибнут, сдерживая неонацистов, жаждущих уничтожения всего русского, а прежде всего самих русских. Он еще вполне способен держать оружие в руках. Так сказать, готов к труду и обороне. Да только кому ты нужен, дед...

Когда на мониторе появлялись лица командиров нынешних бандеровцев, всякий раз Георгий Владимирович сурово, обостренно вглядывался в них. Он надеялся увидеть в этих людях скрытое, пусть подспудное, но раскаяние за те ракеты, снаряды и мины, что день за днем летят с их стороны на головы мирных жителей Донбасса, Луганска или, как вот теперь, – еще и российских сел в землях Курских да Белгородских и Брянских. А главное, он надеялся увидеть в них ИДЕЮ, которая заставляла так безбожно поступать. Но всякий раз он видел в них своим опытным учительским оком что-то странное, почти нелепое: это были физиономии пацанов из тусовки в каком-нибудь провинциальном затрапезном баре, иногда разъяренные, иногда пофигистские, часто хулигански-нахальные, но никак не лица защитников высших духовных принципов, борцов за правду. Героическое начало в них напрочь отсутствовало. Даже не было и черты хотя бы того развязного гегемонного высокомерия, которое вызвала у когдатешных гитлеровцев наглая убежденность в своем арийском расовом превосходстве над всеми иными народами.

При всем при том Георгий Владимирович вполне понимал, что его нынешнее желание быть сейчас в Украине вместе с нашими бойцами не более чем самообольщение, чуть ли не самая, что ни на есть, напыщенная рисовка перед самим собой.

Шаталов сдержанно усмехнулся, представив, как бы на самом деле могло выглядеть его появление в военкомате с просьбой об отправке в зону спецоперации. Его там, скорее всего, приняли бы за выжившего из ума старикашку, самолюбиво тешащего себя псевдофантазиями. А взяв в руки его военный билет и перелистав, сотрудники военкомата, как говорится, попадали бы от смеха. С первого взгляда все было в нем как бы вполне нормально и соответственно. Но на двенадцатой странице военно-учетная специальность Георгия Шаталова обозначалась так: начальник библиотеки. И это соответствовало действительности: он реально служил библиотекарем полкового офицерского клуба и до сих пор даже помнил из той своей солдатской жизни одну сугубо политическую акцию: как-то командиру полка, батю, сверху было велено в карточках всех читателей, коих имелось на то время в полковой библиотеке не менее тысячи, срочно проставить как прочитанную, книжную трилогию Генсека КПСС Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Целина» и «Возрождение», а также провести по этим произведениям с должным размахом читательскую конференцию. Эта задача была подготовлена и выполнена рядовым Шаталовым в сжатые сроки за несколько бессонных суток. Каково же было через двадцать лет услышать ему от директора их университетской библиотеки (уже при Горбачеве и Яковлеве), что эти книги Леонида Ильича было велено до последнего экземпляра тайно уничтожить.

Однако высший комизм библиотечной «одиссеи» Георгия Владимировича заключался в другом: в его военном билете в разделе «Заклучение командования части об использовании в военное время» стояла загадочная запись: старший библиотекарь. Не больше и не меньше. Но кому понадобится на передовой этот некий старший (!) библиотекарь?

«Если припрет, так мне лишь одна дорога светит – в партизанский отряд!» – посочувствовал сам себе Георгий Владимирович.

Георгий Владимирович поставил перед собой портрет отца в летной военной форме давних пятидесятых лет. Того самого времени, когда отец уже был начальником штаба Липецкого авиаполка. Шаталов долго, сосредоточенно смотрел на его профиль. Года три назад, до ковидной пандемии, он прошел с этим портретом, украшенным Георгиевской ленточкой, в бесконечной плотной толпе «Бессмертного полка» по воронежскому проспекту Революции. Взгляд отца на снимке сосредоточен и спокоен. Это взгляд офицера, достойно исполнившего свой воинский долг, и отчетливо сознающего, что жизнь его имеет высший смысл.

Среди ночи дерзко, неприлично напрягая все и вся, вдруг ударил телефонный звонок. Пока Шаталов замедленно соображал, что и к чему, пока до него, наконец, дошло осознание необходимости так-таки встать и ответить, ибо ни с того ни с сего в столь позднее время не тревожат людей, телефон словно с мстительной обидой замолчал. Мол, можете теперь не дергаться. Хотя я знаю, что сна у вас не будет до самого утра.

И все-таки звонок повторился. И был на этот раз более смиренным, почти покладистым, точно одумался, осознал, каково сейчас тем, кто слышит в ночи его разяще бьющую во все стороны дробь.

«Неужели с Машей случилось что-то нехорошее?!» – спотыкаясь, теряя на ходу свои тапочки, мохнатые, словно некое живое существо, горячечно, перенапряженно думал Георгий Владимирович.

Ему казалось, что он не идет сейчас по дубовому паркету своей квартиры, а, как в детстве, в своих валенках с блескучими черными галошами, раскорячившись на полусогнутых, вертляво летит куда-то вниз, в темный неведомый провал по ледяному ухабистому склону горы в городском парке «Динамо».

– Слушаю... – надрывно прохрипел Шаталов в трубку.

– Папа, что с тобой? – услышал Георгий Владимирович строгий, требовательный голос дочери.

– Все в порядке, доча, это я спросонья едва не подавился собственным языком...

– Глупости не городи! – отчетливо вскрикнула Маша. – Тебе бы наши проблемы!

– Я вас туда не посылал.

– Знаменитая фраза. Не помню чья. Только из-за таких, как вы, неудачливых строителей мифического светлого будущего, мы вынуждены искать счастья на чужбине! – Голос дочери зазвучал исключительно строго. – Тебе надо сейчас немедленно ехать на нашу квартиру.

– Не понял...

– Мы закрутились с отъездом и в суете забыли пристроить кому-нибудь нашего Джека!

– Ничего себе!

– Теперь Джек своим беспрестанным несносным воем поставил на уши весь дом! Нам позвонили: соседи хотят взломать дверь и убить моего любимого песика! Мерзавцы! Бедный Джек!

Георгий Владимирович напряженно затих, как при внезапном сердечном сбое.

– Ладно, еду... – тихо проговорил он. – Только куда я потом дену вашего Джека?

– Не чуди, папа! – взвизгнула Маша. – Ты, слава богу, держал в своей жизни собак пять или шесть. Я помню, ты рассказывал.

– У меня их было всего три, – вздохнул Шаталов. – Лега-вая, пудель и самая любимая – Аманда, сенбернар.

– Вот-вот... Так что сам справишься с Джеком. Он такой милашка! Я его очень люблю! Кстати, мы уже не в Казахстане, а в Тбилиси. Сняли прекрасную квартиру с видом на Казбек!

– То есть вы возвращаться не собираетесь?

– Мы хотим для нашей семьи благополучной цивилизованной жизни. В России это невозможно.

– Волна новой эмиграции?.. Или банальное предательство? – построжел Георгий Владимирович. – А как же дым Отечества? Как известно, на чужбине счастье невозможно.

– Оставь свои просоветские агитационные причитания для психов! – хмыкнула Маша. – Интернет сделал единым домом всю нашу планету. Пока, милый папочка. Я и Костик

идем ужинать в ресторан. – И добавила тихо, почти заговорщицки:

– Ты только, как в квартиру зайдешь, не пугайся...

Георгий Владимирович напрягся:

– Я что, не знаю, как с собаками надо обращаться? К тому же ваш Джек всего-навсего трехмесячный щенок! Какие проблемы?

Таксист всю дорогу горячечно, сбивчиво говорил, сколько его друзей суматошно «рванули» на Запад, а кое-кто так даже во Вьетнам, чтобы не попасть под частичную мобилизацию.

Только было непонятно – он им сочувствовал или осуждал?

В любом случае, Георгий Владимирович первый раз в своей постстуденческой жизни не заплатил таксисту свыше тарифа. Ну вот не захотелось!

Подходя к тому самому дому (вполне приличной свежей панельке с бодрой весенней сине-бело-зеленой расцветкой высотных стен), в котором еще недавно жила в съемной квартире его дочь с этим шустрым не в меру Костином, Шаталов строгим, даже сердитым взглядом бдительно нашел их окна на неблизком тринадцатом этаже. И неожиданно сделал для себя достаточно убедительный вывод: никакого истощного лая Джека не было и в помине. Ни лая, ни подвывания, ни скулежа.

Георгий Владимирович уже хотел было вернуться восвояси, но разумно передумал.

«Все же надо подняться. Мало ли что».

Его решение не смог поколебать даже тот факт, что здешний лифт, увы, не работал. Так уж почему-то у нас водится именно в новых домах. То лифт здесь намертво станет на месяц-другой, то воды неделями нет, то мусоропровод на замок закроют или вовсе заварят его люк корявой змейкой наскоро наложенного шва.

Прежде чем начать свое малоприятное альпинистское восхождение на достаточно высотный для него этаж, Георгий Владимирович еще раз бдительно прислушался. Да, Джека не слышно. Зато со всей звуковой очевидностью некие жильцы отчаянно и гадко ругались, сопровождая свои

изысканно матерные крики судорожным грохотом непонятного происхождения. Одним словом, невидимые миру слезы лились ручьями за окрашенными в веселые тона подъездными стенами.

На седьмом этаже Георгий Владимирович долго стоял, прижавшись плечом к стене.

И вот, наконец, он возле квартиры, в которой еще недавно жили Маша с Костиком. Джек явно безмолвствовал. Не скулил, не скребся лапами в могучую железную дверь, какой самое оно закрывать вход в убежище, рассчитанное на прямое попадание атомной бомбы.

Георгий Владимирович из последних сил машинально позвонил в дверь и уныло усмехнулся. Никаких эмоций со стороны Джека опять-таки не последовало.

Тем не менее, когда он с третьего, вернее, даже с пятого раза наконец заставил ключом сработать непривычный замок с разными особыми секретам, Шаталов увидел перед собой то, что менее всего ожидал. Вернее, вовсе не ожидал. И ни при каких усилиях своей достаточно богатой профессорской фантазии додуматься до подобного казуса не мог бы.

В коридоре перед ним с Джеком на руках стоял человек. И это был явно молодой человек. Джек, коричнево-белый щенок французского эпаньоль-бретона, лежал в какой-то странной позе. Притом еще и неестественно оскалившись.

Джек обычно встречал Шаталова вертко, со счастливым визгом. Он столь стремительно нырял ему под ноги, прыгая то спереди, то сзади, что Георгию Владимировичу невольно казалось, что его встретила не одна собака, а целых две или три.

– Добрый вечер... – с трудом проговорил он, словно это были первые слова, сказанные им в этой жизни. – Хотя какой он к лешему «добрый». Кто вы, юноша?

– Это мой самый мерзкий день... – судорожно, почти детским голосом отозвался молодой человек и всхлипнул, икнул и снова всхлипнул.

Он, кажется, плакал.

Только сейчас Шаталов понял, что Джек мертв.

Георгий Владимирович отчетливо побледнел.

– Я сейчас все вам объясню... – гундосо промямлил молодой человек. – Я Гриша. Друг Костика. Ваша дочь тоже

хорошо знает меня. Прошу вас, не выдавайте меня, пощадите, пожалуйста...

– Что с собакой?! – требовательно вскрикнул Георгий Владимирович. Фраза, им произнесенная, прозвучала емко, туго. Откровенно говоря, он не ожидал от себя, что может быть так суров.

От такого напора со стороны Шаталова Гриша невольно отшатнулся в сторону, словно получил самую настоящую увесистую оплеуху.

– Он так громко лаял... – слезно проговорил молодой человек. – Я испугался, что дверь могут, в конце концов, открыть или взломать. А я второй день прячусь здесь от призыва... Вот моя повестка.

Он робко протянул Шаталову какой-то истерзанный листок. Тот был весь так странно измят, замусолен, словно его усердно жевали. Вполне возможно, что Гриша безуспешно истерически пытался съесть это военкомовское извещение, призывавшее его исполнить воинский долг. Между прочим, священный долг.

– Дрянь... – глухо постановил Георгий Владимирович. – Тебя бы показательно расстрелять, да мы в подлый либерализм заигрались. И как только хозяйка квартиры тебе разрешила тут прятаться?

Гриша сдавленно вздохнул:

– Она живет в Нью-Йорке и квартиру сдает по Интернету. А Маша мне разрешила здесь отсидеться. Давайте ей позвоним!..

– Пошел вон... – судорожно проговорил Шаталов.

– Извините... Песик так лаял! Мне было страшно. И я зажал ему пасть. Я не хотел его убивать! Так само собой случайно получилось!

– Брысь, смартфонщик плюгавый! Пока я тебе морду не набил...

Оставшись один, Георгий Владимирович заметил в коридоре впопыхах оставленный Машин рюкзак с пристегнутым к нему плюшевым талисманом – черной обезьянкой.

Вывалив из рюкзака кучу всяких разных женских прибамбасов, он аккуратно уложил в него Джека.

Джек был еще чуточку теплый.

– Прости... – сказал тихо, но внятно Георгий Владимирович.

Правда, слез не было. И в помине. Все, что сейчас происходило с ним вокруг, словно заблокировало напрочь его чувствительные рецепторы.

Георгий Владимирович решил похоронить собаку. Кажется, рядом был какой-то заброшенный парк или остатки некоей куцей рощицы.

Самое сложное оказалось найти в Машинной квартире лопату. Молодежь есть молодежь. Разыскивая хотя бы нечто похожее на шанцевый инструмент, Георгий Владимирович обнаружил все, что угодно, но только не ее: несколько старых смартфонов, кошелек с забытыми в нем пятью тысячами, а также гору импортных пивных бутылок, кучу картонных коробок из-под пиццы и почти полностью сдувшиеся воздушные шарики со смешными, карикатурно перекореженными рожицами.

В конце концов, Шаталов взамен явно не существующей в этом доме лопаты взял в коридоре вместо нее никелированный железный рожок для обуви. Был тот достаточно длинный и, судя по надписи на его упаковке, еще и кованый. Ко всему изготовитель утверждал, что использовал суперпрочный металл.

Шаталов только усмехнулся такому наглому рекламному утверждению.

Через полчаса, когда Георгий Владимирович приступил копать могилку для Джека в здешней чудом уцелевшей рощице, подсвечивая себе фонариком телефона, рожок, как и следовало ожидать, оказался самой настоящей туфтой. Через раз его приходилось выпрямлять с помощью каблука. Правда, хоть в одном Шаталову повезло: оказывается, он, сам того не подозревая, набрел на самое настоящее, хотя и явно самопальное, кладбище домашних животных. Холмик на холмике бугристо топорщились вокруг на тесной полянке. Почти все могилки были с фотографиями питомцев, а некоторые так и вовсе представляли из себя образцово-показательные захоронения с мраморными плитами и скульптурными изображениями почивших в бозе кошечек, собак, хомячков или ручных крыс. Среди подобных па-

мятников особенно выделялся гипсовый крокодилчик по имени, само собой, Гена.

Дома Шаталов, отсидевшись с полчаса в своем любимом пухлом кожаном матово-серебристом кресле и выждав, пока уймется, наконец, дрожь в руках от старательного копания земли на корточках, помянул Джека своим любимым «Ноем», удивительно сочетавшим аромат ванили, сосновой смолы и осеннего дубового леса.

Шаталов несколько раз видел этой ночью, как у него под окнами по дороге быстро, сосредоточенно и достаточно грозно проходили колонны военных зачехленных машин. Но особенно впечатлил и взволновал его тяжеловесно прогромыхавший по «железке» примерно в километре от его хрущевки состав из вагонов-платформ с танками.

«Победа будет за нами!» – строго проговорил сам себе Георгий Владимирович.

Начавшийся новый день был однозначно особым: небо раскрылось над Воронежем масштабное, зримо высокое и с какой-то словно затвердевшей, рукотворной синевой. Георгий Владимирович, глядя на всю эту чудесность, так-таки помнил, что сегодня 14 октября 2022 года. То есть человечество дожило до шестидесятилетия Карибского кризиса между США и СССР, имевшего место быть в далеком 1962-м, когда два великих государства вышли на грань атомной войны.

Шаталову в ту кризисную пору исполнилось девять лет. День за днем они, дворовые мальчишки, шепотом передавали друг другу невесть как ставшие им известными государственного уровня секретные сведения про наши подводные лодки и корабли, доставившие на Кубу советские ракеты и ядерные боеголовки к ним.

Как же здорово исполнял тогда в 1962-м молодой Иосиф Кобзон песню «Куба – любовь моя!» «Слышишь чеканный шаг – это идут барбудос; небо над ними как огненный стяг... Родина или смерть! – это бесстрашных клятва. Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть!»

Кстати, именно тогда на школьный двор однажды по самой что ни на есть непонятной причине (поговаривали, будто на металлолом) привезли корпус самого настоящего

реактивного истребителя МиГ-15, и он простоял там чуть ли не год, невольно стимулируя у мальчишек желание непременно учиться на летчиков. «МиГ» тот был явно из серии тех, что еще недавно успешно дырявили своими пушками американские «Сейбры», «Мустанги» и летающие крепости В-29 в конфуцианском небе Кореи.

С воцарением на школьном дворе серебристо сияющего «МиГа» пятиклассник Жора, он же ныне профессор Георгий Владимирович Шаталов, целыми днями не вылезал из кабины «ястребка», напрочь забыв про футбол, жожку, бе-бе или ту же пристеночку. Уроки нет-нет, да и те пропускал. Тем не менее летчиком, как его отец, он в итоге не стал. Природа свое взяла. Она старательно день за днем лепила из Жорика нечто ей самой более от него надобное – заведующего университетской кафедрой самолетостроения, типичного технаря-профессора. Неспроста уже через несколько лет главный инженер воронежского авиазавода разглядел достойный талант в молодом студенте политеха Георгии Шаталове и привлек его к сборке первого в мире сверхзвукового пассажирского Ту-144.

Днями на кафедре настроились отметить новый праздник – День вузовских преподавателей. Обыкновенно Шаталов таким инициативам препятствий не устраивал, а тут как-то весьма отстраненно отнесся к этой идее. Явно с напряжением.

– Что Вы, дорогой Георгий Владимирович, темнее тучи? Поднимем за наш праздник чашу с добрым массандровским вином, и все проблемы на раз улетучатся! – достаточно изысканно, но определенно витиевато проговорил молодой, но весьма перспективный доцент Антон Смышляев.

Бодро розовощекий, но определенно в меру, без излишней пылкости, Антон Андреевич с достоинством огляделся по сторонам, как бы ища поддержку в глазах коллег. Он молодцевато поправил на себе стильный короткий пиджак в крупную клетку. При всей своей эффектности пиджак явно был из бюджетной серии, кажется, кашемировой.

– Я бы не рекомендовал Вам ныне праздничать... – сдержанно отозвался Шаталов на сердечный, коллективистский призыв доцента Антона Андреевича Смышляева. – И не

только сегодня. Извините, ход нынешней мировой истории не располагает к веселью.

Смышляев строго побледнел. Он сейчас явно чувствовал себя способным управлять даже колесом истории. Этому однозначно и эффективно способствовало то, что они на кафедре до возвращения Георгия Владимировича с лекции успели продегустировать пару емкостей весьма недурного крымского портвейна «Черный доктор».

– Кстати, Георгий Владимирович, а как себя чувствуют ваши детки, днями сбежавшие из России в братский Казахстан подальше от военной спецоперации?! – с резкой раз-этакой улыбкой проговорил Антон Андреевич.

Смышляев в своем темно-сером клетчатом пиджаке невольно напомнил Шаталову гранату, из которой выдернута чека. Остаются секунды, чтобы ее стремительно метнуть в цель.

Кажется, вся кафедра в эту минуту смотрела на своего шефа и Смышляева. На Георгия Владимировича с явным состраданием, на Антона Андреевича – тревожно, с недоумением, так, словно видели этого человека впервые. Не проявили своей оценочной позиции лишь те несколько сотрудников, которые уважительно, почти вдохновенно переступили замечательным марочным «Черным доктором» – им явно не было никакого дела до геополитических страстей. Как, впрочем, и всех иных.

– Прошу извинить меня, Антон Андреевич, – тихо проговорил Шаталов. – Однако Вы напросились. И с чрезмерным усердием. У меня нет выхода. Я просто обязан пойти навстречу Вашей настойчивой просьбе. И дать на нее полноценный ответ.

Георгий Владимирович неспешно, отчетливо, но вовсе не сильно, просто-таки с чрезвычайной аккуратностью опустил свою ладонь на розовощекое пространство доцента Смышляева.

– Это рукоприкладство вам так не пройдет!.. – голосом, переходящим от первоначального вскрика к глухому, неясному шепоту, произнес Антон Андреевич. – Свидетелей Вашего отвратительного поступка здесь более чем достаточно, милейший! Ждите народного гнева!

Однако тот не состоялся. Более того, сотрудники кафедры, тотчас начавшие один за другим очень неспешно выходить в коридор, посчитали необходимым на прощание со всей очевидностью уважительно пожать руку профессора Шаталова.

Тот отвечал, смущенно недоумевая:

– Я же человека ударил...

– Вы подлеца поставили на место! – раздавалось в ответ.

В итоге Смышляев всему произошедшему хода не дал, более того, он вскоре перевелся на другую кафедру. Говорили, будто бы Шаталов прилюдно просил прощения у Антона Андреевича, а тот чуть ли не со слезами признался, что вся вина за ним и что его определенно занесло на волне обостренных переживаний за беды, свалившиеся на голову нынешней, усеченной ковидом, цивилизации.

Как бы там ни было, Георгия Владимировича днями видели в рамонских Чертовцах. Но привлекли его в это село не тамошние достопримечательности. Такие, скажем, как старинный дворянский дом Тулиновых-Толстых, его четыре массивные колонны в стиле былого классицизма, прекрасный графский парк или знаменитая Баркова гора.

Шаталов время от времени приезжал сюда, чтобы исповедаться в здешнем, почти трехсотлетнем храме во имя Архистратига Михаила, называемом многими белым каменным цветком здешнего села. На этот раз Георгий Владимирович провел в храме почти полтора часа, вдохновенно общаясь с ныне здешним настоятелем, своим старинным университетским другом, а теперь отцом Сергием.

Неизвестно, о чем они говорили, да и нет смысла докапываться, но одно понятно, что это была далеко не встреча однокашников. После нее Шаталов еще долго бродил вокруг храма по здешнему кладбищу, переполненный волнующей глубиной осознания высшего смысла жизни, каким его всегда одаривала встреча с отцом Сергием. Хотя говорили они о предметах разных, порой касались самых, казалось бы, бытовых мелочей, но из всего этого, как поднимается из чернозема стебель пшеницы или ржи, поднималось для Георгия Владимировича понимание вселенской значи-

мости всякого каждого человека, ибо пропавших людей не бывает.

Как обновленный, как впервые видящий этот мир Георгий Владимирович потом еще долго стоял на Барковой горе, вглядываясь в аховские безбрежные лесные дали за рекой Воронеж, среди которых первостатейно торжествовали осенние тяжелоцветные, горделивые красно-бордовые и золотисто-серебряные сполохи.

Вернувшись домой, Георгий Владимирович прямо в обуви, нахватавшейся подошвами осенней грязи и листьев, в мокрой шерстяной шапочке, в столь же мокрой блестящей ветровке поспешно направился к книжным стеллажам.

Тут он без долгих поисков, на раз, с особым почти-тельным чувством вынул из тесных рядов книгу святителя Луки Войно-Ясенецкого «Я полюбил страдание...» На ее затертой обложке, на замятых страницах во всей очевидности присутствовали признаки того, что сей труд далеко не из тех, которые залеживаются не востребованными. На форзац-листах, на полях было множество цитат, в разное время старательно вписанных сюда Георгием Владимировичем с помощью самых разных подручных средств, какие только попадались ему под руку: когда любимая чернильная перьевая ручка Паркер, когда обычная шариковая, а то и вовсе карандаш, простой или цветной, иногда фломастер.

Георгий Владимирович не сразу нашел еще остающееся свободное место и, пусть накосо, мелкими буквами записал так взволновавшие его в сегодняшнем разговоре с Заруцким слова батюшки: «Вера в Бога помогает сохранить связь земного и небесного, придает существованию человека смысл».

Шаталов машинально перекрестился. Да, он не был атеистом. Как известно, подобное состояние жизни без веры невозможно для нормального ученого, а он именно таким и был. Ибо в поисках высшего научного смысла в той или иной области, если настойчивому усердному исследователю повезет глубоко копнуть в верном направлении, присутствие божественного начала само собой вдруг ощутимо объявится перед его растерянным взглядом. Иногда так

ярко, волнующе-радостно, что оторопь берет. Как тут в этот миг без вдохновенной молитвы?!

Чем же провинилось ныне человечество, какой грех, не подлежащий замаливанию, свершило, что ему теперь так наглядно, во всей очевидности приходится видеть нелепый кульбит, когда ныне страны, некогда спасенные нами от фашизма, этот фашизм в его новом обличи сделали своей сущностной основой наряду со своими принципами похотливой свободы?

Словно в поисках ответа на этот сакральный вопрос Шаталов бережно взял в руки фотографию деда Ильи. Эдак в году одна тысяча девятьсот семнадцатом некий фотограф запечатлел Илью Захаровича на венском салонном стуле в парадной унтер-офицерской форме с Георгиевскими солдатскими крестами 4-й степени. Весьма достойно и благопристойно сидел этот потомок яицких казаков, скрестив отменные натуральные яловые сапоги, улыбочиво морщинистые. Ко всему пошитые по строгому правилу именно на прямой колодке и подбиты, как положено, березовыми гвоздями. Высоколобый, раскидисто бородатый и густо усатый дед важно опирался на боевую саблю в посеребренных ножнах. Глядел на внука через многослойное вспученное время с поучительной уважительностью и одновременно – заботливым добродушием.

От этого снимка Шаталову-внуку всегда было трудно оторваться. В том виделось немало столь сложных и неразгаданных смыслов, много такого, что по новой открывает тебе самого себя и большой, требовательно испытующий мир вокруг.

Унтер-офицер Илья Шаталов, в миру столяр-краснодеревщик, умер примерно через год после Октябрьской революции, в двадцать лет, отравленный немецким ипритом в окопах Первой мировой.

Само собой, внук реально, вживе деда никогда, кроме как на этом снимке, не видел. А вот жену его, девяностовосьмилетнюю бабушку Анастасию, как-то довелось, когда гостил у отцовой сестры, тети Кати, в Касторном-Восточном лет сорок назад. Даже сподобился тогда Георгий Владимирович бабушку Анастасию, махонькую худышечку,

легкости чуть более пера гусиного, перенести с дивана на кровать. Почему-то ему тогда на миг показалось, что если бабушка Анастасия еще на минуту-другую задержится в его руках, так они вместе с ней запросто могут вдруг взлететь и начать плавно, зачарованно кружиться над родными ей местами, все более и более набирая небесную высоту.

«Володенька, не урони, неси аккуратней, Володенька...» – шептала бабушка на руках у Шаталова-младшего голо-сочком с особыми, как бы уже неземными высшими интонациями, какие разве что от монахов можно услышать, кои на пути к спасению уже прошли немалый путь скорбей, тягот, лишений и поношений.

«Я Георгий, я Жора, внук ваш», – аккуратно переубеждал бабушку Шаталов.

«Хорошо, Володенька, хорошо. Как скажешь...» – смиренно улыбнулась бабушка не только всем лицом, улыбнулась и голосом, и всем тельцем своим невесомым.

Так бы и шел с ней на руках и шел поныне Георгий Владимирович по жизни, и никаких бед в мире тогда бы не случилось, не посмели бы они, эти беды, перед бабушкой его Анастасией в дерзости и наглости так борзо объявиться.

Обратно в день нынешний Георгия Владимировича требовательно вернуло внезапно охватившее желание побыть на могиле Ильи Захаровича. За все свои семьдесят лет, как промелькнувшие мимо за окном вагона, он там ни разу не появился. Не свелось как-то... Но вот, наконец, накатило неумемно: надо ехать, не откладывая. Не то время на дворе, чтобы оставлять на неконкретное завтра дела и заботы первостатейные. Жизнь неимоверно ускорилась, словно во Вселенной чьей-то волей установилось новое, скоротечное время. И понесло тебя, как санки под горку в детстве со снежно-льдистого крутого уклона с непременными ямами – со скрипом, болтанкой и строго стегающим по лицу сердитым морозцем.

Ехать предстояло Шаталову как бы не далеко, но и не близко – километров сто двадцать до хутора Пятиизбян-го в Липецкой области, ныне доживавшего с тремя последними жителями свое окончательное время возле тощей речушки с весьма характерным поименованием – Косой

ручей. А где и когда в землях русских вы, господа хорошие, видывали имя обжитого народом нашим места, чтобы оно звучало сухо, без особой, только ему одному присущей изюминкой? Обязательно будет оно с любой стороны эдакое мудрено-замысловатое, с озорным или заумным вывертом, с явленными в нем наружно или сокрыто многослойными непростыми смыслами: то ж Дракино, Бабка или Чулок, а в черед за ними пусть явятся, скажем, Нехаевка да вкупе с ней Воля, а от них завернем в ту сторону, которой нам никак миновать нельзя, потому что там нас встретят Банное, Заброды, а далее пойдут чередом то Коренное с Мужичьим, то Веселое с Городищем. И в плюс к ним дорогое русскому сердцу Забугорье или сельцо с исторически знаменитым, но ненашенским прозванием – Парижская Коммуна. Несть им таковым числа на земле нашей родной, чем ее радость и важность достойно укрепляются. Плетью не перешибешь прозвание любого русского сельца или деревеньки, начиненные особой значимости в своих именах судьбийными живыми смыслами былого эпохального облика, нынешнего напряженного раздора и смутного будущего, – все одно будут они жить-помниться вечно и славно.

Навигатор или, точнее, некая навигаторша с заботливым красивым голосом старательно привела «волжанку» Шаталова к тому месту, откуда, как он определил еще дома по карте, от главной трассы прерывистой ниточкой отпадает проселочная дорога к Пятиизбянному. Возможно, когда-то она и была достаточно сносной грунтовкой, но сейчас представляла из себя самую настоящую черноземную размазю.

Слева и справа от такого гиблого пути, наверное, способного утопить в себе и танк, мрачным черным гуртом раскинулись до самого горизонта многие гектары мертвенно усохшего подсолнечника. Как видно, тяжелые долгие дожди этой осени, как никогда расположенной к плохой, даже гадкой погоде, не позволили уборочной технике выйти в поле. Одним словом, битва за урожай закончилась здесь полным провалом, еще не начавшись.

Так что автодорожные возможности награжденной хромированным стремительным оленем «волжанки» Георгия

Владимировича были очевидно ничтожны перед подобными вселенскими хлябями.

– Сверните налево, а через триста метров сверните направо! – праздничным бодрым голосом повелела Шаталову смартфоновская навигаторша.

– Да я здесь голову себе сверну! – в ответ ей натужно вскрикнул Георгий Владимирович, но тотчас озадаченно вздохнул и проговорил с очевидным смущением: – Прошу извинить меня за невольную резкость, но тут нужен вертолет. Не менее того!

Он не шутил и не забавлялся, объясняясь со штурманом из навигатора как с реальным человеком. Лет через пять после смерти жены Георгий Владимирович начал общаться с Алисой и женским голосом навигатора, словно с живыми. Вначале как бы в шутку, для, так сказать, юмора, без которого жизнь одинокого семидесятилетнего мужика явно закиснет, а потом, погодя, незаметно втянулся в сей забавный процесс каляканья с электронными устройствами, пока и вовсе с полной охоткой к нему не пристрастился.

Суматошные, жесткие хлопки старого тракторного движка вдруг взрывчато прозвучали над бескрайним панцирем неубранного из-за дождей и теперь мертвого скукоженного подсолнечника.

В сторону «волжанки» судорожными рывками подвигался гусеничный легендарный ДТ-75. Тот самый, который из-за достаточно объемного топливного бака на левом боку получил в народе специфическое прозвание «Почтальон». Покинув лет пятьдесят назад заводские ворота эдаким румяным бодрячком, благодаря красному окрасу, он сейчас был основательно облупленный, какой-то измордованно покорезженный из-за своей непростой сельскохозяйственной доли. Одним словом, трактор-старик, как у нас и полагается, выглядел замороженным донельзя.

За старым, угрюмым ДТэшкой судорожно телепалась с металлическим грохотом и кляцаньем раздолбанная кривобокая колесная тележка. Самих ее колес, вернее, лысых старых покрышек, из-за глубины грязевой хлюпающей трясины видно не было. Она точно плыла по некоему густому вязкому морю. В ней у бортов в отчаянном напряжении на

корточках притулились несколько человек, явно желавших одного: не вылететь наружу вверх тормашками напрямик в емкое черноземное тесто.

Наконец настырно упорный, мужиковатый трактор, в пух и прах разрывая полевую грязюку, нахраписто и несколько кособоко, но, при всем при том, победно взрыкивая, дергаясь судорожными рывками, так-таки вывалился на главную дорогу.

Вдруг стало столь тихо, что можно было услышать, как в потревоженном черноземном месиве сочно лопаются грязевые пузыри.

– Здравствуйте, люди добрые! – порывисто, со всей своей мудрой профессорской вежливостью прокричал Георгий Владимирович в сторону людей, которые мучительно выбирались сейчас из тракторной тележки.

Ни стоять нормально даже на ровном месте, ни слово вымолвить в ответ они явно не могли. Только глазенками слезливыми судорожно помаргивали. Такая поездка, как говорится, душу из каждого вытряхнула. Теперь жди, когда она вернется восвояси. И вернется ли?..

Здесьшний разномастный народ, одетый во что ни попало, лишь бы задницу как-то прикрыть, ошалело и тупо глядел на высокую, элегантно тощую фигуру заведующего университетской кафедрой. Ухоженный, в заграничном черном кожаном пальто стотысячной стоимости и ненамного более дешевыми трендовыми полуботинками «Оксфорд», Шаталов, на фоне не попадающих зуб на зуб пострадавших пассажиров тракторной тележки, напоминал самое настоящее явление народу олигарха.

Георгий Владимирович широким жестом показал в ту сторону, откуда, словно из небытия, только что объявился безотказный и непрехотливый ДТ.

– Скажите, пожалуйста, там ли хутор Пятиизбянный? Или я по незнанию глубоко ошибаюсь в этом вопросе? – аккуратно проговорил Шаталов, явно стесняясь перед этими людьми своих профессорски складных и витиевато-мудреных интонаций.

Ощутившие, наконец, под ногами твердую непоколебимую основу пассажиры тракторной тележки глядели

на него с такой почти детской растерянностью на своих измученных, перекореженных лицах, потерявших всякие человеческие признаки, что ему показалось – еще минута, и эта толпа растворится в воздухе, истает, потому что живет насильно там, где нормальному человеку быть вовсе не полагается. Они виновато и недоуменно пытались понять, что сейчас так высокопарно проговорил им этот странный немолодой мужик из черной, начальственным блеском сияющей «волжанки».

– Ну, там Пятиизбянное... А чего тебе?! – вдруг резко, бдительно отозвался за всех пожилой, строго подозрительный тракторист. Как будто отечески заступился за своих, им же измученных пассажиров.

– Я еду на тамошнее кладбище, – поспешно объявил Георгий Владимирович. – Хочу посетить могилку своего дедушки Ильи Захаровича Шаталова.

– Мы только что оттуда, с похорон. Последнего пятиизбяшника земле предали... – вздохнул тракторист и трижды усиленно высморкался, резко отвернувшись от растерянно моргавшего Георгия Владимировича. – Видал, как мы ехали, будто по штормящему морю рыскали? Твоя раритетная краля здесь всю свою красоту враз попортит. Да и сам ты нужную могилку никак не сыщешь. То, что когда-то называлось тамошним кладбищем, давно кончилось. Все кресты погнили, все холмики тамошние сравнялись с землей. В общем, заворачивай оглобли подобру-поздорову.

– Понял, понял! Извините... – взволнованно, виновато отозвался Георгий Владимирович. – Зря, выходит, ехал? Нет, так не пойдет. Это неправильно будет. Я обязан найти какой-то выход из всей этой фантазмагории! – Шаталов внимательно огляделся по сторонам. И его, кажется, осенило: – Условия вроде не подходящие... А коли других нет? И может быть оно и хорошо, что так, что именно так. Словно как символ всего доброго и прекрасного, но порушенного! В общем, господа, я предлагаю нам здесь и сейчас коллективно помянуть моего деда!

– Оно вроде и ничего... А почему бы нет? Если с душой, так по уму и будет все нормально... – снисходительно усмехнулся тракторист и вдруг отчаянно-весело, чуть ли не в

крик гордо запел торжествующим, маршевым голосом. Голос был красивый, легкий на подъем, раздольный и счастливый:

*Вновь богачи разжигают пожар,  
миру готовят смертельный удар.  
Но против них миллионы людей:  
армия мира всех сильнее!*

Мотив этот и слова были хорошо знакомы Георгию Владимировичу. Он в детстве всегда пел ее (вернее, кричал взахлеб) с табуретки перед родительскими гостями на День Великой Октябрьской революции. Оно и запомнилось невольно на всю жизнь. А всего остального словно и не было. Ни в чьей жизни...

– Прошу всех к моей машине! – когда умолкла песня, взволнованно, со слезой проговорил Шаталов. – Я достаточно взял и водки хорошей, и хорошей закуски.

Водка и закуска, в самом деле, оказались отменные. Особенно если учесть, что они, как на волшебной скатерти-самобранке, объявились в щедрой множественности среди здешних бескрайних мертвенно-черных полей. Казалось, они, эта толпа, последние люди на этой планете. И помянут с поклоном некогда бывшую на ней жизнь...

Тракторист, весело поморщившись, главенственно оглянулся на своих ездоков.

– Что скажете, народ?

– Оно бы не помешало... – тихо, глухо отозвались люди, словно медленно возвращаясь к жизни.

Некоторые как бы и улыбнуться хотели такой счастливой дармовой оказии, но ни у кого толком это не получилось. Как бы там ни было, но достойным поминкам не помешал ни вдруг напористо развернувшийся среди вольных просторов крученный-верченный ветрила, ни вновь рухнувший ядреный дождь: наш человек способен достойно помянуть в любых, самых неблагоприятных обстоятельствах, как погодных, так и иных прочих.

...Возвращаясь, уже у подъезда, как бы вдруг самостоятельно и предупредительно открывшего ему свою тяжелую

металлическую дверь, Георгий Владимирович неожиданно увидел в проеме человека. Вернее сказать, солдата.

Кто только не выходил за последние шестьдесят лет из этого дома. Само собой, жильцы, родня или просто знакомые, потом же почтальоны, слесари, разные мастера на все руки, а также полиция, врачи, и даже однажды их посетил перед выборами самый настоящий депутат областной Думы.

Солдат в эти двери вышел впервые. Правда, прежде пропустив вперед себя задиристо, отчаянно счастливую девушку. Это была Аня из здешней шестнадцатой квартиры. Из себя вся такая очень даже миленькая и ко всему романтично, пылающе-рыжая. Отец ее нигде не работал и устойчиво пил, мама была главным бухгалтером в какой-то религиозной секте – вся из себя строгая и поспешная, она держалась особняком, как и полагается человеку, достигшему доступа к высшим силам и странного происхождения немалым деньгам.

– Здравсьте... – дерзко проговорила Аня, не переставая вызывающе улыбаться.

Кажется, более огорченной и одновременно словно бы назло всем отчаянно счастливой девушки Георгий Владимирович до сих пор не встречал.

– Здравствуйте! – вежливо, но строго, почти сурово проговорил солдат Шаталову.

Георгий Владимирович тотчас узнал в нем Гришу из той самой квартиры, которую ему недавно пришлось посетить среди ночи.

– Простите еще раз за все, что тогда произошло. За Джека простите... – глухо проговорил солдат Гриша.

– Здравствуй, дорогой... – растерянно отозвался Шаталов, как бы даже любясь сейчас этим молодым человеком в новой и так серьезно смотревшейся на нем военной форме.

– Я повторно повестку получил. Понимаете какую. И больше не стал чудить. Это наша с Вами тогдашняя встреча так сказалась. И смерть Джека. Вот идем сейчас с Аней в загс. Мы два года встречались, а теперь решили перед моим отъездом в Донбасс больше не откладывать на потом! –

строго сказал Гриша. С особенной, суровой интонацией на слове «потом».

– Я так счастлива! – чуть ли не со слезами, правда, несколько не похожими на слезы счастья, атакующе вскрикнула Анята.

Да, явно весь мир был виноват перед ней. А если это так на самом деле?

– Быть добру! Милые вы мои! – емко, душевно отозвался Шаталов и хотел по-мужски хватко обнять Гришу, но как-то это у них не получилось. Наверное, потому что сзади нетерпеливо напирала молодежь, спешившая проводить будущих молодых супругов в загс.

Так что Шаталов и Гриша ограничились основательным мужским рукопожатием.

– Хватка у вас еще мощная! – уважительно сказал Гриша. Георгий Владимирович уныло отмахнулся.

Кстати, Шаталов недавно читал на новостном сайте, что воронежские загсы в связи со спецоперацией увеличили время своей работы и за несколько дней в экстренном порядке уже зарегистрировали более восьмисот браков наших девушек с мобилизованными. В любом случае, это число небывалое, многое что о себе говорящее.

«Здорово! По-настоящему! По-нашему! – с восторгом подумал Шаталов. – Как тут таких наших невестушек с подвигом декабристок вровень не поставить?!»

В подъезде Шаталов мельком глянул на свой почтовый ящик. Уже достаточно давно в том ничего не было. Раньше туда вполне активно всякие разные разносчики прессы и квитанций совали ни для чего не годящиеся газеты, брошюры. Теперь как отсекло. Все и вся переместилось в Интернет, а также на стены возле подъездной двери.

Тем не менее на этот раз в его ящике нечто смутно белело, заявляя о себе через три специальных отверстия в металлической дверце.

«Что это может быть? – безразлично подумал Георгий Владимирович. – Чушь какая-нибудь несусветная. Пусть там и валяется. До морковкиной загоди».

Только он, пройдя вверх первый пролет, вдруг так-таки остановился.

«Я ничего не жду? Кажется, нет. А из Москвы? Из министерства? Может, какому-никакому иногороднему диссертационному совету я вдруг ни с того ни с сего потребовался? Маше явно и в голову не придет слать отцу письма. Она, наверное, уже ручку разучилась в руках держать».

Он хотел идти дальше, но, напряженно выдохнув, так-таки медленно вернулся назад.

«А вдруг все-таки Маша мне что-то настрочила, не доверяя Интернету?»

В узком пространстве почтового ящика, свернувшись трубочкой, лежало нечто из весьма плохонькой второсортной бумаги. Таких неприглядных с виду извещений Шаталов отродясь не получал.

Он чуть ли не с брезгливостью развернул бумажку. Выглядела она при всем при том по многим признакам достаточно официально.

Это оказалась повестка. И это была повестка из военкомата, предписывающая Георгию Владимировичу Шаталову незамедлительно явиться в районный комиссариат.

«Интересно, интересно... – напряженно подумал профессор. – Чем я могу им быть сейчас полезен? Неужели туда уже нужны и бывшие полковые библиотекари?.. Или профессора потребовались? А почему бы и нет?»

Кто бы видел сейчас со стороны его короткую, почти мгновенную и явно глуповатую улыбку!

Повестку, вообще-то, должны были под роспись вручить лично ему. Шаталов это знал. Так что он имел полное право на такой документ из военкомата никак не реагировать.

«Нет-нет! – тотчас одернул он сам себя. – Глупости! Там у людей сейчас запарка. Какие претензии можно к ним предъявлять? Разве что посочувствовать. Конечно же, я пойду. Не пристало мне подленько цепляться за буковку закона. Меня сегодня вон целый день не было дома! На могилу к бабушке ездить изволил. Вот бы этот человек из военкомата сидел на холодных ступеньках в подъезде и ждал невесть чего, как Аленушка на картине Васнецова. Пойду, пойду! Немедленно. Если это и ошибка, надо все равно помочь им разобраться. А как вдруг я так-таки нужен там?»

Хотя бы как человек, знающий все об авиационных двигателях! Это мой долг! Как ни умалю – священный! В конце концов, я присягу давал!»

Немедленно пойти не вышло. На дворе вечер, на седьмой час время перетекло.

Утром он прямой прямого эдаким молодцом стоял в кабинете ректора и восторженно рассказывал тому подробности всех обстоятельств с повесткой, включая, естественно, эксклюзивное поминание деда Ильи на границе какой-никакой цивилизации и непроходимого матерого черноземного океана.

– Не горячитесь, дорогой Георгий Владимирович. Не горячитесь... – время от времени, пусть и сдержанно, но при всем при том наставительно говорил ректор. – Я все сам улажу. Не рвитесь в бой! Наши полковники с военной кафедры позвонят в военкомат и по-свойски недоразумение с вашей повесткой снимут раз и навсегда.

– Простите, дорогой Леонид Леонидович, а вот это делать как раз нежелательно! Весьма нежелательно... – вновь и вновь загорячился Шаталов. – Возможно, это мой последний шанс! Почувствовать себя причастным к священным заветам предков! Родина – мать, умей за нее постоять! Леонид Леонидович! В мои-то годы почувствовать себя полезным в борьбе с безумным врагом!

– Я разберусь, разберусь сам... – строго-сосредоточенно отвечал ректор.

Когда Шаталов шел к себе, почти никто его в университетских коридорах не приветствовал: его просто-напросто не узнавали. Георгий Владимирович шагал с непривычным для него счастливым напором, а по лестницам взлетал вприпрыжку, играючи – студентов на раз оставляя позади.

Когда Шаталов вертко, взвихренно вписался в емкое пространство аудитории, никто из его студентов, собравшихся на лекцию о влиянии сверхзвука на конструкцию самолета, не поспешил встать. Все посчитали, что это какой-то посторонний преподаватель с другой кафедры к ним случайно заскокочил. Как им было угадать своего любимого неспешного семидесятилетнего профессора, когда некто с юношеским румянцем на щеках и острым, прицельным взглядом не во-

шел в аудиторию, а вбежал, еще точнее – влетел, дерзкими зигзагами паря над ковровыми дорожками.

Перед дорогой домой Георгий Владимирович под напористым озорным влиянием переполюнявившей его молодецкой, нет, даже мальчишеской активности оставил «волжанку» на университетской стоянке. Он выбрал себе для обратного пути любимую с давних пор, еще студенческих, дорогу – через здешний немалый о двенадцати гектарах дендропарк, нынче весь дерзко-рыжий из-за скрюченной жесткой листвы осенних каштанов. Они просто-таки металлически скрежетали под ногами.

Вдруг на пути у Шаталова над головой золотисто-черная белка стремительной дугой юрко перелетела на зависть всем цирковым мастерам с одного дерева на другое.

Он не удержался и побежал ей вслед. Она как бы играючи вела его в самую загадочную, чуть ли не таинственную парковую глубину. Как в иной, неведомый и такой заветный мир...

Белка не унималась и напористо, бросок за броском пронизывала парк своими азартными прыжками. И Шаталов, увлекшись, не отставал от нее. Пробежав так с полкилометра, он, наконец, сбавил свой напор и прощально устало помахал белке рукой.

Шаталов, лихорадочно отдуваясь, сел перевести дыхание на холодную мокрую скамью. Еще и отодвинул в сторону от себя как видно оставшиеся после студентов пивные банки и пачку недоеденных чипсов.

Он откинул голову и улыбнулся небу...

Так, улыбающимся, его следующим утром и нашли в парке спешившие на первую пару студенты из здешнего общежития. Несмотря ни на что, замершая на лице Георгия Владимировича улыбка выглядела живой и монументальной.

Узнав об этом печальном событии, военком, учитывая повестку, присланную Шаталову по нелепой ошибке, распорядился похоронить профессора на главном городском кладбище с воинскими почестями. С троекратным ружейным салютом.

И тот грянул...

# СОРОК ДОМАШНИХ КОШАКОВ

Повесть

На днях на излете городского июня Инна Фабрицкая, классического ягодного возраста сорокапятилетняя вдова, – креативный директор воронежского филиала фармхолдинга «Меркурий», – разослала своим родным и близким траурные приглашения на ее поминки. Само собой, прижизненные. В дачном трехэтажном особняке Инны на берегу славного стремительного Дона. Если открыть приглашение, тотчас раздаются звуки моцартовского «Реквиема», кстати, уже очищенного от правок и фрагментов других композиторов.

*Праведный Судия отмщения,  
Даруй прощение  
Перед Днем Суда...*

Озадаченная званная публика собралась без опозданий: президент меркурианского холдинга, образцово ухоженный Юрий Бельский, дерзко стремившийся выглядеть на двадцать пять при своих пятидесяти трех; сокрушительных объемов капитан Росгвардии Дмитрий Горяинов – двоюродный племянник покойного мужа Инны, провинциального строительного олигарха, а также ее пасынок Миша Щеблыкин, помощник депутата облдумы, – пылко румяный, с вороным жестким чубом, перспективно державшийся со всеми как самый настоящий спикер; далее – деловито-суровый крестный отец Инны Иван Хохлов, завгар воронежской горадминистрации. Завершала мужскую линию этой компании неразлучная приятельская пара: внебрачный сын мужа Инны – редактор местной газеты «Твоя жизнь» Игорь Бояринов, малый лет тридцати, со смутным семейным положением, а также его приятель – нотариус Аполлон Орлов-Алябьев, возраста неопределенного, но явно незрелого. К числу родственни-

ков и близких друзей Инны он формально не принадлежал, однако обладал такой особой настырной навязчивостью в отношениях, словно все человечество состояло с ним, так или иначе, в тесной родственной связи. Особое место принадлежало приглашенному по случаю батюшке Григорию, молодому, очень застенчивому, так ни разу и не поднявшему лысеющей головы с кучей косичкой. Отсутствием каких бы то ни было комплексов среди гостей броско выделялась кухня Инны – хозяйка известного в городе автосалона Ирочка, дочь генерала ФСБ Владимира Великолепова, сейчас, в своем третьем замужестве, Воробьева. Красиво полная, с короткой матовой стрижкой и твердым напористым взглядом успешной деловой женщины. Одного года замужества с двадцатилетним Виктором Воробьевым ей хватило, чтобы осознать полное разочарование в очередном муже. Кстати, его мелкая птичья фамилия последнее время унижала ее до истерики. С первого взгляда на Виктора Воробьева каждый отчетливо видел: перед ним человек неудельный и без какой-либо перспективы. Одним словом, Ирина уже подала на развод, но, не дожидаясь государственного оформления статуса «разведенки», стала везде открыто появляться на людях с капитаном Росгвардии Горяиновым, по-гусарски услужливым и в ухаживании азартным.

Однако на этот раз Инна особо настояла, чтобы Ирина пришла с мужем. Выбрав компромисс, она пришла и с тем, и с другим. Да, Витька Воробьев никак не тянул на человека их круга: заштатный автослесарь из детдомовцев и, по всему видно, звезд с неба не хватает уже только по той причине, что не ведает, где оно есть и как называется. Однако он вполне мог придать прощальному траурному вечеру Инны нужный шарм контрастом ее близящейся смерти и его молодой мужской красоты. Эдакий новоявленный Антиной, любовник из рабов при древнеримском императоре Адриане, ставший благодаря своей неотразимой внешности последним римским богом после своей странной смерти в мутных водах Канопского Нила.

Когда гости сошлись, Инна первым делом благородно села к своему раритетному трофейному немецкому пиани-

но из красного дерева. По особому случаю на ней было яркое кружевное свадебное платье, похожее на облако мерцающих холодной искрой снежинок.

– Я отныне твоя невеста смерти... – романтично улыбулась Инна Виктору Воробьеву и под шопеновский «Сад Эдема» поведала, что не так давно в ходе текущего профилактического осмотра в местной поликлинике ее анализы ошеломили врачей. Инну срочно направили в онкологический диспансер, где через пару недель ей поставили самый что ни на есть смертельный диагноз: у нее скоротечная форма рака крови, за месяц убивающая человека с самой стойкой иммунной системой. Когда в знаменитом московском Центре Блохина, куда Инна немедля прорвалась по квоте, такой приговор судьбы подтвердили, она впала в жестокое отчаяние. Но оно длилось недолго: ею вдруг внезапно овладело лихорадочное, просто-таки яростное желание сотворить из своего скорого ухода в небытие вселенское праздничное шоу. Для начала Инна загорелась устроить свои поминки прежде похорон, чтобы при жизни услышать о себе все те замечательные слова, какие обыкновенно произносятся застольно лишь после исполнения крайних кладбищенских ритуалов. Это был с ее стороны удачный креативный ход, чтобы на шаг, но опередить смерть. Вернее, сделать ее как бы частью своей жизни, и тем самым примирить эти два великих противоречия.

Реальность такой ее философской затеи убедительно подтверждал язычески-православный натюрморт на столе: полное отсутствие вилок, а ложки лежали, как и полагается на поминках, перевернутыми. Само собой, каждого ждала для зачина традиционная малоаппетитная рисовая кутья, ржавые холодные оладушки с медом, противно пахнущие подсолнечным маслом, и жидкая куриная лапшичка. Во главе длинного гостевого стола с витыми белоснежными ножками стоял очаровательный портрет Инны с ажурной черной лентой.

Хозяйка весело-дерзко оглядела гостей.

– А сейчас я бы хотела, чтобы наш уважаемый батюшка Григорий справил по мне поминальную панихиду. Попросту

говоря, отпел рабу Божию Инну. Гроб ждет меня в соседней комнате, и я тотчас возьму в нем с соответствующим духовным выражением на лице. Гости, само собой, после отпевания поцелуют меня. Можно по традиции в лоб, но я не вскрикну, если чей-то поцелуй окажется в губы. Прежде всего, я имею в виду нашего древнеримского красавчика Витеньку!

Батюшка торопливо встал и огляделся так, словно не понимал, где находится. Он взволнованно вздохнул:

– Извините, такую требу ныне исполнить никак не могу в силу разных важных обстоятельств и прошу извинить меня, что немедленно покину по неоторимой необходимости ваш гостеприимный дом.

Тем не менее, Инна подошла к нему принять благословение и была машинально бегло осенена крестным знаменем. Поцеловать руку батюшки Григория Инна, однако, не успела, так как тот уже удалялся более чем стремительно.

– Что, святой отец, серой у нас воняет?! – красивым, емким баритоном пропел ему вслед журналист Бояринов, Игорек. – Так это ваш Апокалипсис надвигается! Кранты человечеству! Оставайтесь, батюшка! Ради познания глубин жизни! Вон вы и туфельки никак надеть не можете от возвышенного смущения! Я утрою ваш гонорар! Этого мусора у меня достаточно!

Инна машинально вдохнула мутный, чуть горячий аромат ладана, что кудряво тянулся за отцом Григорием, вдохновенно перекрестилась и безобидно шлепнула Игоречку по щеке, по-родственному так.

Бояринов бодро засмеялся, как будто его особо и значимо отметили.

– Со святыми упокой... – надрывно усмехнулась Инна. – Целование в венчик будущей покойницы отменяется... Но хотя бы представьте себе такую картину: батюшка отпел меня, уже прозвучала разрешительная молитва... И вы, милые друзья, оставив меня упокоенно лежать в могильной яме, печально сойдется для поминок, скажем, в кафе. Я об этом заранее позабочусь! Так что в очень приличном кафе! Думаю, что наша знаменитая «Ромашка» всех устроит... Кстати, я попросила, и мне администрация «Ромашки»

пошла навстречу за хорошую сумму, чтобы на один день цветочное название этого кафе заменить на суровую латинскую мудрость, которая до слез трогает меня: «Мemento море»!

Инна словно бы нырком глянула в сторону окна. Батюшка Григорий, ссутулясь, с торопливым подскоком спешил в сторону своего салатного «запорожца». Кажется, батюшка разговаривал сам с собой. По крайней мере, он то и дело жестикулировал. Хотя, скорее всего, некую очистительную молитву читал и крестился наспех. Сутулый серпик луны вежливо прислушивался к нему.

Тотчас откланялся и Юрий Бельский, сбивчиво сославшись на внезапный приезд неких важных иностранных партнеров.

– Простите, простите, простите... Виват всем! – чуть ли не бегом попятился он в сторону двери, усиленно моргая своими наивно-дерзкими голубыми глазками.

Остался самый узкий круг.

– Над городом очаровательное лето! – призывно воскликнула Инна. – В ваших головах – мечты о скором отпуске. И все-таки, как я задумала, давайте проведем экспромтом короткую репетицию моих поминок. Итак, милые, представьте, что я честь по чести похоронена. Могильный холмик сотворен. Вы, наконец, утомленно устроились за столом... Лица ваши печальны... И зря! Я повелеваю вам поселиться на моих поминках на всю катушку!

Кто-то жестко, трескуче скрипнул зубами, будто металлом металл корябал. Как видно, капитан Горяинов от души расстарался.

– Но, уверена, вы прежде всего захотите сказать обо мне добрые слова! А какие – я сейчас и хотела бы услышать... Очень хотела бы. Порадуйте мою душу и сердце! Врать не стесняйтесь! Лишь бы классно прозвучало!

Инна села и принялась нервно обмахиваться салфеткой. Кажется, ей в самом деле было небезразлично, что она сейчас услышит о себе.

– Очаровательная! Щедрая! Эротичная! Неповторимая! – наперебой нервно заговорили гости.

Будущая покойница, слушая их, живо менялась в лице от девчоночьего румянца до юношеской бледности, от жен-

ского строгого смущения к девичьему озорному трепету, а то и вовсе явному детсадовскому ликованию.

– Достаточно, милые мои, хорошие, родные! Достаточно... А то я на постамент какой-нибудь или, на худой конец, на табуретку прямо сейчас влезу и стану вечным памятником! – взволнованно выдохнула Инна. – А мне еще помирать надо.

Инна победно вознесла над собой игривый бокал саксонского живого хрусталя с чем-то розовым, итальянским, кажется, мартини.

– Итак, господа, а теперь прошу вас на прощание по очереди рассказать без стеснения и ужимок какую-нибудь самую невероятную историю, связанную со смертью. Близкого вам человека или дальнего – неважно. Главное, чтобы до дрожи всех нас пробрало! Покажем смерти, господа, кузькину мать! – Инна усмехнулась, почти высокомерно.

Гости с неловкостью переглянулись.

– Так кому не слабо первым?! – нахмурилась Инна.

Дмитрий Горяинов, у которого даже на гражданских плечах пиджака всегда словно бы проступали офицерские звезды, как по команде, встал первым:

– Военный человек всегда со смертью на «ты»... – глухо, разгонно проговорил капитан. – В общем, я тогда в ВДВ служил... Перед второй чеченской... И как-то зимой в январе были у нас плановые учебные прыжки. Дело обычное. И все же после них «батя», наш комполка Илья Прохорович Дубинин перед обедом всегда велел из его особого резерва налить всем по сто граммов спирта и в обязательном порядке выставить к простой солдатской жарчке интеллигентские масла. Поговаривали, что у него к ним было какое-то особое пристрастие.

– А можно, товарищ, покороче?.. – сияя пламенным румянцем, словно создающим вокруг его начальственного лица ауру неистощимого детства, почти подростковым ломающимся голосом попросил помощник депутата Миша Щелькин. – Или, может быть, утвердим регламент?!

Горяинов торжественно-печально сложил руки на груди.

– По устоявшемуся обычаю, на учениях «батя» прыгал первым... Так было и в тот раз. Прыгали из-за низкой облучности почти с критичной четырехсотметровой высоты.

Миша Щеблыкин печально, почти женственно улыбнулся. Журналист Бояринов с жесткой чеченской бородой и рыженький стильный модник нотариус Орлов-Алябьев курили на балконе с мальчишеским азартом новоявленные электронные сигареты, превратив свои рты чуть ли не в жерла проснувшихся вулканов. Но оба через приоткрытую дверь тоже прислушивались к капитану. Тот никогда не говорил пустых слов.

Горяинов отчетливо, вдохновенно перекрестился: словно grenадер кутузовской армии перед Бородинской схваткой.

– В общем, взлетели мы... Вышли на нужный горизонт. И сиганул наш «батя» первым сквозь облака, осенив себя крестным знаменем... без коего десантуре никак нельзя... Я прыгал следом и вдруг увидел, как из его ранца вместо парашюта трава да камни валятся. Все, задохнулся я, хана нашему отцу-командиру. И кто же ему такую подлянку устроил? За Афган? Анголу? Эфиопию? Сербию? На каких только необъявленных войнах наш «батя» не засветился...

– А перехватить его на лету было невозможно? – напряженно привстал завгар Хохлов.

– Только не при прыжке с четырехсот метров, – строго отозвался Горяинов и судорожно вздохнул. – Но небо спасло нашего «батю»! Внизу под ним оказался пологий глубокий овраг, забитый снегом. Так вот, Илья Прохорович в этот судьбой и Богом ему приготовленный овражек с одной стороны влетел, с другой – как из пушки вылетел, плюхнувшись в ближайший неубранный стожок... Полк рыдал от счастья. Даже боевые офицеры, всякой чертовщины навидавшиеся на войнах, плакали как дети малые. И я радостно выл заодно с ними... Но у судьбы свои хода! – вдруг подьемисто взревел Горяинов. – Через три дня мы хоронили нашего славного «батю»... Вот так... – покаянно завершил он и как-то особенно тихо, почтительно сел на свое место.

– Наверное, снежный трамплин оврага не очень помог вашему командиру? – хмыкнул нотариус Орлов-Алябьев из глубины бледного, слащаво-ароматного пара его раскочегарившейся электронной сигареты.

– Как видно, отбил себе, бедолага, все внутренности... – поморщившись, поддержал его Игорь Бояринов.

– Казусная составляющая вмешалась... – сухо проговорил Горяинов, на глазах бледнея. – Или высший промысел заявил о себе?.. В общем, мы тогда после такого жуткого спасения «бати» накрыли в штабной палатке стол. И наш Илья Прохорович, аппетитно закусывая после первого тоста в его честь, вдруг охнул и подавился косточкой любимой маслины. Следовало немедленно взрезать ему горло. Чтобы дыхание временно открыть. Пока отняли кинжал у часового, одуревшего от такого наглого нападения на него, «батя» скончался. Это было ужасно. Все, господа, больше никаких подробностей. К черту! Разревуся, как ребенок...

Гости уважительно притихли. Самая настоящая минута молчания вышла. Красиво так сложилось, впечатляюще, почти сурово. Точно глас небес всем волнующе послышался.

Помянули комполка соответственно его достойному статусу – стоя. Тем не менее никто из серебряных вазочек с натуральными итальянскими маслинами на этот раз ни штучки не взял, вдруг выказав явное предпочтение консервированному пупырчатому огурчику, похожему на юного крокодилчика, и мясистой щекастой помидорине.

Тут надо особо сказать, что на столе Инны было в достаточном количестве разных коньяков французского, английского или армянского происхождения с шотландским виски в плюс, но все азартно возлюбили домашнее произведение Инны на основе березового самогона – на соке мартовского первого сбора, приправленном ароматами не менее двадцати трех луговых пойменных трав. С названием простым и очень даже по-народному правильным – «Самопляс».

– Говоря о смерти, никак нельзя обойтись без философии... – вдумчиво, тихо проговорил завгар Хохлов, словно бы из глубин некоей возвышенной пространственности. – А она, зараза, более чем тесно связана с жизнью. Разрешите пример?

Публика почтительно притихла.

– Моя родная деревня Колыбелка... Известная с одна тысяча семьсот шестого года. А лет десять назад в ней уже оставались два последних жителя. Дед Буратино и евояная бабка – Буратиниха. Само собой, такое особое прозвище обретоно было через его, деда, нос особой конструкции. Очень длинный и тонкий. Так вот, тогда в районе зимой во множестве появились бешеные лисы. Охотники взялись их отстреливать: им обещали заплатить, но не заплатили. Известное дело, простой народ в своей беззащитности принял усиленно умирать от бешенства. Хватила зубом такая лиса у курятника и нашего деда Буратино. Заболел – представился. А тут местные власти приняли решение, чтобы здешний сельский люд не хоронил своих ныне множественных покойников без заключения мед-экспертизы. Чтобы избежать возможных случаев преступлений с сокрытием жертв. И повезла Буратиниха своего Буратино за тридцать кэмэ в райцентр... В одеяле завернутого, чтобы не гремел по кузову. А тамошний начальник экспертизы, оказывается, ушел в отпуск, уехал всей семьей в Таиланд. Зам в Москве на конференции. А без их подписи ставить никак нельзя. В общем, Буратинихе пришлось потом еще семьдесят кэмэ ехать с телом мужа в область. Как бы там ни было, но дело свое она сделала. Упертая была бабуся. А когда вернулась, сама вскоре умерла: бешеная лиса, может быть, даже та же самая, укусила и ее. Так не стало моей деревни. Только на старых картах теперь ее можно найти.

Выпили уважительно за почившую в бозе Колыбелку, за деда и бабку Буратино, а также за спасение сел да деревень, без которых Россия силой истощится и крайне кончится духом.

Из слащавого облака, рожденного электронными сигаретами, раздались печальные аплодисменты. Они прозвучали глуховато и как-то тотчас оборвались. Никто более их не поддержал.

– Bravo, Ваня! Тронул ты, милый крестничек, мое сердце, ох, как тронул... – внятно, почти вдохновенно проговорила Инна. – А что может сказать о ее величестве Смерти представитель самого молодого поколения? Виктор! Красавец ты наш писанный! Хотя бы пару слов. Смерть как хо-

чется услышать мнение о даме с косой именно от тех, кто только начинает жизнь!

Виктор очень красиво, дымчато покраснел.

– Смелей, вьюноша!

– А вот и скажу, да... – напряженно поморщился он и не то, чтобы побледнел, а какой-то странный сиреневый оттенок растекся у него по лицу.

Тотчас капитан Горяинов рассудительно плеснул парню в фужер с шампанским добрую толику «самоплясного» произведения от Инны.

Виктор послушно выпил. Виновато, нежно покосился на Ирину.

– Лет пять назад директор нашего детдома Мышковец Геннадий Ильич у меня на глазах погиб... Но как погиб?.. – очень тихо, точно ему скулы свело, заторможенно проговорил Виктор. – Мне было тогда лет тринадцать. И как-то Геннадий Ильич загорелся повести нас, детдомовцев, на экскурсию на шинный завод. В целях профориентации, что ли? А в цехе вулканизации, похожем на макет ада из-за его фонтанирующих извержений пара и огня, нашего Геннадия Ильича точно бес потянул заглянуть в форматор. А туда только что загрузили для варки очередное гигантское тракторное колесо. Любопытно стало человеку! И тут крышка форматора вдруг начала автоматически закрываться. Размером она с три танковых люка. И не менее тяжелая. Взрослых рядом не оказалось, а мы, пацаны, поначалу ничего не поняли. Я до сих пор помню звук, с каким раздавилась голова Геннадия Ильича...

– Тьфу, черт! – поморщился капитан Горяинов и машинально высвободился из объятий Ирины, от страха в него больно вцепившейся.

Вдруг глаза у Виктора стали какие-то странные: оба белесо помутнели, будто их затянуло поволокой, похожей на бельмо, – такое впечатление иногда создается, если человек провально уходит в себя, словно в душу настойчиво вглядывается, в ее тайники.

Виктор вдруг отчаянно, жестко улыбнулся...

– А три года до такой своей жуткой смерти Геннадий Ильич почти каждый день использовал меня... В том самом смысле. Правда, и подкармливал всегда, и защищал, если

пацаны обижали. О будущем моем особо думал... Мечтал, что я космонавтом стану. Одним словом, добрый был дяденька... Честное слово, я бы там без него пропал...

Ирина с застарелой унылой ненавистью посмотрела на мужа:

– Другой гадости придумать не мог, типок?

– Да может, это самое лучшее время во всей моей жизни было! – глухо вскрикнул Виктор. – А кто я теперь и для чего живу? Раньше в СССР молодежь на разные великие стройки ездила, целину поднимала, коммунизм строила, а что теперь? Менеджер на менеджере сидит и менеджером погоняет. Куда пойти, куда податься, чтобы в люди выбиться?

– Дурак... – поморщилась Ира. – Все. С меня хватит. Особенно после твоих идиотских откровений про директора-наильника! Побыла Воробьевой, почирикала... Пора возвращаться на круги своя... Развод. Однозначно. Красавец хренов! Аполлон Полведерский!

Ирина достала из сумочки озорно взблеснувшее зеркальце, хмыкнув, бдительно подставила ему левую щеку, потом правую – и вдруг сама себе показала язык:

– Что, капитан? – вдруг откинулась Ирина на стуле. – Хватит нам с тобой тайком по углам по-пацански тискаться? Со мной не пропадешь. У меня отец генерал ФСБ, с Путиным вместе на контрразведчика учился. Так возьмешь меня в жены? Или в любовницы?

– Давайте эту тему и все вытекающие из нее последствия позже втроем сядем рядышком и спокойно обсудим... – глухо проговорил Горяинов. – Как ты думаешь, Витек?

– Что со мной обсуждать, дядь Дима? – напрягся тот. – Со мной считаться не надо. Я реально человек пустой. Целыми днями в соцсетях сижу. Стрелялками забавляюсь. Картинки с кошечками да собачками разглядываю. Нет во мне никакого стержня. И собственного мнения у меня ни о чем нет.

– Вот-вот! – вскрикнул Хохлов. – Нынешней молодежи самое место в детском саду. Только там они найдут себе забаву! Квесты, флешмобы и всякие прочие позитивы...

– А как же тогда наш воронежский летчик Роман Филипов? – четко, по-командирски заметил Горяинов.

– Который себя и бандитов в Сирии на гранате подорвал? – строго напрягся завгар Хохлов. – Так он последний из могикиан! Вот и все объяснение. Вы хоть понимаете, в каком мире сегодня все живете? Хотел я промолчать, но, как видно, не получится... Вот вам нетипичная, но о многом говорящая история. Итак, жила-была молодая семья. Она – повар, он – руководитель драмкружка. А ее любовник – гаишник. И однажды наш провинциальный театральный деятель вдруг озаренно понял, что он в душе самая настоящая женщина. И сменил пол. А далее? Гаишник пылко переметнулся к бывшему ее мужику, воспылав к нему самыми что ни на есть яркими чувствами, а жена, оставшаяся на бобах, полезла в петлю.

– Умеешь ты, Хохлов, жизнь пригвоздить. К позорному столбу! – нервно вздохнула Инна. – Одним словом, финита ля комедия! Пора гасить свет, господа... Давайте прощальное целоваться: вы – по домам, я – в мир иной! Разлетаемся!

Многократно и славно перецеловавшись с хозяйкой, гости тронулись, правда, несколько растерянно, точно дорогу забыли.

Тяжелая металлическая дверь коттеджа Инны закрылась так мощно и торжественно, словно разделила этот мир на две половины – случайная жизнь и неизбежная смерть.

Горяинов машинально подумал, что примерно так закрывается за космонавтами люк их корабля перед стартом во Вселенную.

С первых шагов на улице гостей накрыло густой яркой свежестью ночного быстроструйного разворотистого Дона. Лягушки в кустистых заиленных берегах, спевшиеся за лето, емко, азартно верещали, демонстрируя коллективную хоральность своего звонкого раскидистого песнопения.

– Неужели мы оставим Инну одну? В такую минуту?! – вдруг мрачно вздохнул Горяинов. – Господа, как-то это, между нами, вовсе не комильфо!

Но тотчас оказалось, что у всех самые неотложные, а то и вовсе критические заботы.

– Эх, перед смертью не надышишься... – тупо проговорил помощник депутата.

Решимости вернуться не было ни у кого.

У себя дома Ирина впервые оказалась вместе с Виктором и Горяиновым. Только сейчас ей было не до щекотливых тонкостей и прочих оттенков. Она дерзко выпила бокал великолепного итальянского шампанского и, заплакав, отправилась спать в отцовский генеральский кабинет с разворотистым трофейным кожаным диваном, доставшимся генералу Великолепову от родителей, которые в победном сорок пятом привезли из Германии три вагона мебели, кружевных постельных наборов и мейсенской культовой фарфоровой мануфактуры.

Виктор и Дмитрий остаток ночи проговорили лоб в лоб сугубо «за жизнь». Само собой, на кухне, как главном месте напряженного русского поиска смысла бытия.

Под утро капитан Горяинов, перекрестившись, рухнул на колени и принялся лихорадочно, с зубовным ядреным скрежетом выпрашивать у Виктора прощения за свою и Ирки беспардонную хамскую вседозволенность чувств, крайне разрушительную для его юношески нежной, чистой души.

Виктор тоже перекрестился, и они хватко, сильно обнялись.

– Истины ради, юноша! Какие такие пути-дороги привели тебя в юдоль скорби и печали? – с задыхом проговорил Горяинов.

– Куда-куда? – застенчиво смутился Виктор.

– В этот, как его, детдом!

Виктор поморщился.

– История не из интересных. Мне года три... Отец работал вулканизаторщиком на шинном заводе, мамка в одном с ним цехе – контролером. В то время еще было принято по большим праздникам на вылазки всем коллективом ездить... Пить, песни орать.

– Теперь это «корпоратив» называется, – строго, умно уточнил капитан.

– Типа того... – покивал Виктор и оглянулся, словно искал глазами Ирку. – Так вот нагрянули они однажды на День Победы всем цехом на Веневитинов кордон. Костры развели, одеяла на травке раскидали. Выпили тост за пав-

ших, выпили за светлое будущее. И чтоб всем не хворать. После примерно восьмого тоста мамка возьми, да и приревнуй папку к своей напарнице Катьке... И зарезала моя мамка тут же сгоряча моего папку обыкновенным кухонным ножом. А любовница в отместку печень ей стальным шампуром шашлычным пару раз продырявила. Никто и ахнуть не успел, как два трупа лежат готовенькие. А когда Катька эта от хозяина откинулась, так очень хотела меня усыновить и разные документы для опеки начала собирать. Но что-то там не склеилось. Как же тогда она выла... В ногах у меня валялась...

– А где она сейчас? – угрюмо уточнил Горяинов.

– Повесилась Катька.

– Сплошная теория относительности... – напрягся Горяинов и так звучно скрипнул зубами, точно флакон хрустальный раскусил во рту. – А насчет Ирины – не мучь себя... У нее ни с кем ничего хорошего не будет. Нутром чую, что и нам с ней долго не танцевать фокстрот жизни. Под звуки бубна! Одним словом, все мы рождены, чтоб сказку сделать болью!

– Пора бы и честь знать, пустобрехи! – вошла полуобнаженная Ирина. – Или мне вас обоих выгнать в гараж?!

Горяинов и Виктор сдавленно прыснули, схватившись за руки.

– Не дрейфь, паря! Еще сто таких Ирок у тебя будет... – всхрипнул капитан. – Кстати, а почему у тебя своей квартиры нет? Вроде детдомовцам она по закону положена.

Виктор побледнел так, что все черты его красивого лица исчезли.

– Положена?.. Да не возьмешь. Лет семьдесят надо на очереди стоять. А в общежитие я сам идти не хочу. Явно не по мне умывальник один на всех, такой же туалет, такая же кухня... Я у мамки чересчур брезгливый уродился-выродился. Может, она меня с каким большим начальником нагуляла?..

– Которые из грязи в князи?! – гыкнул Горяинов и потрепал Виктора по затылку. – Нет, Ирка Иркой, а я тебя не оставлю, парень. Тебе нужен твердый жизненный ориентир. Хочешь, познакомлю с одним серьезным человеком? Он тебе

поможет крепко стать на ноги. Во весь рост. Ты еще на всех нас чихать будешь с высокой колокольни! Удивишь, брат. У тебя, чую, явно имеется сокровенный сугубый потенциал!

– Спасибо, Дмитрий Владимирович... – осторожно вздохнул Виктор. – Так я пошел спать?

– Ты где ляжешь?.. – по-домашнему блаженно, свойски потянулся капитан.

– Я к мамке своей пойду. У нее всегда для меня место найдется.

– Какая мамка, Виктор? Ты же вроде круглый сирота?..

– Я «мамкой» с детдома одну женщину называю. А как иначе? Расскажу как-нибудь.

Капитан Горяинов напряженно зажмурился.

– Сейчас требую!

Виктор прерывисто вздохнул.

– У меня был приятель в детдоме, Петька Струков... Белобрысый, конопатый и еще тот матюкальщик. Тем не менее, через пару лет его усыновили какие-то американцы. Меня это зацепило. И стал я уперто каждый день отправлять письма с дурацким адресом – «Моей будущей маме». Мол, забери меня, родненькая, Христа ради. Мороки со мной не будет. Я ем мало-мало, могу спать на полу даже совсем без подушки. Еще я умею стирать, чистить картошку, а воды натаскать да дров наколоть – мне раз плюнуть. Зато я, когда вырасту, куплю тебе красивое платье. И так далее типа этого.

– И что? – тупо кашлянул Горяинов.

– Все письма возвращались... С надписью: «Не указано местожительство адресата». И стояла подпись: сортировщица К. Грачева. Но я уперто перекладывал свой листок с каракулями в новый конверт и снова нес в почтовый ящик. И однажды письмо не вернулось. Ни через неделю, ни через месяц. А потом как-то меня вызвали в кабинет директора. Уже нового... А там сидит и чай с ним пьет сортировщица с почты К. Грачева. Клавдия. Клавдия Васильевна. Маленькая, стройная, с черными блестящими волосами. На птицу галку похожа. Она меня и усыновила.

– Прямо песня сердечная! – восхищенно вскрикнул капитан. – Молодец баба! Есть еще нормальные люди на этом

свете... Ладно, бывай. Но помни, ты в зоне видимости моих душевных радаров!

...Через несколько недель Горяинов напомнился звонком. Только Виктор поначалу голос капитана не узнал. Фамилия реально его высветилась на экране смартфона, а нотки в голосе были какие-то чужие: заговорил с ним Горяинов глухо, отрывисто, словно речь шла о некоей особой государственной тайне: «Человек тот... Помнишь?.. Я тебе о нем говорил в прошлый раз... В общем, он согласен с тобой потолковать... Жди. Он тебя сам найдет... Извини, не могу больше талдыкать с тобой. Народу много вокруг лишнего...»

...Виктор уныло завтракал: любимому его занятию пить через аккуратную дырочку в скорлупе сырые яйца настырно мешал здешний густой тухлый запах, к которому он так и не смог привыкнуть в мамкиной «гостинке». Это была особая густая атмосфера от последствий жизнедеятельности сорока кошаков, обитавших через стену у тамошней жилицы – заслуженной учительницы страны Анны Егоровны, лет ста двух или, возможно, даже ста трех.

Ко многому тут не привык Виктор: и что любовные потребности, невзирая на здешнюю идеальную слышимость, усердно исполняются частью жильцов (ко всему почему-то в одно время), и что их восьмидесятидевятiletний сосед Николай Николаевич, бывший начальник почты, чтобы не идти до туалета длинным сумеречным коридором с нервно дрожащими полами, прилачился выливать понятно какие отходы своего необратимо увядшего тела именно на кухне в общую раковину для мытья посуды. Правда, отходы были жиденькие, так что успешно и быстро убежали в воронку. Тем не менее, запах, какой-никакой, оставался достаточно надолго и успешно дружил с кошачьими амбре.

– Сынок, ты бы к яичку колбаски ливерной взял... Есть кусочек. Мужик у мясo потребно! – бережно вздохнула Клавдия Васильевна.

– Я, мама, вовсе не мужик, – презрительно улыбнулся Виктор.

– Не плети! – ахнула она. – А кто?

– Вскрытие покажет.

Далее последовал мамкин мягкий, нежный подзатыльник.

– Ох, что я вспомнила! Вот дура! Чуть не забыла! – вскинулась Клавдия Васильевна и поспешно пристроилась за столом напротив Виктора, зачем-то стала машинально, судорожно крутить в пальцах попавшуюся ей под руку конфетку – старую усохшую карамельку. – Вить, а Вить, принайся мамке как на духу: ты ничего такого не натворил? Ненароком?

– Чего – такого? – ярко побледнел Виктор.

– Ишь, с лица спал сразу... – тоже побледнела, но с желтинкой, Клавдия Васильевна. – Чует мое сердце, что ты по простоте душевной связался с какими-то проходимцами... Скажем, машину ворованную разобрать или номер двигателя перебить... Это же у вас запросто! В общем, Александра, соседка, жена пожарника, говорила, будто какой-то мужчина возле нашего подъезда ее встрял и начал всякие разные разговоры будто для заполнения опросной анкеты насчет повышения пенсионного возраста, а сам между тем исподтишка хитрованом эдаким про тебя разные разности выводывал: какой твой характер, чем увлекаешься, что у тебя насчет девок и выпивки... Много чего еще...

– Бред сивой кобылы, мама. Народ из ума стал выживать, питаемся черт знает чем: живая химия и генные модификации. Так что вы в голову себе чего лишнего не берите... – бережно проговорил Виктор и осторожно принялся за чай.

Да выпил половину стакана и вдруг отставил – вяло, стомленно.

– Вы мне, мама, как-то весь аппетит нечаянно отбили.

– Я тебе сушую правду сказала... – плаксиво поморщилась Клавдия Васильевна. – Чую нутром, тучи над нами сгущаются. Хочу насчет тебя к гадалке сходить. К Светке. Она всем так ладно говорит... Люди ею очень довольны! А еще свечку за тебя ныне же обязательно поставлю в нашем храме. Как пойду к вечерней службе, так и поставлю. За здравие!

Виктор закрыл лицо ладонями.

– Ну, началось...

– Я же как лучше тебе хочу... – осторожно, как исподтишка, проговорила Клавдия Васильевна.

– Оно так, но лучше бы не надо вовсе, – постановил Виктор, запрокинул голову и меланхолично стал глядеть в потолок, изредка судорожно вздыхая через нос.

– Совсем ты скис из-за этой стервы... – напряглась Клавдия Васильевна. – Развод ей, шлюхе, захотелось учинить! Мой Витенька ей, видите ли, чем-то стал плох! Красавец ведь писанный! Еще наплачется она по тебе, да поздно будет. Эх, сынок, ты бы пошел, что ли, погулять. По проспекту! Там такие витрины вечером – одно загляденье! Проветрись! Только не запей с какими-нибудь дураками!

– Какое там запей... – мутно отозвался Виктор. – Мне надо новую работу подыскивать. Не буду же я при моих молодых силах у вас, мама, на шее сидеть.

Клавдия Васильевна робко, с осторожностью обняла Виктора сзади за плечи и так вдохновенно, самозабвенно прижалась к нему, что он закашлялся.

– Не спеши, милый... – шепнула она ему в ухо. – Оглядишь. Зацени, что к чему и почем. А я скоро еще на полставки почтальоном оформлюсь. Мне пообещали. Наша заведующая как какого-то хахалю себе при живом муже завела, так теперь такая добрая стала! Точно мамка родная всем нам... Она и пообещала!

– Сколько же вам прибавят? – как-то безразлично, устало спросил Виктор.

– Тыщи две с половиной! И без вычетов...

– Куда ни шло... Тоже – деньги.

– Курочка по зернышку, Витенька, клюет.

– Почтальоном... – рассудительно вздохнул он. – У нас тут в основном частный сектор. Собак много бродячих. Отвяжутся – и бегом со двора за свадьбой ихней. А сейчас для такого занятия у них самое время. Еще покусает, мама? Я бы вам не рекомендовал рисковать. Подумайте!

Клавдия Васильевна руками шустро развела, точно к танцу с выходом приуговоряясь.

– А я их палкой! Ты не гляди, что я росточка крохотного. Я задиристая! В детстве с мальчишками на равных дралась!

– Клавдия Васильевна вдруг как лампочка красная вспыхнула – ярко зарумянилась и лицом, и шеей.

Виктор судорожно встал идти как бы по своим делам. На самом деле их у него не было. Никаких дел не было. И быть не могло. Через этот внезапно объявившийся на повестке дня развод с женой он словно потерял ориентацию в окружающем жизненном пространстве. Он собрался идти по самому что ни на есть сказочному принципу: «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Одним словом, прочь куда-нибудь от самого себя. Со стороны он сейчас напоминал сам себе разве что самолет, вдруг каким-то образом оказавшийся в воздухе без пилота. Точно инопланетяне или какие ангелы того подхватили и выкрали.

– Да ты дослушай! – как-то вдруг таинственно прильнула к сыну Клавдия Васильевна. – Знаешь, мужик, который с Александрой насчет тебя что-то скрытно выпытывал, так он и про меня интересовался: не пьяница ли я, не скандалистка? Так вот главное, что я хотела тебе сказать в связи со всем этим: он очень моему имени удивился! По-хорошему удивился, уважительно так. Для всех оно во всю жизнь мою было самое простецкое, чуть ли не насмешливое: Клавка-Клавуха-Клашка. А он Александре сказал, что такое имя самое что ни на есть высокое, родовое и его носил какой-то знаменитый царь Клавдий.

Клавдия Васильевна всхлипнула, судорожно передернув морщинками на своем точно бы детском лобике, и порывисто, влет перекрестила сына.

...Его Виктор сразу увидел. Как только из подъезда вышел, так и увидел поодаль возле их пахучей дворовой мусорки, ароматы которой все равно были амброзией в сравнении с агрессивной вонью сорока кошаков заслуженной учительницы России. В колыхавшейся пятнистой тени укусуного дерева с густо-красными пирамидальными плодами стоял какой-то мужик, точнее, парень лет сорока. С лицом наивно-умным, бдительно-сосредоточенным, но словно бы истерзанным черт-те какими лихорадочными эмоциями и через все это дерзко, углубленно стареющим прежде времени.

Он неторопливо, явно для одной видимости, кормил здешних сизарей лохматыми остатками слоеного пирожка, изредка бдительно рыская по сторонам голубовато-зелеными, словно фосфоресцирующими глазками. И хотя урчащих, настырных и драчливых сизарей вокруг него собралась целая туча пестрая, он, очевидно, стоял здесь не из любви к птичкам.

Он так бегло-цепко зыркнул на Виктора, что нельзя было не понять, по чью душу он тут топчется на самом деле.

– Ты – Воробьев? – с прохладцей, почти безучастно проговорил этот человек.

– Я. А вы, наверное, тот мужчина, который наводил обо мне справки у соседей? – тихо, почти шепотом произнес Виктор.

– Меня зовут Павел. Имя, понятно, не мое. Фамилию называть не стану. Она все равно тоже не моя...

Далее последовала строгая и почти презрительная улыбка.

– Капитан Горяинов попросил оказать тебе содействие. Чтобы ты себя нужным человеком почувствовал... Вот я и решил для понятности составить твой психологический портрет.

Виктор вдруг как-то пискляво кашлянул.

– В общем, я так понял, ты хотел бы начать жизнь, так сказать, с чистого листа?

– Вроде того...

– И считаешь себя неудачником?

– А кто я еще есть? Пустое место. Без перспектив.

– Давай пройдемся по улице, – строго хмыкнул Павел.

– Не хочу, чтобы на нас из окон твоего дома тырились... А против твоей головной боли могу предложить несколько рецептов. Хочешь в монастырь податься?.. Трудником. Знаешь, что это такое?

– Очень приблизительно... – безлико проговорил Виктор.

– Вижу, эта идея у тебя энтузиазма не вызывает...

– Типа того. Я, кажется, даже некрещеный. Родителям было не до того... В детдоме тем более. А сейчас и вообще ни к чему.

– Зря ты так, зря... – Павел похлопал себя по щеке. – Откуда ты такой раскрасавец мог бы взяться без Божьей воли на этой планете?

– Такой? Такой – только из сортира... – нежно улыбнулся Виктор и напрягся, почувствовав даже сюда долетевшую вонь тех самых «училкиных» сорока наглых кошаков.

– Так ты – атеист?

– Да нет, зачем...

– Значит, верующий?

– Вроде тоже нет.

– А кто же ты?

– Не знаю.

Они вышли на длинную безлюдную аллею с мутной тенью от доцветающих новомодных макаронных деревьев с листьями-лопухами. Лишь изредка мелькали редкие угрюмо-сосредоточенные собачники. Один из них с молодым тонконогим лоснящимся доберманом поравнялся с Павлом – и тотчас псина, по-щенячьи взвизгнув, шарханулась в сторону.

– Войной от меня пахнет. Учужал... – деловито уточнил Павел. – А почему тебе, Витек, не перекантоваться какое-то время в монастыре? Не пойму... В том же Задонском, скажем. Замечательное место! Славное, для души. Вдруг она у тебя там прозреет?

– Мне бы что попроще. Чтобы самому ни о чем не думать...

– Тогда самое твое место на войнушке... – вдумчиво-жестко постановил Павел. – Или спиваться, или на иглу.

– Война предпочтительней, – напряженно вздохнул Виктор.

– А что ты о ней знаешь? – судорожно стиснулся Павел, словно парашютист перед прыжком в неведомое.

– Ничего... – юношески румяно и нежно покраснел Виктор.

– Есть упоение в бою... Есть... Что ж, давай, испытай себя... Мест, где повоевать можно, всегда на планете более чем достаточно. В общем, адреналин в избытке я тебе гарантирую. Но бабла ты там не срубишь. Оно не для наших карманов. В другие утекает. Зато обретишь надежный ске-

лет для своей души. И контузию в придачу. Если вообще повезет выжить.

– А куда ехать-то?.. – смущенно спросил Виктор.

– Куда-куда? На Кудькину гору. Скорее всего, в Африку.

– Ничего себе! – засмеялся Виктор. – И я там живых жирафов увижу? И живых львов? Нет, вообще-то, в любом случае лучше на Украину. Как-то понятней.

– На войне, юноша, хоть что-то понять еще никому не довелось! – раздраженно рассмеялся Павел. – В общем, вначале пройдешь здесь, в Воронеже, что-то типа курса молодого бойца. Само собой, сугубо секретно. А там поглядеть будем, куда и на что ты годен. Калаш в руках хоть однажды держал?

– Это автомат?

– Да, мальчик. Это автомат! Но не с кофе капучино! – нервно-весело проговорил Павел. – В общем, я вижу, что настоящий пес войны из тебя не скоро получится. Разве что солдат неудачи? Тебе, если честно, лучше медбратом стать. Или даже медсестрой! Ладно, не переживай.

Он сунул ему в руку мятую бумажку с номером телефона. Бумажкой послужил чек из магазина на бутылку водки «Беленькая» и банку с килькой в томате.

– Звякнешь через недельку... – всхотнул Павел сквозь судорожно сцепленные зубы и ушел, не попрощавшись.

Виктор тупо-задумчиво смотрел ему вслед. Новая, неизведанная настоящая мужская жизнь только что дерзко мелькнула перед ним, как, скажем, когда вдруг распахнется в окне железнодорожного вагона, в котором до того часами уныло тянулись степные безликие пейзажи с редкими куртинами, незнакомая мощная вольная река во всей своей переливчато-бликующей полноводной плоти.

Он машинально сделал шаг за Павлом и еще. Почти уже побежал. Он не мог объяснить, почему так поступил. Однако стал упорно догонять Павла и даже нервничал, если сутулая спина того, прикрытая застиранной, замызганной куртченкой с выцветшим камуфляжем, на какое-то время терялась в толпе. словно Виктор отчаянно боялся потерять вдруг случайно обретенный им жизненный ориентир. Так сказать, почву под ногами.

Наверное, Павел почувствовал на себе неотрывный растерянный взгляд Виктора: он резко развернулся, напугав прохожих и сощурясь, напористо, зло бросился назад. Так бегут в никуда.

Виктор отшатнулся в проулок.

Когда через минуту выглянул, Павла нигде не было.

Виктор чуть не заплакал. Хотя, по идее, радоваться бы надо. Зачем ему во все это ввязываться?.. Он и там, на войнушке, будет всему и всем чужой.

Домой идти точно не хотелось. А куда еще? По дороге был парк, в котором он год назад познакомился с Ирккой: парк напоминал островок настоящего леса – густые, словно развешенные поверху тени интеллигентных кленов, рукастых мужиковатых дубов и по-девичьи сияюще-светлых осин; много шумных черных и певчих дроздов, яркие сойки резко скрежещут, пестрые дятлы уперто трудятся, и даже иволга, случается, нежно промяукает, противно напоминая Виктору про ораву оголтелых кошаков их соседки-училки.

На самой ближней скамейке Виктор аккуратно присел на краешек: ее значительную часть достойно занимал однорукый мужчина лет основательно так за шестьдесят, – рослый, рыхлый и большеликий. Взгляд его был поразителен загадочной отягощенностью некоей неземной мудростью, ни к чему здесь, на этой планете, не применимой и не нужной.

Мужчина весомо оглядел Виктора.

– Что, пацан, так тускло выглядишь? – сказал строго-внятно, но притом достаточно доброжелательно.

Виктор сжал колени – как съежился... Засопел, откашлялся. И все и вся про себя вдруг влет выложил этому случайному громоздкому соседу по скамейке.

Изливался Виктор торопливо, азартно, местами заполошно, с никогда до сих пор не свойственным ему запальчивым раздражением. Открылся нараспашку «от и до», включая передавленную крышкой вулканизатора тощую шею директора-наильника, выкрутасы Ирки, репетицию поминок Инны и жертвенную азартность Павла, тайного человека тайной войны. Уже спокойней, как на излете, вспомнил про зарезанных родителей и чудаковатую ми-

лую мамку Клавдию Васильевну. Не преминул объявить и об адском серном духане сорока кошаков заслуженной «училки».

И тут как спохватился, сдвинул руками голову:

– Зачем я все это горожу?

– Ясно одно: бытие народа нашего есть глобальное испытание злом... – сдержанно проговорил мужчина. – Корежит его на каждом шагу. Вот и лишние люди вновь появились на российских путях-дорогах... И ты, по всему видно, один из них. Только, без обид, плюгавенький. Давненько вас было не видеть, господа никчемные. Но роднит вас, нынешних, инфантильных и равнодушных, с Базаровыми невозможность достойно реализовать себя. То-то молодежь во Франции вновь взъерепенилась, как в былом шестьдесят восьмом. Я про «желтые жилеты». И в литературе, и в жизни судьба «лишнего человека» трагична.

– На тебе лица нет! – вскрикнула Клавдия Васильевна, когда Виктор вернулся. – Что случилось?

– Ничего... – улыбнулся он, что было для него большой редкостью, особенно последнее время. – Просто я по дороге одного умного человека встретил. Очень умного. Он таких, как я, знаешь, как называет? Лишние люди!

– Ерунду не городи... – напряглась Клавдия Васильевна. – Тебе учиться надо. В каком-нибудь техникуме. Скажем, на помощника машиниста электропоезда. Или на сварщика.

– Это, мамочка, облом... – поморщился Виктор. – А я, если все нормально сложится, могу уже скоро попасть на войну. На самую настоящую. По крайней мере, предложение такое поступило.

Клавдия Васильевна, пошатнувшись, повернулась к иконам.

– Господи, Святый Боже, ты же все видишь... – возвышенно, требовательно проговорила она. – Неужели этой потаскухе Ирке сойдет с рук издевательство над моим сыном? Извела парня. А он такой нежный и добрый, чисто блаженный. Заступись за него, милый Боженька! Какая война еще ему?.. Спаси и помилуй нас, грешных!

Клавдия Васильевна закапала щекотливыми слезками.

– Я поняла, кто тебя с панталыку сбивает. Это тот мужик, который про нас соседей расспрашивал! – напряглась она. – Да я на него в милицию сообщу!

– В полицию, мама... – хмыкнул Виктор.

– Один хрен! А если увижу его, своими руками убью. Чтобы больше не якшался с ним!

– Зачем вы меня мучаете своими непонятными страхами? – тихо сказал Виктор. – Мне и так тошно.

Виктор понял, что сейчас заплачет.

Клавдия Васильевна машинально обняла сына и побледнела: он весь был точно каменный, как половецкая вислогрудая баба из серого песчаника, что поныне стоит за околицей возле ее родной Старой Криуши на высоком, но уже как бы растекающемся кургане. Эту степную красавицу все у них в селе как-то побаивались и при возможности стороной обходили, – но некоторые тайно почитали чуть ли не за берегиню этих мест.

– А давай мы, Витюша, сходим с тобой к бабе Свете?.. – вдруг судорожно вздохнула Клавдия Васильевна. – Пожалуйста, сынок! Уважь меня, дуру...

– Вот еще! – словно бы не своим, загустевшим, тяжелым голосом рыкнул Виктор. – Я разве похож на совсем съехавшего?.. И так ко мне ни у кого никакого уважения! А тогда вообще за дурика прослыву.

Тем не менее, на следующий день и, что особенно важно для такого предприятия, именно в пятницу он сидел за столом в соседней квартире у бабы Светы и пил ее кроваво-черный чай с белоснежным рахат-лукумом, пока она бдительно, строго раскладывала колоду замусоленных карт своими толстыми, неуклюжими пальцами с бородавками, похожими на прилипшие к коже пшеничные зернышки. Перед ней жирно горели пахнущие горячим маслом три розовых стеклянных лампадки, а за ними стояла большая икона Святого семейства. Клавдия Васильевна аккуратно сидела поодаль в темном углу, сведя кулачки под тревожно вздернутым подбородком. Выражение лица у нее было трепетное, виноватое.

Виктор глядел так, словно все происходившее вокруг его никак не касается.

Гадали «на будущее». Баба Света, сердито вздыхая, уже выбрала червового валета, который в этом магическом обряде представлял Виктора, являлся его, так сказать, двойником в царстве картежных духов.

Расклад медленно прирастал. Баба Света на что-то деловито сердилась, чмокала большими морщинистыми губами: ей явно не нравилась сложившаяся пестрота пик, заряженных коварным предвестием мрачных переживаний.

– Где же твои черви, Витенька? Где, миленькие?.. А ну-ка, идите сюда, милые вы мои, помогите мальчику... – хозяйски, властно говорила она со своими картами, призывая ту масть, которая предвещает клиенту наступление благополучного счастливого времени. – Ужо я вас!..

Вдруг она болезненно поморщилась и размашисто огребла в кучу все карты, раздраженно смешала их.

– А разве ты не будешь глядеть «что будет», чем «сердце успокоится»? – робко проговорила из темного угла Клавдия Васильевна.

– Глядеть... – глухо отозвалась баба Света. – Пики восьмерка и девятка как срослись. На них, что ли, мне глядеть и радоваться? Потом же пиковый туз никак не расстается с пиковой дамой...

– Так что ты скажешь? – прошептала Клавдия Васильевна голосом, после которого разве что остается только с рыданиями пасть на колени.

– Придется еще раз кинуть карты, – уперто проговорила баба Света. – Иногда они как нарочно чудят, за нос водят...

Карты вновь веером приснули на стол из ее рук, как стая пестрых птиц порхнула.

Низко прильнув к ним и раздраженно шурясь, баба Света долго разглядывала их и даже словно бы придиричиво обнюхивала.

– Достала меня эта девятка пик! – вскрикнула, вдруг ударив кулаком по столу. – Так и лезет на глаза, так и лезет! Вертихвостка!

– Баб Света, а это что-то очень плохое? – робко проговорила Клавдия Васильевна.

– Вижу... Вижу стационар в какой-то клинике, и точно бы тебе, Витюша, операцию делают такую, что ты сам на

себя стал совсем не похож! Жуть несусветная. Даже карты мои корежатся, словно живые страдальцы... – гадалка резко передернула плечами.

– Чтобы мне про войнушку и не заикался! Не пушу!! Только через мой труп!!! – с задыхом вскрикнула Клавдия Васильевна, готовая немедленно сгрести Виктора в охапку и спрятать, как дитя под подол. – И от Ирки держись подальше. Чтобы духу ее не было возле тебя!

Баба Света, аккуратно прищурясь, накапала себе махонькую рюмку коньяка и слизнула его с особым благоговейным уважением.

Отрадно зажмурилась.

– Клавка, не ерпенься! Войны я возле твоего Витеньки не вижу никакой... И жены его стервозной тоже поблизости нет, – как бы сама с собой строго заговорила баба Света. – Тут такая хитрая путаница, которую мои карты никак не могут пронять. При всей ихней мудрости они в теперешней жизни все трудней разбираются... Такое в ней несусветное творится... Все, детки милые. Сеанс окончен! Нет более сил у старухи... А теперь рекомендую вам сходить в храм и покаяться батюшке на исповеди, что меня, ветхую дуру, навещали... И я сама, как вас, дураков, выпровожу, стану перед своей домашней заглавной иконушкой и мысленно попрошу прощения, что без разрешения лезу в дела небесной канцелярии.

Баба Света радушно, молодо расхохоталась. И снова аккуратно, сладко наполнила рюмочку.

Денег не взяла. Такса у нее была по нынешним временам, когда по самым пустякам без тысячи в магазин не ходи, очевидно, малая, двухсотрублевая, но и от таких денег баба Света отказалась.

– За что? Я ничего толкового не сказала... – покаянно вздохнула она. – Только больше ни к кому не бегайте. Очень там всякие такие странности клубятся, что вам об них и говорить не след. Ступайте, живите, с Богом, милые мои... А там видно будет, куда лошадки дышло повернут. Насчет войны – не дрейфы!

Они стомленно вышли. Клавдия Васильевна привалилась спиной к стене, словно не было у нее никаких сил идти

дальше. Она трудно дышала. И кончик носа странно побелел.

– Теперь ходи по жизни отресь ножку, деточка... – Клавдия Васильевна судорожно, неуклюже приобняла Виктора. Плакать слез не было. Как застыли они в ней, заледенели.

...На другой неделе хоронили Инну Фабрицкую на Аллее Славы заглавного городского кладбища. С явлением у гроба демократически задумчивого зама главы города и части представителей депутатского корпуса, строгих и предельно аккуратных в каждом движении и слове. Среди них вдохновенно присутствовал и господин Юрий Бельский. Весь его внешний драйв позитивно свидетельствовал, что он только что прибыл рейсом из успешной поездки именно в Англию.

Мертвенная полуденная Луна печально прилегла над кладбищем, невзирая на июльскую ярость Солнца. Так прехитренная кошка равнодушно дремлет рядом с грозно сопящей псиной.

У могилы сочно-пряно пахло нутряной землей. Только что в здешнем храме состоялось отпевание. В ушах у всех напряженно стоял тугой, траурный бой колоколов. После отпуска невысокий юркий диакон нежно возгласил: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе Твоей Инне, и сотвори ей вечную память!». После чего батюшка Григорий, взволнованно поправив косичку, трепетно объявил: «Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшей рабе Твоей Инне, и сотвори ей вечную память!»

У разъявленной могилы было так людно, что далеко не все смогли участвовать в панихиде, – многие ждали в стороне свою очередь кинуть глинистую горсть в отверстие кладбищенское нутро.

Когда прощались с Инной, всем бросилось в глаза, что в ее посмертных чертах лица проступила некая удивительная, простодушная, радостная смиренность и нежный восторг. Многие невольно решили – это так отразилось на лице Инны то потаенное, возвышенное, что ждет человека за порогом жизни. Лишь отдельные скептики склонялись к мнению, что просто-напросто визажист для мертвецов,

так называемый «танатокосметолог», перестарался с макияжем и разными там гелями. В любом случае, Инну было не узнать: в гробу лежала словно бы совсем другая женщина, ничего общего с прежней не имеющая.

– Инна была прекрасный работник, Инна прекрасна и в своей смерти! Она всегда мысленно будет рядом с нами! – с возвышенной нежностью певуче произнес над гробом президент меркурианского холдинга Юрий Бельский, вдохновенно глядя своими женственно-голубыми глазами в напряженную холодную синеву, точно там барражировал некий ангел и нашептывал ему нужные высокие слова.

Как бы там ни было, у Виктора метаморфоза с лицом Инны почему-то вызвала странное, лихорадочное волнение и азартный душевный подъем. Словно Инна намекала ему, что его нынешнее стремление найти свое значимое место в жизни, так сказать, определиться, зазвучать, есть вполне реальная и осуществимая мечта.

Он нагнулся и, аккуратно раздвинув матовую пелену тончайших кружев с лица покойной, нервно поцеловал ее в лоб через бумажный венчик, пахнущий духами Ирины, – та только что подходила к гробу попрощаться с кухней.

Когда торжественно-коричневый лаковый гроб, похожий на роскошный лимузин, устремившийся в вечность, плавно занырнул в глинистую яму, словно навечно припарковался там, раздались модные нынче аплодисменты.

Плакал только Виктор и несколько каких-то неизвестных женщин. Кажется, даже из тех, что просто мимо проходили – и остановились. Виктору, тем не менее, казалось, что все насмешливо косятся на него и осуждают его за такую неприличную чувствительность. По крайней мере, Ирина – стопудово.

Кстати, сегодня она впервые при нем открыто была на людях под руку с капитаном Горяиновым, – и они действительно смотрелись как прекрасная пара.

...На поминках Горяинов говорил много и трибунно. Кажется, он по-прежнему испытывал вину перед Виктором и как мог старался создать вокруг него атмосферу, врачующую любые душевные боли.

– Инна с нами! Она сейчас здесь и видит каждого нас сквозь! Улыбнемся ей! Смело взглянем в лицо смерти!

– объявил капитан и поднял глаза к потолку, словно бдительно выглядывая там между закопченных провислых кафешных люстр витающий всевидящий дух усопшей.

Виктор впервые безобразно напился.

Домой его привезли росгвардейцы под командованием капитана Горяинова. Несли Виктора на руках, как героически павшего бойца. И почему-то поначалу настойчиво пытались оставить его тело в комнатке заслуженной учительницы, чем вызвали у нее старческий обморок, а у сорока здешних кошек – дикую панику и яростное желание разодрать в клочья безмятежную, почти счастливую физиономию Виктора.

...Следующую неделю он безвылазно торчал дома – уныло ждал вестей от Павла. Мысль, что ему, возможно, придется взять в руки автомат и в кого-то реально стрелять, вызывала у него день ото дня все более стойкое тупое оцепенение. Он есть перестал. Не то чтобы совсем, но так, лишь для видимости что-то безучастно поджевывал время от времени.

Клавдия Васильевна сходила в храм и заказала за его здоровье Сорокоуст. Если не поможет, обещала съездить в Акатов монастырь и подать записку на чтение Неусыпаемой Псалтири, что есть крайняя неодолимая сила.

– А как это, мама? – безучастно спросил Виктор.

– Сама, прости дуру старую, толком не знаю... – вздохнула Клавдия Васильевна. – Но помню с детства, бабушка мне говорила, что там, где читают Неусыпаемую Псалтирь, как огненный столп спасительный до неба поднимается.

– Еще чего... – хмыкнул Виктор; тем не менее, ему почему-то вдруг стало реально страшно.

На днях Клавдия Васильевна не мытьем, так катаньем уговорила его оторваться от дивана, на котором он все бока себе истерзал старыми кусучими пружинами, и помочь волонтерам при храме, девчушкам, отнести подарки в дом престарелых на День семьи, любви и верности, то есть именно 8 июля.

– Девочки такие замечательные! Вдруг какая еще и пригланется?

– С меня Ирки на всю жизнь достаточно... – лежа лицом к спинке дивана, глухо отозвался Виктор.

В дом престарелых он все-таки пошел. К тому же у него какая-никакая машиненка имелась – самое оно под волонтерские коробки с конфетами, пряниками, зефиром и иконами святых Петра и Февронии: еще деда покойного «Москвич» – легенда, из самых первых, четырехсотый, выпуска одна тысяча девятьсот сорок шестого года, – дебютное серийное авто для личного пользования граждан бывшего СССР. Виктору за него недавно полноценный миллион предлагали, само собой, в рублях, но он – ни в какую. Был «Москвич» на ходу, достаточно резв, цвета светло-шоколадного: заглядень! Вообще какое-то во всем его облике солидно проглядывало особое благородство свободолюбивого и знающего себе цену бургера, как видно, усвоенное от немецкого прототипа этой машины – «опель-кадета».

Только за рулем машины Виктор чувствовал себя человеком.

«Когда ты едешь на своей колымаге, у тебя на лице выражение ребенка, которому засунули в рот любимую пустышку!» – не раз говорила ему Ирка.

Когда во второй половине дня Клавдия Васильевна вернулась с рынка, Виктор снова лежал на диване, как вцепившись зубами в спинку.

– Что опять не так? – тихо вздохнула она, тотчас забыв ту радость, с какой только что шла домой, случайно купив в их минимаркете два пакета просроченного молока за цену одного.

– Мой поход в приют для стариков закончился довольно неприятно... – сдавленным, рассерженным голосом проговорил Виктор. – Так глупо все в этой жизни! Знаешь, что нам предложили перед расставанием в этом Доме престарелых? Их руководство в знак благодарности велело накормить нас обедом!!! Ох, лучше бы они с этим не затевались! Бабки и деды стояли вокруг и с умилением разглядывали, как мы едим-давимся! Притом азартно чихали, сочно сморкались, кашлем чахоточным заходились... А еще там везде так воняет мочой. Гаже воняют только драные кошки нашей училки! Я ел и давился! А одна из старушек вообще черт знает что устроила! Явно по фазе сдвинутая. Стала передо мной на колени и говорит: «Здравствуй, милая до-

ченька! Я узнала тебя! Счастье какое! Любушка! Кровинушка! А меня уверяли, что ты умерла! Забери меня отсюда немедленно!..» И давай в рев на все этажи. Даже охрана с газовыми пистолетами прибежала. Чуть наручники мне не надели. Паспорт стали требовать. Деловые такие! Хорошо, что я на машине без него никогда не езжу. Мало ли что гибэдэдэшникам в голову взбредет на трассе...

Клавдия Васильевна с силой закрыла лицо руками, как две пощечины сама себе отвесила.

Виктор решил, что она плачет.

Клавдия Васильевна смеялась. Только смех этот был какой-то явно нехороший.

...На днях позвонил капитан Горяинов и предложил Виктору встретиться в сквере воинов-интернационалистов возле главного городского кладбища у тамошнего храма «Взыскание погибших». Ни для кого не было секретом, что это место обустроено в память о наших ребятах, погибших в локальных войнах и прочих конфликтах по всему белу свету, где без нас ну никак не могли обойтись.

– Вещи с собой какие взять? Из еды что-то? – почти обморочно проговорил он.

– На месте все решим, – холодно, по-военному постановил Горяинов.

Кстати, при встрече Виктор не мог не заметить на его плечах ново блиставшие солидные мордатенькие майорские звезды.

– Поздравляю, Дмитрий Вячеславович... – тихо сказал он.

– С чего это ты со мной на имя-отчество перешел? И с чем меня поздравлять? С новым званием? – усмехнулся Горяинов. – Мне век так бы и ходить в капитанах, если бы не сработал авторитет генерала Великолепова. Это, так сказать, ради Ирки он расстарался. Ради ее имиджа.

– Когда и куда мне выезжать? – вздохнул Виктор. – Правда, у меня нет никакого опыта обращения с оружием. Павел что-то обещал помочь в этом плане, но все тянет.

– Ничего он не тянет! – горько вскрикнул майор Горяинов и внушительно перекрестился на маковки храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». – Не судьба тебе,

Виктор, стать солдатом удачи. В общем, сегодня мы похоронили нашего боевого товарища Павла... Добровольца, погибшего в боях за свободу Новороссии. За его плечами две чеченские кампании – без единой царапины. А тут... В общем, на днях отряд Павла оказался в ловушке: их явно кто-то подставил. Вполне возможно, что он в неразберихе погиб от пули, выпущенной своими же. Вечная память бесстрашному герою...

Недалеко была пельменная «Граф Монте-Кристо». Несмотря на классическое название, здесь, как и везде в подобных заведениях, «пельмени» к этому продукту, по сути, не имели никакого отношения, но официантки, одетые в стиле эпохи Дюма, по крайней мере, обслуживали с некоторым радушием, пусть и напускным.

Виктор и майор Горяинов помянули Павла водкой с каким-то насмешливым названием «Народная». Начали вдвоем, но уже скоро все посетители пельменной присоединились к их траурному мероприятию. Павла в Воронеже знали. Даже откуда-то объявились и несколько знакомых лиц: редактор местной газеты «Твоя жизнь» Игорь Бояринов и нотариус Аполлон Орлов-Алябьев.

К закрытию пельменной все посетители как один надрывно хотели немедленно идти воевать за всемирную справедливость, но не знали толком, что это такое и где ее по каким сусекам сыскать. В итоге ограничились тем, что яростно, со слезным упоением спели «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные! Прощайте, семья! Гренада, Гренада, Гренада моя!..»

Виктор помнил, что он, подпевая, плакал навзрыд.

Когда расходились, он, все еще балансируя на грани судорожных рыданий, объявил Горяинову, что искренне хочет без промедлений изменить свою жизнь наперекор всему и любой ценой:

– Я неудачник и лишний человек! Это написано у меня на морде. Хочу начать новую жизнь с чистого листа! Как по программе спасения свидетелей! Даже имя себе и фамилию возьму другую! Вот так... Например, Константин Гривнев! Или Валериан Смоктуновский! Тебе нравится?..

– Бред сивой кобылы... Ты это решил сделать в пику Ирке?! – напрягся майор и зачем-то машинально-гордо поправил новые погоны на плечах своего серого парадного кителя. – Знай, она дура и такой жертвы не стоит. Кстати, по всему чую, что мы с ней тоже вместе ненадолго. Твоя бывшая еще с теми закидонами! Ей бы за олигарха замуж, но они, увы, появились в России, когда она уже по бабским меркам в самый настоящий тираж вышла. И все равно, конечно, Ирка красивая женщина!

– Очень... – тускло поморщился Виктор.

...Через несколько дней нотариус Аполлон Орлов-Алябьев пригласил его в свою контору. Ему предстояло объявить последнюю волю Инны. Виктор попросил, чтобы при этом обязательно присутствовали все, кто пожелает. А пожелала практически вся их знаменитая компания. На кону была четырехкомнатная квартира Инны в центре, центрее которого не бывает, и загородный коттедж возле Дона, на границе пойменного заливного луга с роскошным густым разнотравьем. Само собой, имелся и достойный по воронежским меркам банковский вклад.

– Прошу присутствующих проявить достойную выдержку и благоразумие... – с артистичным изяществом объявил Орлов-Алябьев и отвесил публике поклон, который, благодаря красному фракку с черными пуговицами, делал его похожим на фокусника даже при отсутствии лоснящегося цилиндра. – Воля покойной может вызвать у кого-то бурю негативных эмоций, но закон есть закон.

– Пожалуйста, ближе к телу, – достойно, почти равнодушно проговорил майор Горяинов.

Тем не менее, Орлов-Алябьев с профессиональным самолюбованием выдержал емкую, густую паузу.

– Наследник один. И он всем вам хорошо известен... – смиренно-торжественно объявил нотариус, точно огласил волю богов, у которых числился на службе не на последнем счету. – Не знаю, какими соображениями руководствовалась покойная, принимая такое решение. Ее недвижимость и банковские вклады наследует... Виктор-р-р Воро-бье-е-ев!!!

– Я так и знала! Какая подлость!! Какая глупость!!! – пылко вскрикнула Ира, закашлялась и вдруг сломленно

обмякла: потеряла сознание. Падала она, тем не менее, достаточно изящно. Ко всему майор Горяинов вовремя успел ее подхватить. Виктор в растерянности тоже было сунулся принять на руки бывшую жену, но вдруг точно опомнился и резко отвернулся к окну.

Майор Горяинов тотчас принялся исполнять над Ириной какие-то умелые росгвардейские действия по оказанию первой помощи, чтобы привести ее в чувство. По всему было видно, что он, как человек военный, служилый, более чем достаточно осведомлен в этом жизненно важном вопросе.

Уже скоро Ирина вяло открыла свои сейчас особенно красивые глаза с поволокой и тихо, мутно вздохнула:

– Сволочь...

Правда, к кому относилось это слово, было несколько непонятно. Не совсем, вернее, понятно.

И вот тут Орлов-Алябьев и объявил нечто в практике его никогда не встречавшееся до сих пор. И, кажется, не имевшее места во всем мировом нотариальном делопроизводстве. То есть такое условие, какое, пусть и небольшой строчкой, но отныне должно будет войти во все юридические издания, так или иначе рассматривающие различные грани современного состояния вопроса дарения недвижимости.

– При дарении закон предусматривает полную чистоту события, то есть это соглашение не может быть отягощено никакими дополнительными требованиями. Поэтому исполнение ее особого условия гражданка Инна Фабрицкая целиком и полностью оставила на совести наследователя.

– Что еще за бред? – вздернулся Хохлов.

Орлов-Алябьев внушительно осмотрел сидевших вокруг людей просто-таки с горней высоты абсолютных юридических констант, перед которыми бледнеют законы сотворения Вселенной.

– Требование более чем особое... – мудро, проникновенно вздохнул Аполлон.

Кажется, даже он был несколько смущен.

Виктор трудно, судорожно обернулся, тотчас вцепившись в железную спинку стоявшего впереди офисного стула.

– Что за условие? – глухо, нервно проговорил он. – Нет, не так... Я принимаю любое условие! Каким бы оно ни было. Я ясно сказал?

Гости очень долго покидали офис нотариуса Орлова-Алябьева, точно не могли найти дорогу в некоей кромешной темноте. Все кружили и кружили друг вокруг друга.

Наконец Виктор и Аполлон остались один на один. Бодрящее ощущение предстоящего исторического юрпраздника как озарило Орлова-Алябьева. Так что он как-то весь непомерно вдохновился и даже ногами притоптывать принялся.

– Вить, а «Фауста» Гете ты читал?

– Какого «Фауста»?.. Какого Гете? – мягко смутился тот.

– Все с тобой понятно... – мило, одухотворенно улыбнулся Орлов-Алябьев. – Только ты тут ни при чем. Это вопрос к современной системе российского образования. Объясняю популярно. Ключевое событие «Фауста» – сделка человека с Мефистофелем, с чертом, то бишь. Что она из себя представляет? Черт получает право на душу Фауста и после смерти тела может ее забрать. В свою очередь Фауст получает при своей жизни весьма обширные, практически неограниченные возможности.

Аполлон уединился от сего мира в магическую паровую атмосферу возлюбленной электронной сигареты, словно взял тайм-аут.

– Не врублюсь, – печально повинулся Виктор, говоря сейчас словно бы с каким-то эзотерическим облаком.

– Конечно, конечно! – дружелюбно, почти нежно вскрикнул из его глубины Орлов-Алябьев. – Только не бледней. Насчет черта – это я для того, чтобы подчеркнуть необычность твоей ситуации. В данном случае вариант пожиже. Но все равно заставляет мозги леденеть... В общем, налицо, Витюшенька, невиданный кульминационный посмертный каприз всеми нами горячо любимой и весьма милой дамы! Эпохальная ситуация. Прорывная!

Он взял паузу и вдруг внушительно, емко хохотнул:

– Сделка с женщиной – все равно, что сделка с дьяволом!

– Я на все согласен, – мрачно, но аккуратно проговорил Виктор.

...Следующим летом накануне годовщины смерти Инны Орлов-Алябьев с какой-то особенной горячностью, эдаким пылким пылом, вдохновенно объявил родственникам и сотрудникам Инны об особой желательности коллективного посещения ими ее могилы, которое полностью оплачивает его юрфирма, включая проезд, цветы, памятные подарки и поминальный обед в «Ромашке», временно переименованной в «Моменто море».

Президент меркурианского холдинга Юрий Бельский распорядился подготовить приказ о сокращенном рабочем дне в связи с таким фактом, требующим полноценного выражения сердечной почтительности.

Был на кладбище в тот день, отложив на пару дней государственной важности заграничную командировку в Англию, сам генерал-майор ФСБ Владимир Великолепов: кстати, один вид этого рослого человека-памятника действовал на окружающих бодро и успокаивающе, – Родина не в опасности, если на страже ее интересов стоит такой монументально внушительный человек, которого, правда, послезавтра арестуют в связи с причастностью к многомиллиардным коррупционным забавам.

Если бы можно было видеть с дрона нынешнее многолюдное движение к могиле Инны от ворот главного городского кладбища, оно выглядело бы как натекание, вернее, как бросок долго не гаснущей волны на берег. Не цунами, конечно, но все-таки.

И вдруг, уже далеко распространившись вглубь старого элитного кладбища за пределы его особых кирпичных ворот в духе ранней сталинской готики, толпа оцепенела, точно налетев на незримую, но непреодолимую преграду.

Судорожно взвизгнула какая-то женщина. Кажется, Ирина.

Перенапряженное молчание остальных выглядело ничуть не благополучней, ибо его иначе как полубоморочным диагностировать было невозможно.

Кажется, кто-то в этом судорожном оцепенении так-таки смог позвонить в МЧС. Возможно даже, что это был майор Горяинов.

Одним словом, несмотря на всю странность содержания этого сигнала, оперативно поступившего в органы, к кладбищу сразу с нескольких станций понеслись три реанимационных автомобиля «скорой помощи». Наверное, на такой расторопности так-таки сказалось, что в покрывшей кладбище народной волне находились генерал Великолепов, потом же президент меркурианского фармацевтического холдинга Юрий Бельский, а также ряд официальных представителей городской администрации, не считая завгара Ивана Хохлова.

Между тем, приблизившись к могиле покойной Инны Фабрицкой, передовые ряды родственников и сотрудников вдруг всколыхнулись и откатили чуть ли не метров на сто, а то и все двести. Самым что ни на есть взрывным образом. Отступали стремительно, с давкой, с приступами истерии, астмы и человеконенавистничества, вдруг дерзко проявившегося во всей своей неприглядности. То есть некоторые побежали, так сказать, по людям, опрокидывая самых слабых и интеллигентных. Одним словом, бежали панически, с ором, воплями и слезными подвываниями. Оставляя за собой поломанные кусты, деревья и даже поваленные надгробия.

И все это сотворила причина, для большинства непонятная.

Такое решительное действие на толпу произвела всего-навсего некая женщина лет сорока пяти, которая относительно задумчиво стояла в свадебном платье возле могилы Инны Фабрицкой с достаточно скромным, но дерзко элегантным букетом магически таинственных белых и жгуче-фиолетовых, почти черных каллов – оккультный символ смерти.

Цветы цветами, но сразило всех то, что эта женщина была точно сама Инна, ныне, в общем-то, покойная. Даже не знавшие ее раньше люди могли в этом реально убедиться по сходству ее живого лица с большим портретом, выгравированным на черном карельском граните.

Такое явление Инны вживе не только остановило и отшатнуло назад толпу, но даже ввело в подлинный ступор боевого офицера, майора Росгвардии Горяинова. Но более

всего оно потрясло Ирину Великолепову, решительно вернувшую себе на днях знаменитую семейную фамилию.

Смутили такие неординарные обстоятельства даже отца Григория, которого сотрудники холдинга привезли на кладбище усердно совершить чин литии по преждевременно усопшей рабе Божьей Инне. Отец Григорий с дьяконом Андреем теперь аккуратно стояли в сторонке, о чем-то тихо, но взволнованно переговариваясь и то и дело трепетно, с особой тщательностью накладывая на себя крестное знамение.

Господин Бельский неспешно, чуть ли не бочком, первым выделился из откатившейся толпы и бдительно приглянулся по сторонам, словно бы высматривая некоторые возможные и еще не осмысленные, все объясняющие детали такого отчаянного казуса. Может быть, он тянул минуту-другую в надежде, что эта бредятинка как началась ни с того ни с сего, так сама собой и рассосется. Исчезнет, как привидения, упыри и прочая нечисть при первых признаках утра.

Никто и ничто не исчезало.

Более того, начал накрапывать самый что ни на есть материалистический зыбкий летний дождь. Вернее, дожденок из случайно сложившейся временной тучки, от которого всякому человеку, основательно прогретому нынешней небывалой июльской жарой, даже под зонтик не хотелось нырять: пусть от души брызжет на разгоряченные головы с закипающими мозгами.

Бельский сделал смелый шаг к могиле Инны Фабрицкой.

Кто-то из его лучших личных секьюрити особым угрожающим шагом не знающего поражений бойца тотчас эффективно двинулся на опережение господина Бельского, но тот кивком головы вернул своего громилу на место.

Уже в нескольких шагах от роскошной дамы с букетом смерти – густо-ванильных загадочных каллов, напоминающих своим формами модель неких космических энергий, Бельский, заметно бледневший по мере сближения, вдруг нетерпеливо и почти косноязыко проговорил:

– Простите, вы очень похожи на одну женщину. Ее звали Инна Фабрицкая.

– Я и есть Инна Фабрицкая, – услышал он в ответ мило произнесенное утверждение голосом именно самой Инны.

– Так вы, может быть, двойняшки какие-нибудь с покойной? Такое бывает. Такое можно понять... – глухо про rvalось у Бельского. – Сходство неотразимое. Вблизи так вообще шокирует. Зубы стучать начинают...

Он сдавленно хмыкнул.

– Даже так?! – очень самодовольно рассмеялась живая «Инна». – Не стану возражать. Может быть, вам и документ какой-нибудь предъявить? Так, на всякий случай. Для крайней достоверности.

Бельский тревожно поморщился. И вдруг как-то неловко, но настойчиво воспрянул:

– А вот и давайте поглядим его! Да-да! Без бумажки я букашка! Вернее, ничто на пустом месте...

Он чуть ли не трясущимися руками напряженно пробежал глазами несколько страничек новенького паспорта, дерзко сияющего имперским золотистым гербом, само собой, надушенного чем-то за пределами французским.

– Инна Фабрицкая... – как в прострации прочитал Бельский. – И кем же вы приходитеесь той Инне Фабрицкой, которую я знал?

– Я и есть она в лучшем смысле этого слова.

– Но она же мертва! – сипло вскрикнул Бельский. – Это непреложный факт!

– Считайте, что я воскресла... Вас это хоть немного успокоит? Кстати, я желаю вернуться на свое прежнее рабочее место. Мой дорогой Юрочка!

Бельский рывком поклонился и отошел, но так неловко, что многим показалось, будто у него вот-вот заплетутся ноги. Он таки устоял.

– Кто вы такая? – в свою очередь сунулся к живой «Инне», как в разведку боем пошел, майор Горяинов.

– Я продолжение земной жизни Инны... – был ответ. Очень взрослый ответ. Почти радушный, но без улыбки.

Дмитрий Горяинов неожиданно услышал в этом голосе бдительным военным ухом пусть и смутные, но вроде как знакомые ему нотки. Тем не менее, он не поверил сам себе. Настолько не поверил, что чуть было не хватил себя кулаком по темечку.

Ирина вдруг проявила внезапное мужество и дерзко схватила «Инну» за руку:

– Что за гнусный издевательский спектакль? Я сейчас же иду в прокуратуру! Нет, в епархию! Вернее, и туда и туда! По тебе, лже-Инна, тюрьма плачет. Какое наглое издевательство над дорогими всем нам духовными традициями! Умерла – так умирай! Как любят на Руси самозванство! Медом не корми! Я требую немедленного разоблачения этого безобразного розыгрыша!

Орлов-Алябьев вместе с Игорьком Бояриновым догнали было Ирину, и нотариус почти на бегу попытался объяснить своему другу изящную и гуманнейшую законность всего происходящего и даже по-своему высокую порядочность данного факта. Правда, ему тут же пришлось изворачиваться от шипастого букета роз Ирины, что вышло достаточно неловко. На виске и на лбу нотариуса набухли, сочно закровоточили царапины, похожие на китайские иероглифы.

– Вам все нравственно, за что деньги платят! – надрывно-диссидентским, воинственным голосом брезгливо объявила Ирина.

– Я не был уверен, что появление «Инны» на кладбище возле могилы Инны будет встречено аплодисментами... – как-то игриво всхохотнул Орлов-Алябьев. – Но чтобы такая тупость провинциальная поперла изо всех щелей!..

Как бы там ни было, уже вскоре весь город был напряжен разговорами про будто бы мошенническую уловку со смертью креативного директора «Меркурия» Инны Фабрицкой. Одни считали, что таким образом Фабрицкая надеялась избежать наказания за некую многомиллионную коррупционную сделку или скрыться от налогов. Другие видели в ее странном возвращении к жизни изощренные проделки местных сатанистов. Третьи были уверены, что таким образом Инна решила отбить у своей подруги перспективного ухажера в лице быстро растущего по службе майора Горяинова. Как говорится, сон разума рождает чудовищ.

...Вечером у Клавдии Васильевны в ее каморке, нагущенной многосоставными едкими ароматами сорока ко-

шаков соседки-учительницы, пили поминальную водку майор Горяинов, новая «Инна» и деликатно-веселый нотариус Аполлон Орлов-Алябьев, единственный из всех, кто выглядел вполне всем довольным, был исполнен юношеского энтузиазма и счастливых перспектив, похожих на классический вариант чеховского неба в алмазах.

Клавдия Васильевна в основном плакала: укромно так, неназойливо, но неостановимо. В любом случае, она одна никак не соглашалась обращаться к новой «Инне» этим именем, пусть некогда мужским, а настырно талдычила все одно: «Вить, Витька, Витюша, что ты с собой наделал? И зачем ты только, дубина стоеросовая, позволил из себя бабу сделать!.. Зачем тебе чужой-то жизнью жить? Своя есть своя... На кой хрен тебе эти Инкины деньжищи, если тебя прежнего не стало! Кого я теперь любить и лелеять буду, Витенька-а-а! Чьих внуков мне нянчить?!.»

– Вы только зацените, народ! Есть у меня одна убойная идея! – рассмеялся Виктор-Инна. – Я предлагаю создать фирму «Лоно бессмертия». Само собой, для клиентов, известно из какой среды. От Рублевки и выше. Как вам, скажем, такой расклад: олигархический вдовец или вдова на волне возвышенной печали могут с нашей помощью выйти в свет со своей преждевременно ушедшей половиной! Новый носитель ее или его лица эту возможность им, благодаря медицине, в чистом виде предоставит! Возможно, через такую методу люди вообще утратят зоологический страх перед смертью! А желающих с голодухи изменить лицо и даже пол за сладко покушать у нас найдется предостаточно.

«Инну» вдохновенно несло. Кажется, он-она в самом деле переродилась: явно сработал некий неизвестный науке эффект. По крайней мере, речь Виктора-Инны стала уже так взыгрывать и всякую нужную мысль философски вензелями украшать, как это хорошо умела лишь покойная госпожа Фабрицкая.

– Начинается новая эра, народ! – нежно вздел-вздела Виктор-Инна свои еще достаточно мужские руки. Завершающая операция предстояла уже вскоре.

Клавдия Васильевна вдруг заметила, что закуска почти вся народом подъедена, так и подхватилась заботливо сбегать на кухню, самую что ни на есть у них общую, да по пути догадливо постучала в соседнюю дверь:

– Анна Егоровна, миленькая! У вас огурчиков солененьких случайно нет? Моим мужикам под водочку. Тут у нас событие вроде как! И вы приходите... А я завтра же должок верну с привесом!

Ответа не последовало. Хотя через дверь некие странные и чрезвычайно неприятные звуки в комнате Анны Егоровны очень даже слышались.

Клавдия Васильевна несколько раз повторила с ласковыми уважительными интонациями свою соседскую просьбу.

Наконец в нетерпении ножкой дверь толкнула Клавдия Васильевна – та и распахнулась враз: замок был вовсе никудышный.

– Рятуйте, люди добрые! – взвизнула Клавдия Васильевна. – Училка померла! А кошки ее с голодухи грызут!..

Виктор-Инна всех опередил: мигом скинув платье и оставшись в одном женском белье, очаровательно кремовом, он напористо ворвался в густую аммиачную вонь каморки заслуженной училки. Майор Горяинов гвардейски бросился за ним. Он как бы даже не бежал, а парил следом: так, наверное, и полагается десантуре.

«Эх, Витька-Витек... Так-перетак...» – страдала в майоре какая-то неведомая часть мозга, предназначенная переосмысливать разные более чем невеселые жизненные напасти, та самая, где до сих пор застряла боль по «бате», выжившему при падении из самолета без парашюта, но на празднике в честь своего удивительного спасения подавившегося косточкой любимых маслин.

Взбешенные кошки враскорячку, точно сброшенные с совковой лопаты, полетели со второго этажа в палисадник с наглым безобразным ором.

«Господи! – вдруг с непривычной для него взрослостью подумал Виктор-Инна, пинками вышибая из каморки Анны Егоровны дерзко шипящих котяр. – Почему все так здесь, на Земле?! Создатель, неужели Ты в чем-то ошибся?»

# ЛУЖА

Повесть

Накануне летних каникул, как всегда, в школе был назначен итоговый педсовет. После обсуждения будущего учебного плана вторым пунктом предполагалось рассмотреть тему, объявленную сугубо канцелярским языком как «Разное». И за этим «разным» дипломатично скрывалось встревожившее с недавних пор департамент образования и множасьее день ото дня среди учителей, как и тридцать лет назад, в былые девяностые, челночное пристрастие баулами вывозить на продажу с вещевого Стамбульского «русского базара» одежду, обувь и парфюмерию.

В итоге от поездки к поездке в сердцах преподавателей нашей лучшей в городе СОШ набирал силу предпринимательский азарт, никак не совместимый с образом современного учителя, воспитывающего в своих учениках патриотизм, трудолюбие и прочие лучшие качества достойной личности. Но педагоги уверенно оправдывались недавно прозвучавшим с достаточно высокой трибуны предложением, чтобы учителям, недовольным своей зарплатой, уходить за высокими доходами в бизнес.

– Вы у меня разбогатеть таким авантюрным способом даже не мечтайте! – решительно объявил коллективу СОШ ее директор Семен Ильич Водовозов. – Там, наверху, еще в эпоху Ельцина изначально было расписано, кому будет доверено войти в число миллионеров-миллиардеров, остальным – от ворот поворот. Вас не было и нет ни в одном из тех особых списков. Никого. И не будет. А профессиональные качества и авторитет педагога вы через такую свою самостоятельную турецкую маяту утратите навсегда!

Водовозов покровительственно оглядел коллектив и неожиданно, совсем как-то неподходяще для такой напряженной минуты, аккуратно всхихикнул. Все педагоги хорошо знали, что их директор никак не склонен к легкомысленным звуковым вариациям. Это, ко всему, никак не

вязалось и с его внушительной внешностью: пусть ростом невелик, зато отменно плечист. Учителя выжидательно молчали, по опыту предполагая, что с минуты на минуту со стороны директора явно последует некий неожиданный ход.

Евгений Андреевич Комаровский, сорокапятилетний учитель биологии, тревожно нахмурился; на его лице достаточно отчетливо читалось: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Как-никак некоторым жизненным опытом Евгений Андреевич не был обделен. Этому в свое время достаточно поспособствовала его ранняя и почти по-тургеневски романтическая первая, и она же последняя, любовь к соседке по парте, оказавшаяся банальным розыгрышем бессердечных одноклассниц. В итоге у Жени Комаровского год за годом проявилась редкая потаенная особенность, похожая на компенсационный дар природы, – печальное предощущение, будто на него в этой жизни возложена некая особая миссия, смысла которой он пока не ведал. Она вызревала в нем тихим сапом. Кстати, внешность Евгения Андреевича достаточно соответствовала такой его будущности явно не от мира сего: глаза блекло-голубые, в лице ни кровинки, а некоторая зеленца тускло отсвечивает. Рост этого как-то уж чрезмерно худого и длинноногого биолога можно было с грустной усмешкой сравнить разве что с самодвижущимися ходулями. А его расположенности к внутреннему самосозерцанию исподволь способствовал один явно знаковый фактор, то бишь знаковая особенность того места в заводском микрорайоне, где Евгений Андреевич с рождения жил со своими родителями: отец – шлифовальщик высшего разряда, мама – инструментальщица. Вскоре после их торжественного новоселья в хрущевке, тогда казавшейся счастливым новоселам пределом архитектурного дизайна, как водится, прорвало магистральный трубопровод. Аварию за три дня беспрерывной суетной работы устранили, но лужа после нее осталась. И высыхать или вымерзнуть никак не хотела. Более того, эта лужа, несмотря на все усилия коммунальщиков, к радости местной пацанвы год от года прибавляла в

своей масштабности и глубине. Мальчишки наперегонки пускали по ней парусные кораблики и вприпрыжку носились по луже, играя босиком в догонялки с таким азартом, что над ними иногда зависала вполне очевидная улыбчивая радуга. Местные старушки оторопело крестились на нее. В общем, для «ребзы» лужа стала настоящим романтическим морем. А для взрослых – сущим наказанием: она из года в год щедро, обильно давала жизнь целым стадам нестандартно больших, настырных и хищно кусучих комаров. Естественно, жильцы всем этим скандально возмущались и активно писали жалобы в ЖЭК, в райком партии и даже хотели сочинить письмо самому Леониду Ильичу Брежневу, Генеральному секретарю ЦК КПСС. Только отец Евгения, будучи рядовым рабочим, правда, передовиком социалистического соревнования и членом месткома, соседей разумно отговорил от такой наивной затеи: «Мол, все равно письмо или не дойдет до адресата по понятным причинам, или его из Кремля обратно к ним в область и скинут для принятия решения. А это так называемое «решение» здесь, как всегда, многоопытно умело спустят на тормозах.

Положительное во всей этой истории было лишь то, что в итоге подтвердились не потерявшие, оказывается, поныне своей актуальности пророческие слова нашего литературного классика Достоевского про то, что «ко всему-то подлец-человек привыкает». В общем, как бы там ни было, лужа год от года стала для здешних жителей привычной частью дворового антуража. Кстати, внешне она своими глинистыми берегами напоминала абрис всемирно знаменитого озера Байкал, сфотографированного с космической станции. Второй такой ни в одном районе не имелось ни по масштабности, ни по глубине.

«Она еще океаном станет... У нее явно большое будущее!» – проходя мимо нее, не раз мысленно, но достаточно аккуратно, шутил про себя Евгений Андреевич.

По крайней мере, бытовая полезность их дворовой лужи, наконец, вполне очевидно заявила о себе. Скажем, если пассажир такси на вопрос водителя: «Куда едем?» отвечал: «До лужи», то даже новички за рулем не путались с

маршрутом, и никому из водителей не требовалась подсказка навигатора. Более того, некоторые жильцы иногда решительно использовали ее по прямому туалетному назначению, когда в доме отключали воду; другие зимой по ней достаточно точно определяли близость морозов или оттепели, а самые фантазийные и мечтательные не раз, но пока безрезультатно, пытались развести в ней промысловую рыбу с помощью мальков.

Так вот на сегодняшнем педсовете Евгений Андреевич, как обычно, сидел с выражением на лице человека, плавающего... Нет, не в их дворовой луже. Так-таки в облаках.

– Одним словом, в Турцию вы отъездили, мои дорогие! Но не будем отчаиваться! – уверенно, на подъеме проговорил Семен Ильич с доподлинно руководящей интонацией в голосе. – Уверен: у каждого из нас отныне будет возможность улучшить свое материальное положение вполне легальным и уважаемым способом. И улучшить существенно!

Тут бы раздаться аплодисментам и оживленно вопрошающим голосам, наполненным ликующим предощущением близкого счастья. Только ничего подобного в педагогическом коллективе не обнаружилось.

Тем не менее, Семен Ильич не утратил своего должного директорского энтузиазма и пафоса:

– Наверху, то есть на самом верху, нам велено в качестве эксперимента с далеко идущими прогнозами провести один заковыристый гуманитарный эксперимент. Суть его в том, чтобы, отвечая на вызовы времени, нам на базе школы организовать курсы по обучению из числа жителей города специалистов особого профиля! Одним словом, персонала для достойного, на самом современном уровне обслуживания местной бизнес-элиты. Ей, набравшей силу элите, очень даже стали потребны образованные, вышколенные гувернантки, дворецкие, экономки, горничные, лакеи и так далее. Уверяю вас, все это ощутимо скажется на лучшую сторону на нашей с вами зарплате.

«А как вдруг?.. Что-то в этом есть... От горькой правды жизни...» – напряженно, но достаточно уныло подумал Комаровский.

Словно уловив на расстоянии мысли коллеги, Семен Ильич машинально сосредоточил свой бдительный взгляд на биологе. Именно Евгения Андреевича он почему-то всегда на общественных мероприятиях выбирал себе в негласные оппоненты. Словно по выражению его лица опытно определял значимость своих слов. Евгений Андреевич, вовсе не ведая об этом, служил ему неким тайным ориентиром. Какая-то особая надмирная требовательность ко всему происходящему в этом зале, в этой стране и человечестве в целом подспудно виделась директору в бледно-голубых и всегда каких-то перенапряженных глазах учителя биологии.

Дальше Семен Ильич как бы говорил уже только с одним Комаровским. Будто кроме них двоих в зале никого и не было. Семен Ильич прежде всего обосновал перед Евгением Андреевичем назревшую необходимость и перспективность такого нового направления в общей образовательной системе, как высшие курсы слуг.

– Или та же школа, может быть лицей. А там, глядишь, замахнемся и на уровень бакалавриата! В зависимости от вызовов времени.

Тут Водовозов с настоящим благородным волнением высказал реальную тревогу, что плодотворно растущая у всех у нас на глазах численность своих, родных миллионеров и миллиардеров до сих пор обслуживается на бытовом уровне недостаточно квалифицированными людьми. Порой, так чуть ли не явными проходимцами.

– Одним словом, налицо второсортная самостоятельность в этой особой отрасли! – строго определил Семен Ильич. – Взять хотя бы наше поверхностное понимание обязанностей той же горничной. Смахнула пыль и гуляй? Нет, друзья! Будущие горничные должны иметь твердые знания по самым современным методам уборки помещений. Они обязаны глубоко изучить принципы использования безопасных для клиентов моющих средств, основы комплектования белья, предметов личной гигиены. И тому подобное!

Директор проговорил все это, по-прежнему не сводя глаз с Комаровского, явно ставшего ему словно бы ком-

пасом на пути в новые, непривычные образовательные категории.

А получив в ответ от Евгения Андреевича словно бы положительный импульс, Водовозов и вовсе взбодрился и уверенно заключил, что их общий успех не за горами.

– И не такие задачи на раз выполняли! За работу, товарищи! – каким-то особым, политическим голосом проговорил Семен Ильич. Примерно таким в свое время первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев торжественно объявил с трибуны XXI съезда: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Евгений Андреевич, и близко не заставший то историческое время, тем не менее машинально встал, нервно побледнев и как бы намереваясь что-то сказать, то есть внести свой вклад в обсуждение темы, но тотчас и опустился на стул, не произнеся ни слова. Что-то сорвалось в нем. Садясь, он машинально зыркнул взглядом на сиденье под собой, чтобы убедиться, нет ли на том каких-либо колких, липких и даже взрывоопасных предметов, которые отдельные школьники азартно норовят подложить учителю от избытка их подростковой энергии.

– Не понял юмора! – рассмеялся Семен Ильич. – У вас, Евгений Андреевич, есть какие-то возражения? Вас что-то смутило?

– Это я от волнения... Машинально. Сам не знаю, зачем я встал. – сдавленно проговорил учитель биологии. – Нет, что Вы, Семен Ильич! Я целиком «за». Пора и нам того самого...

Что именно «пора и нам», он не смог объяснить и походил сейчас на школьника, отчаянно забывшего на самом важном месте стихотворение, какое вчера с мучительной настойчивостью зубрил весь вечер.

– Да-да, пора! – снова взял инициативу в свои руки Водовозов и не удержался, шагнул к Евгению Андреевичу и от избытка положительных эмоций несколько раз вдохновляюще приобнял его.

– Можно, извините, ближе к теме нашего сегодняшнего педсовета? – поморщившись всем лицом, строго прого-

ворила семидесятисемилетняя математичка Анна Константиновна. – Господа, цените свое время! Нашли место тискаться. Вам здесь не гей-парад!

Последовавший коллективный смех был из-за застоявшегося общего перенапряжения настолько звучно-взрывчатым, надрывным и неестественным, что участники педсовета, уже расходясь по классам, продолжали «хвататься за животики».

Школьный охранник дедушка Петр Прохорович проводил их самым что ни на есть бдительно-настороженным, строгим взглядом, а потом уже вслед и сам, как бы нечаянно подхватив вирус смеха, ни с того ни с сего прыснул, гоготнул и залился мелким хриплым и надсадным болезненным всхohатыванием, на какое только были способны его жестоко прокуренные смолистые легкие и беззубый ветеранский рот.

Дома Евгений Андреевич весь вечер, вдохновенно сцепив руки замком на затылке, пролежал на реликтовом, еще бабушкином кожаном диване, своей громоздкостью похожим на мясистого старого бегемота.

На сегодняшнем педсовете Комаровскому под занавес поручили взять на себя заведывание, ни мало ни много, кафедрой подготовки экономок, горничных и дворецких. Он, конечно, просил нечто более близкое к его основному биологическому предмету, скажем, профессию садовника или того же зрителя за домашней живностью, только Семен Ильич уговорить себя не позволил.

С первых дней работы приемной комиссии «школы слуг» (другие, пусть и более официальные, правильные названия, изначально не прижились в коллективе СОШ) охранник Петр Прохорович и его сменщики возненавидели это педагогическое ноу-хау. Кстати, до сих пор родители воспринимали охранников как самых главных по значимости фигур школьной иерархии. Слово именно эти люди с волчьими мордами на фирменных куртках управляли всей жизнью школы и не позволяли ей рухнуть в бездну дисциплинарной анархии. Только их бдительность относительно наличия сменной обуви у школьников спасала жизнедеятельность СОШ от полного краха. Основы нрав-

ственности были все еще непоколебимы в здешних стенах опять-таки в силу того, что нахальное «шляние» школяров по коридорам во время уроков с хохотом и визгами «Вау!!!» мгновенно останавливалось одним только грозным взглядом представителя ЧОПа «Волк».

Однако даже эти заматерелые охранники стали повально отпрашиваться в отпуска, хотя бы и без содержания, а несколько человек так и вовсе уволились, когда школьные коридоры заполнили весьма специфической внешности молодые люди и девицы, примчавшиеся записываться на высшие курсы обслуживающего персонала для местной бизнес-элиты.

Вот, скажем, заходит некая юная претендентка почти без признаков верхней одежды и дерзко требует немедленно выдать ей диплом горничной или домработницы, но при этом одновременно в крик говорит с кем-то по смартфону, «фоткает» им вокруг себя все и всех подряд, а на просьбу озадаченного охранника надеть антиковидную маску ответно предлагает тому с пронзительным свербящим хохотом использовать ее по назначению при посещении «сортира».

Первое время Водовозов вообще не снимал со своих дверей табличку «Директора нет», но это мало помогало. Бронзовую ручку на двери ему так-таки оторвали: ничего удивительного, ибо, кажется, половина молодых жителей города решила стать камердинерами, дворецкими или просто лакеями.

Отчаянные жалобы на подобных более чем настойчивых посетителей, а иных, прямо говоря, здесь практически и не было, ежедневно поступали к Водовозову от растерявшейся и почти утратившей свою дисциплинирующую значимость службы школьной охраны.

– Как вы будете работать с таким диким контингентом?! – расстроенный до старческих слез, не раз глухо вскрикивал Петр Прохорович, завидев в коридоре директора.

– Успешно, друг мой, успешно. На ура! – философски отзывался Семен Ильич, норовя поскорее завернуть в свой кабинет сквозь перевозбужденную толпу желающих стать дипломированными слугами.

Как-то Петр Прохорович с некоей мудрой дерзостью крикнул вслед директору, живо удалявшемуся походкой солидного, полноценно счастливого человека:

– Семен Ильич, а меня не возьмете учиться на лакея?! Я глядел на школьном сайте: вы им после окончания курсов такие заработки обещаете, какие айтишникам не снились! В общем, камердинер из меня еще тот может получиться! Даже старший камердинер! Ливрея явно будет мне к лицу. Вернее, к моей морденции!

Водовозов остановился и вдумчиво, содержательно посмотрел на судорожно моргнувшего старика.

– Откуда ты такое слово заковыристое знаешь – «камердинер»? – снисходительно хмыкнул Семен Ильич.

– А я вчера во время рабочего дня пьеску Чехова по смартфону от нечего делать глядел! – дерзко объявил Петр Прохорович. – Какой-то там «сад». Вишневый, кажется. Туфта, конечно. Но один мужик мне там глянулся. И кто, как Вы думаете?

– Я насчет Чехова по полям, – поморщился директор.

– Лакей Фирс! Старикашка хреновый, вроде меня. Жизнь, мол, прошла, а он словно и не жил.

Водовозов благосклонно прищурился:

– Хорошо. Отпускай бакенбарды, Прохорыч. Да погу-ще! Тогда и поглядеть будем.

Старый охранник растерянно задумался и раньше времени включил звонок с урока.

Первым в еще пустой школьный коридор вышел из класса Евгений Андреевич. Вид у него был радостный, мечтательно вдохновенный. Иного настроения и быть не могло. Он только что увлеченно, почти самозабвенно рассказывал ребятишкам о великой тайне появления на Земле примерно четыре миллиарда лет тому назад самых первых форм биологической жизни, в итоге приведшей к появлению человека. Он так возвышенно и доверительно говорил об этом, словно лично присутствовал в тот исторический момент, когда на планете неизвестно как и неизвестно из чего слепились биомолекулы. Зародившиеся, между прочим, вовсе не в супе первичного океана, а, как это сейчас признано многими серьезными учеными, на суше, в тамошних ее лужах и лужицах.

– Что грустим, товарищ начальник? – аккуратно улыбнулся Комаровский охраннику.

– Да вот хотел на ваши курсы устроиться... – уныло проговорил Петр Прохорович. – На старости лет на ка- мердинера выучиться. А Семен Ильич меня на смех под- нял: мол, отпусти прежде положенные такой профессии баки. А у меня растительность на лице с молодости не прижилась. Вот так и живу с лысой физиономией. Зато на бритвах экономлю...

– Не переживай, я тебя возьму. А то у меня пока одни девицы на курсе. Без мужика, боюсь, не слажу с ними. Ны- нешные, как одна, все пошли такие агрессивно-стропти- вые!

– Я насчет себя просто так ляпнул! Не берите в голову, Евгений Андреевич! Юмора ради. Пошутил, одним сло- вом... – смущенно напрягся охранник. – А вы вот лучше внучку мою примите. Катюшку! Характер у нее – чистое золото! Правда, денег у меня сейчас не хватает, чтобы полностью оплатить ее учебу на ваших лакейских курсах.

Евгений Андреевич строго задумался.

– Ничего, Прохорыч, внесешь частями. И скидку твоей протеже какую-никакую придумаем. Все-таки ты свой че- ловек. А только внучка твоя согласится ли?

– Да она как про эти ваши курсы услышала, так буд- то расцвела и даже запрыгала от радости! Вальсу начала учиться! А до этого вместо приличного танца она со свои- ми подружками только по полу извивалась, как при паду- чей. Но образование у нее высшее! – не без гордости уточ- нил Петр Прохорович. – Как и Вы, биофак ВГУ окончила.

– Станный случай... – замаялся Комаровский. – Очень даже. А кем она работает? Учитель? Или в аспирантуру уже поступила?

– Как бы не так! – в сердцах вскрикнул охранник. – Вам ли не знать, что сейчас после института редко кто по про- фессии устраивается. Им главное корочку диплома о выс- шем образовании заполучить. Для фанаберии. А так она у меня сейчас менеджер. В «Глобусе». Старший менеджер! По авторучкам да карандашам. За весь день наговорится с покупателями до того, что слова в горле у нее начина-

ют застревать. Зато всегда на людях. Смотришь, и жениха себе, наконец, моя Маша углядит. И не абы какого. Она у меня девка не простая! В Интернете чуть ли не каждый день можно найти ее статьи. Про театр она у меня любит писать, про современную музыку, всяких там художников.

– Ладно, приводи свою красавицу... – вздохнул Комаровский с каким-то нехорошим предчувствием. Ему как будто стыдно за что-то стало.

Проходя мимо поста охраны, Евгений Андреевич мельком глянул на себя в зеркало. Он явно не понравился себе. Какая-то суетная, перенапряженная личность. О таких говорят – «без царя в голове».

И все-таки он нашел в себе силы на прощание улыбнуться своему отражению. Хорошо, что никто не видел его в этот момент. Улыбка вышла «сикось-накось». Какая-то пришибленная, одним словом.

Следующее утро, как отныне и все прочие, началось с того, что войти в школу оказалось просто невозможно. У ее парадных дверей загодя собралась нервная, лихорадочно шумная толпа. Такой многолюдности здесь не наблюдалось практически никогда: ни в торжественно-классический день первого сентября, ни на выпускном празднике.

Преподавателей пропускали в школу через потайной ход. Вначале он вел в подвал, где раньше располагалась угольная кочегарка, потом ты оказывался в мрачном и сыром запутиненном помещении, переполненном портретами и бюстами Ленина, Сталина и, кажется, Дзержинского, а также множеством безобразно выцветших красных знамен и тусклых блеклых гербов СССР. Одним словом, подлинный паноптикум былого величия.

У школьников отныне имелся один путь попасть в свои классы – через окна. Правда, ребягню это не только не отягощало, а, стопудово, приводило в состояние счастливого восторга.

Как член приемной комиссии, Евгений Андреевич в выделенном им на время спортзале день ото дня, как на автомате, по несколько часов одно за другим регистрировал заявления о принятии на курсы. Правда, лиц большинства

претендентов и претенденток он даже не видел, потому что они практически не отрывали свои взгляды от персональных смартфонов, даже когда отвечали на его вопросы в анкете.

Само собой, ни о каком кастинге речь не шла. Семен Ильич торжественно убеждал преподавателей, что научить правильно подать тарелку к столу или сменить постельное белье можно научить и обезьяну. Поэтому на первых порах принимали любого желающего оплатить свою учебу.

Тем не менее Евгений Андреевич, как говорится, не успевал лица поднять. Написанные в основном плохим почерком со множеством грубых ошибок заявления, тем не менее, источали дорогие томно-страстные ароматы парфюмерной воды и одеколонов лучших европейских брендов: от эпатажных, дерзких и до жизнерадостных. Это была как самая настоящая газовая атака.

Однако в конце недели за десять минут до прекращения работы приемной комиссии, то есть где-то около восьми вечера, на стол перед Евгением Андреевичем впервые легло заявление, которое ничем не пахло, кроме как бумагой.

– Фамилия написана неразборчиво... – глухо, утомленно проговорил Евгений Андреевич, бегло пробежав глазами заявление.

– Серебрянская, – аккуратно проговорила будущая курсистка.

– Что-то она мне знакома, – сдержанно отметил Евгений Андреевич и поднял голову.

Перед ним стояла девушка лет едва за двадцать и очень простой, несовременной внешности без ядовитого окраса волос и жутковатых татушек на всех доступных и недоступных частях тела. Для такой в нынешнем молодежном сленге и близко не найти подходящего определения среди заковыристых прозвищ типа «готесса», «ниферша» или та же «лейбла». То есть достаточно приятное миловидное лицо и вся из себя она неброско стройная, правда, несколько избыточно худощавая, но вовсе не в подражание стучащим костями подиумным моделям. В общем, надутых всякой гадостью губ и грудей точно не имелось в ее простодушном облике.

– Мой дедушка у Вас работает в охране, – сказала Серебрянская с теплой, искренней и веселой интонацией.

Комаровский тотчас понял, о ком идет речь. К стыду своему он никогда не знал фамилию Петра Прохоровича. Серебрянский?! Более чем недурно. Такая фамилия во многих своих ответвлениях в веках знаменита на особом, историческом уровне. А Серебряный век? Вон как...

– Так Вы – Маша?

– Маша Серебрянская.

– И какую параллельную специальность намерена получить Маша? – достаточно напряженно вздохнул Евгений Андреевич.

– Может быть, экономки? Я в профессиях прислуги как-то не очень разбираюсь... – вкрадчиво улыбнулась Маша, как видно, заранее предугадав, какая реакция проявится на это признание у переутомленного человека за официальным столом с бессмертной красной бархатной скатертью, толстобоким стеклянным графином и куцым букетиком мертвенно увядших белокрылых ромашек в увесистом граненом стакане.

Комаровский машинально откинулся на спинку стула, что исподволь придало его сухощавой неказистой фигуре определенную значимость. Да и слова из расправившейся груди исходили легче, с нужным объемным звучанием.

– Давайте, Маша, конкретней определимся.

Евгений Андреевич сощурился, словно глаза у него от усталости слиплись сами собой.

– Честно говоря, я намерена выбрать стезю экономки, – твердо проговорила Маша.

– Это хороший выбор! – уверенно проговорил Евгений Андреевич. – Хотя, если честно признаться, лично для меня ваше желание несколько непонятно. Мода времени? Как Вы, биолог с высшим образованием, будете день изо дня контролировать работу горничных и кухарок?

– Не только это, – мягко поправила Маша. – На мне будет почти все домашнее хозяйство. Я много успела узнать всяких разных тонкостей об этой профессии. Сингапурскую методику постигла!

– Да, да... – тупо отозвался Комаровский. – Не исключая, что Вы со временем еще и кандидатскую напишете по теме профессий прислуги? А там, глядишь, и докторскую. Академию слуг создадите. Только вместо черных мантий и конфедераток с кисточкой у Вас будут озорные фартучки и яркие кокошники.

Маша сдержанно, почти робко вздохнула.

У Евгения Андреевича неожиданно возникло странное желание строго взять Машу за руку, вывести из школы и запретить ей даже вспоминать о таком ее безответственном порыве.

Евгений Андреевич вовремя вспомнил про ее работу менеджера по продажам карандашей и ручек, судорожно усмехнулся и старательно занес Машину фамилию в список зачисленных конкурсанток.

– Премного Вам благодарна, сударь, – умно и красиво сказала Маша.

– Передавайте привет Вашему замечательному дедушке, – неуклюже улыбнулся Комаровский.

При этом он машинально покосился на стоявшее перед ним в граненом стакане с помутневшей водой некое подобие букетика глазастых ромашек. Они покорно и безобидно тарачились на Евгения Андреевича.

«А что, если подарить их Маше?» – подумал он, словно проверяя глубину своей глупости.

Когда она уходила, Комаровский опустил голову, чтобы не смотреть ей вслед. Он и без того только по звуку ее шагов отчетливо представлял, как она мягко и плавно идет. Идет так, словно школьный спортзал не переполнен донельзя претендентками и претендентами, а она здесь одна, сама по себе.

«Перспективная девушка...» – вздохнул Евгений Андреевич, и тут его взгляд неожиданно задержался на канате, который гигантским черно-белым червяком свисал с потолка спортзала. Комаровскому вдруг неожиданно захотелось, бодро подпрыгнув, зависнуть на нем и, уверенно перебирая руками, стремительно взлететь под потолок.

«А с высоты послать Маше воздушный поцелуй? Дитя дитем...» – осуждающе подумал он о себе, хорошо пом-

ня, что это упражнение ему всегда не удавалось. Когда он был еще школьником, учитель физкультуры отворачивался, если подходила очередь Женьке Комаровскому лезть под потолок по канату. Женька дергался на нем, как рыба молодь, сдуру ума зацепившаяся губой за голый рыболовный крючок.

Очередная претендентка с розово-черно-зеленой прической ревниво перехватила взгляд Евгения Андреевича.

– Это Машка Серебрянская к Вам сейчас приходила типа на курсы записываться? – проговорила она, словно бы в нос густым, ноющим голосом, возможно, из-за обилия металлических колец на носу и губах. Имелись они также в немалом количестве на ушах, шее и лбу. И мало ли где еще...

Комаровский хмыкнул, представив, как неуютно девушка, если придется, будет чувствовать себя в коконе магнитно-резонансного томографа.

– Я не имею права разглашать никакие личные данные абитуриентов.

– Ауф! С ней Вы наплачетесь! Она самый настоящий токсик! И хейтит всех подряд!

– Извините, я ничего не понял из вашего новомодного языка. И вообще идите к другому столу. У меня перерыв.

Он ладонью резко повалил свою табличку с ФИО, словно сам себя прихлопнул. Наверное, это все, на что он способен?..

Заснул в эту ночь Евгений Андреевич только под утро.

«Кто придет завтра на смену нам? Кто будет пахать землю? Делать ракетные двигатели?.. Писать стихи! Компьютеры?»

Комаровский лежал, как оцепенев.

Перед открытием «школы слуг» математичка Анна Константиновна предложила провести торжественную линейку с построением. На такой случай в школьном музее она уже договорилась насчет «проката» горна и барабана. Однако эта идея отклика у директора не нашла. Семен Ильич распорядился организовать непринужденное коллективное чаепитие с некоторым даже размахом в духе всяких

разных молодежных акций – флешмоб и прочие западные выкрутасы.

– И никакого алкоголя! – многозначительно рассмеялся он.

Фуршет назначили в школьном саду: расставили между здешних только что отцветших яблонь столы и стулья в форме большого сердечка, самовары с дымком раскочегарили, а к ним в плетеных корзинках подали всякие разные печенюшки. И, чтобы угодить нынешним гастрономическим молодежным веяниям, заказали велосипедную доставку пиццы, роллов и суши. Последние Семен Ильич то ли в насмешку, то ли грамматической фанаберии ради на свой особый лад называл вместо «суши» – «суси». Ко всему прочему он целый день готовил напутственное слово, а за несколько минут до начала торжественного чаепития обнаружилось, что директор эти свои вдохновенные наброски потерял.

Пришлось говорить, так сказать, экспромтом, но спичрайтер из него оказался никакой. В этом особом жанре Семена Ильича хватило только на одно предложение:

– Каждый домработник должен быть гением!

Тут Маша Серебрянская встала и порывисто предложила, не откладывая, создать профсоюз по защите прав домашней прислуги.

– Уверена, всем нам достаточно скоро придется столкнуться с придирами, упреками и прочими заковыками наших хозяев! Плюс хамские интимные домогательства и лживые барские обвинения в воровстве или тайком съеденном лакомом кусочке.

Все с интересом повернулись к Маше. Правда, это вряд ли было связано со смыслом ее заявления, а скорее, с необычным видом: на фоне молодых людей в донельзя коротких шортах и мини-кофточках, скорее напоминающих очень открытые лифчики, на ней развевалось классическое длинное праздничное белое платье, а на ножках Маши сияли вполне приличные черные лабутены с красной платформой.

Евгений Андреевич никогда не видел портрет Жанны Д'арк или видел мельком, да и то иконописный, но ему по-

казалось, что в матовом от вдохновенного волнения лице Маши некоторым образом явственно присутствуют черты Орлеанской девы.

– Не бойтесь трудностей! За время учебы на курсах, дорогие вы мои, я уверен, у вас вырастут самые настоящие крылья! Вперед и выше! – покровительственно успокоил собравшихся Семен Ильич и благожелательно рассмеялся грянувшим счастливым аплодисментам.

После официальной части Водовозов поделился с Евгением Андреевичем новостью, будто Петр Прохорович практически на полном серьезе высказался насчет своего экстравагантного желания в духе времени получить «корочку» камердинера а-ля старый, глуховатый лакей Фирс из «Вишневого сада» Антона Павловича Чехова.

В эту ночь Евгению Андреевичу отчетливо, объемно снилось, будто он сам дворецкий или мажордом в некоей большой олигархической семье. И получает он там за свои труды праведные ни мало ни много по миллиону рублей в неделю. А все его обязанности «старшего по дому» заключаются в том, чтобы поутру перед завтраком, когда глава семьи нетерпеливо усаживается за столом, выйти на середину их просторного, нет, даже необъятного столового зала и напряженно, на армейский манер вытянув руки по швам, чуть приподняв свой гладко выбритый, лакированно бликующий подбородок, объявить достойно, полно-весно: «Ваша овсянка, сэр!»

И за все за это, включая миллион рублей в неделю, Евгению Андреевичу было даже во сне стыдно и хотелось как можно скорей проснуться. Однако сон цепко не отпустил его и до самого утра мучительно, словно испытующе повторно являлся несколько раз, словно заела некая шестеренка в механизме снотворческой аппаратуры.

Наконец проснувшись, Комаровский не сразу расстался с чувством стыда за свою фразу «Ваша овсянка, сэр!» и миллионом рублей в неделю. Он понимал, что это всего-навсего сон, но поделать с собой ничего не мог.

В конце концов, чтобы избавиться от таких самоедских переживаний, он со всей присущей ему педагогической

старательностью принялся готовиться к первому уроку с будущими слугами.

Настороженно раскрыл Евгений Андреевич некую английскую методичку, однако подготовленную с учетом специфики загадочной психологии русского человека и особенно его непростой таинственной души.

Читал не спеша, с невольным напряжением: «Не уважающий себя человек никогда не станет хорошим рабом. Не стоит, приняв ошейник, полагать, что теперь можно не задумываться ни о чем, раз все решает Господин или Госпожа. Хороший раб – это правая рука, помощник и советник хозяев во всех их начинаниях. Приняв ошейник, раб должен все силы, душевные порывы, ум, волю, таланты и навыки употребить на служение господам, приняв всем сердцем мысль, что он собственность, вещь, но вещь разумная и многофункциональная. Притом ему запрещается быть навязчивым, забывчивым, делать ложные выводы, необоснованные домыслы, вторгаться без разрешения в личную жизнь господ».

С первых минут чтение стало вызывать у Евгения Андреевича легкие приступы нехватки воздуха.

«Так, соискатель должности дворецкого обязан сопровождать хозяина до автомобиля утром, открывать двери машины. Встречать его вечером, организовывать теплый прием. Сопровождать в доме. Контролировать прием лекарств, запись к парикмахеру, врачу и прочие записи личного календаря. Подбирать школу для детей, спа-курорты. Покупать предметы интерьера, посуды, бытовой техники, вина, сигар и прочего. Планировать бюджет и вести отчетность. Контролировать работу всего персонала, включая повара. Выполнять личные распоряжения хозяев. Иметь навыки оказания первой медицинской помощи. Неплохо знать минимум три иностранных языка: английский, французский и китайский. Иметь сертификат сомелье и сертификат TheInternationalInstituteofModernButlers («Международного института современных дворецких»).

После таких фраз он явно не хотел бы сейчас ни с кем говорить даже о такой, всегда волнующей его главной био-

логической теме, как зарождение жизни на Земле. Кстати, Евгений Андреевич с провинциальной дерзостью отрицал общепринятую теорию академика Опарина о биохимической эволюции. Он вызывающе склонялся к гипотезе Рихтера о занесении жизни на Землю метеоритами. Да, он не был в этом оригинален. На такой позиции стояли, скажем, великие Герман Гельмгольц и Владимир Вернадский. Однако, как преподаватель биологии, Евгений Андреевич должен был придерживаться официальной точки зрения – и это было одним из источников его вечной нервозности и замкнутости. Когда на одном из Всероссийских семинаров преподавателей биологии Комаровский отважился с трибуны вернуть панспермию на пьедестал, коллеги не только не поддержали его, но стали массово уходить из зала, многозначительно посмеиваясь. Только что пальцем у виска не крутили.

Однако Евгений Андреевич, несмотря ни на что, мужественно напрягшись, как бы став еще выше ростом, продолжал уперто, нервным голосом, отчего слишком поспешно, чуть ли не сбивчиво, неуклюже продолжать свое провальное утверждение, что жизнь возникла не на планете Земля, а занесена на нее метеоритами и кометами из глубин Вселенной в форме бактерий и иных микроорганизмов.

В итоге председательствующий на семинаре член-корреспондент начал лихорадочно звенеть своим тонкоголосым никелированным колокольчиком, а вдобавок, для пущего эффекта, хлопать ладонью по столу. Ладонь, как видно, была основательная, как у того же плотника, слесаря или тракториста. Одним словом, стоявшие на столе графины принялись симфонически дребезжать, а микрофоны попадали, словно ниспровергнутые.

– А откуда, любезный Евгений Андреевич, позвольте Вас спросить, эти первичные формы жизни объявились в Космосе, прежде чем соизволили попасть к нам на Землю?! – рыкнул, закашлялся председательствующий член-корр.

– Хороший вопрос. Спасибо! – щедро, но как-то все же по-прежнему лихорадочно улыбнулся Комаровский. –

Живые микроорганизмы появились во Вселенной вместе с самой Вселенной!

– Это настоящая религиозная чушь! Бредни! Поповщина!!! – закричали из зала.

Чтобы помочь председателю остановить зарвавшегося биологического диссидента, которым в глазах всех отныне стал бледный и потный Евгений Андреевич Комаровский, зал, в свою очередь, принялся все громче и громче аплодировать, чтобы сделать невозможным для себя слушать и далее «доморощенные гипотезы».

В итоге Евгений Андреевич покинул трибуну. Правда, ушел он неторопливо, с достоинством и очевидной духовной просветленностью в лице.

Такое событие не осталось без должных выводов: там, наверху, на все на это веско отреагировали и отныне на биологических конференциях и симпозиумах Евгению Андреевичу перестали давать слово.

Водовозов был в курсе антипопулярности Комаровского среди коллег, но дети почему-то очень любили этого долговязого, нервного учителя биологии, и Семен Ильич пока великодушно закрывал глаза на сугубо ошибочные теоретические взгляды Евгения Андреевича. А если тот на каком-либо праздничном застолье под коньячок так-таки дерзко порывался оседлать тему панспермии, директор Водовозов сразу давал понять математичке, что вся надежда сейчас только на нее. И тогда понятливая семидесятисемилетняя учительница с лукавой, но мудрой улыбкой объявляла музыкальную паузу и озорно, с наскоку приглашала биолога Комаровского на вальс. И Анне Константиновне было неважно, что школьный оркестр ничего, кроме панковой музыки и хип-хопа, исполнять не умел. Несмотря на зрелые годы, она уверенно чувствовала себя в любом, самом молодежном жанре. Наверное, сказывалась ее активная рок-эн-ролльная и твистовая юность.

В энергичном танце с вдохновенной, ослепленной Анной Константиновной Евгений Андреевич быстро утрачивал желание просвещать окружающих относительно истинных причин их общего изначального появления на этой многострадальной планете.

Как бы там ни было, за лето курсы домашней прислуги достаточно успешно отработали свою первоначальную задачу. Как сообщил Семен Ильич в своем директорском итоговом отчете городскому управлению образования, за время каникул педагоги вверенной ему СОШ подготовили восемнадцать дворецких, двадцать пять камердинеров, двенадцать экономок, двадцать три горничных, а также пятнадцать гувернанток и двух лакеев. Шестнадцать человек не были допущены к экзаменационным испытаниям из-за частых пропусков занятий или многократного появления на них в неподобающем виде, чаще попросту донельзя нетрезвом. Семь обучающихся на втором и третьем месяце занятий самостоятельно отказались от продолжения получения специфических знаний по разным особым причинам, но, согласно договору, платежные средства, внесенные ими, возвращены администрацией школы не были. Попыток отсудить материальный урон никто из обучающихся не предпринял.

Днями на школьных дверях, несколько перекошенных из-за отсутствия нижней петли, не выдержавшей непрерывного ее пинания учениками (и не только!) в течение учебного года, появилось красочное, но все-таки аляповатое объявление о встрече выпускников курсов с их будущими работодателями. Водовозов, честно говоря, никак не ожидал такого ажиотажного интереса местных олигархов к их новоявленным курсам.

С первого дня начала работы «Школы слуг» здешние политики, банкиры и предприниматели (и не только!!!) настойчиво звонили ему, чтобы заказать себе нужного человека из самых-самых лучших.

На эту встречу народ из областного «списка Forbes» пожелал явиться лично. Одним словом, новогодний благотворительный губернаторский бал не видел такого наплыва местной элиты.

Из спортзала в экстренном порядке убрали почти все его физкультурные приметы: маты, кольца, трамплин, канаты, коня и козла, включая шведскую стенку. Цветы в горшках и пальмы в ведрах, напротив, снесли сюда со всех классов и коридоров. Даже из директорского кабинета

та взяли его любимые кактусы, похожие на рассерженных дикобразов.

Кстати, местный магнат Юрий Данилович Печерин прилетел на своем любимом легком вертолете с романтическим названием «Робинзон» и, лично им управляя, смело изловчился сесть прямо на крышу СОШ. Притом почти ее не повредив. Кстати, Юрий Данилович позже сторицей возместил расходы на ремонт такой суммой, что ее хватило на подготовку к новому учебному году всех школ этого района.

Когда Семен Ильич и Евгений Андреевич по дороге в зал поравнялись с Машей, она, нежно просияв, с явно балетным изяществом самым вежливым, почтительным образом исполнила этикетный ритуал поклона с тремя глубокими, раз от раза нарастающими приседаниями. При всем при том исполнение состоялось без напыщенной вычурности и излишней торжественности, – как птичка вспорхнула она раз и другой, и третий.

– Что за театр, прошу меня извинить, – достаточно сухо проговорил Семен Ильич, только что не закашлявшись.

– Наши просили меня поблагодарить Вас от имени всего курса! – красиво проговорила Маша. – Мы Вам очень благодарны. Донельзя. Но на эту встречу никто прийти не смог. Всех нас с первых дней занятий как пирожки горячие расхватили! Влет разобрали по самым лучшим домам. Конечно, не Лондона и Парижа, но все трудоустроились самым наилучшим образом! Одна я пока на воле вольной порхаю. Жду свой звездный час!

Тотчас к ним почти парадным строевым шагом блестящих кремлевцев подступил Петр Прохорович с большой корзиной красивых, но ничем не пахнущих голландских цветов.

– Это от нашего курса всем преподавателям! – радостно проговорила счастливая донельзя Маша. У нее было столь воодушевленное лицо, словно она приготовилась немедленно или что-то пропеть, или стихи прочитать не-возможно прекрасные.

– Выходит, задуманная мной встреча сорвана?! – глухо, просто-таки болезненно вскрикнул Водовозов. – Ни-

чего себе выверт! Самая настоящая гибель Помпеи! Все, уйду в монастырь...

– Не надо, миленький! – взволнованно-радостно вскрикнула Машенька, словно осчастливленная возможностью кого-то немедленно спасти. – Доверьтесь мне. Я хорошая ученица, честное слово. И на раз-два сделаю так, что все собравшиеся олигархи уйдут от нас довольные собой и жизнью!

Какая-то классическая женственность зримо, гордо проявилась во всем оживленном, ярком лице Маши.

– Будь что будет... – обреченно хмыкнул Водовозов.

Машенька очаровательно прошла к микрофону: так ходят только навстречу очень счастливому будущему.

Публика, наполнявшая зал, притихла, переполненная чувством собственного достоинства. До сих пор вряд ли какой зал, пусть и из первых столичных, вроде таких главных, как CrocusCityHall или СК «Олимпийский», мог заявиться таким числом олигархов. Разве что Государственный Кремлевский дворец на юбилейном концерте былой Примадонны.

Маша не сказала еще ни слова, – ее глаза пока смотрели не в зал, а куда-то вверх, словно она ясно видела ими небо даже через потолок и крышу, и там, среди подпиравших небо своими хребтами облаков, явственно читала специально для нее начертанные свыше слова.

– Господа... – тихо, особым проникновенным шепотом Татьяны Дорониной проговорила Маша. – Я – Маша! Когда-то принято было говорить, что человек человеку – друг, товарищ и брат. Сегодня человек человеку или господин, или слуга! Историческая правда возвращена. В наше время господа без слуг и слуги без господ, как вы понимаете, – обоюдное ничто. Между ними должна быть тесная смычка. Прошу Вас на выходе заполнить анкеты, кого из челяди Вы хотите пригласить в свой дом!

Раздались снисходительные, местами достаточно вежливые, хотя в основном более чем разрозненные аплодисменты.

– Вот тебя я и хочу пригласить! На должность экономки, – деловито проговорил в первом ряду, несколько

привстав, молодой человек с очень приятной, почти артистической внешностью – Счастливец, хозяин свиноводческого комплекса. – Меня зовут Илья Борисович. Всякие там горничные и гувернантки у меня имеются. Но мне нужна главная над ними. С башкой!

Сидевшие в зале коллеги вновь не удержались от одобрительных хлопков. На этот раз те были вполне из разряда дружеских. Соседи Ильи Борисовича даже потянулись приятельски пожать ему руку. Он не ответил ни на один такой жест, но сердечно и весьма глубокомысленно улыбался всем. На его лице было отчетливо написано, что он не утонул в своих миллиардах, аки пушкинский скупой рыцарь-скряга, который, открывая свой заветный сундук, каждый раз впадал «в жар и трепет». Не вызывало сомнений, что Илья Борисович, помимо всего прочего, ценит литературную классику, отменно разбирается в живописи, мальчишески любит спорт и уверенно чувствует себя за штурвалом личной океанской яхты с романтичным названием «Ассоль» или личного двухмоторного самолета с патриотичным именем «Чкалов». И это только краткий, беглый перечень достоинств Ильи Борисовича.

– Да, барин, – мягко, уважительно отозвалась Маша.

– Браво... – усмехнулся Счастливец. – А у кого ты, милая, до меня работала?

– Все свои лучшие молодые годы я готовилась к встрече с вами... – был ответ Маши, прозвучавший одновременно вежливо, остроумно, но с допустимыми нотками аккуратного самолюбия.

Тем не менее Евгений Андреевич машинально дернулся, как это случается, когда человек вдруг почувствует, что по спине у него ощутимо ползет, царапая кожу, некая достаточно жесткокрылая букашка.

– Тпру... – тихо проговорил Водовозов. – Если испортите всем нам праздник, я на вас потом Петра Прохоровича спущу.

В это время представитель школьной охранной службы, как школьник, краем глаза заглядывал в зал то через одно зарешеченное окно, то через другое. При этом всякий раз на лице Петра Прохоровича промелькивало самое

противоположное выражение: радость внезапно сменялась строгостью, растерянность – восторгом и так далее. Это был настоящий спектакль одного актера. Евгений Андреевич даже название мысленно ему подобрал – «Слуга двух господ», того самого Карло Гольдони.

– Оклад в сто тысяч Вас устроит, Маша? – проговорил Илья Борисович мягким, несколько утомленным голосом невольно подуставшего от своей щедрости и своих неоспоримых возможностей человека, определенно живущего в надмирных сферах неподалеку от резиденции самого Господа Бога.

Петр Прохорович тут как тут объявился в очередном окне, показавшись в нем от разгоряченного волнения чуть ли не во весь свой, так сказать, анфас. При этом его энергичные мимические и жестикулярные возможности выразительно свидетельствовали, что Петр Прохорович, несмотря на свой более чем достаточный возраст, до сих пор обладает исключительной многогранностью и живостью выражения. Одним словом, он настойчиво и весьма понятно сигнализировал Маше: соглашайся, внуча, не будь дурой!

– Благодарю Вас, Илья Борисович... – Маша уважительно вздохнула.

Но не более того.

В эту минуту с залом, до сих пор пребывавшем в состоянии некоей прострации или вовсе отчужденности, словно бы произошло нечто непредвиденное. Что-то подобное случается с игроками в рулетку, когда крупье запускает шарик в священный желобок, как истинный властелин ставок. Само собой в этом его жесте, отработанном до автоматизма, и все же каждый раз не лишено неуправляемой азартной новизны, на первом месте всегда определенно витает ощутимый, надменный дух насмешливого и дерзкого мистицизма и потаенного раздраженного коварства, которое неизбежно испытывает всякий, видя утонувшую в безумном азарте колоду страдающих человеческих физиономий.

В общем, что-то в настроении зала неуправляемо изменилось. Он словно бы ожил. Несколько растревоженно ожил. Более чем ожил!

И тут, как раз за спиной Ильи Борисовича, неуклюже привстал Дмитрий Алехнович, владелец или, если вам такое словцо более по душе, хозяин очень даже известного везде и всюду завода «Молочные реки». Ко всему профессор, доктор биологических наук и член Государственной Думы, в недалеком прошлом – актер одного местного драматического театра.

Дмитрий Дмитриевич, напряженно поморщившись, сказал как бы сам себе, тише тихого:

– Итак, сто двадцать тысяч. Чего пожелаете.

Евгений Андреевич невольно подумал, что если бы этот человек просто о чем-то подумал, не прибегая к помощи слов, его все равно определенно услышали бы.

Маша смущенно приопустила голову на кончики своих пальцев, чуть ли не молитвенно сложенные на груди ладошкой к ладошке.

Не успел Дмитрий Дмитриевич дождаться ответа, как у него за спиной кто-то, словно прыгучий камешек, пульнул по воде:

– Сто пятьдесят!

Следом прогрохотало, но уже как реактивный истребитель, пошедший на взлет на форсаже:

– Двести пятьдесят!

Тут, набычившись, босс местных спортивных стадионов и залов, словно в крученном хлестком прыжке метателя ядра, бодро, ударно выкрикнул:

– Триста тысяч!!!

Эти его слова полетели через зал, стремительно догоняя и сокрушая все предыдущие предложения.

И рассмеялся. Душевно так, простецки. Как во времена оные в деревне, когда прозвучит забавная частушечка с эдаким срамным подтекстом.

Кажется, происходящее начало весьма нравиться залу. Собравшиеся явно почувствовали себя в родной стихии. От былого недоумения и напряжения, вызванного неожиданной переменной повестки дня, не осталось и следа.

И понеслось как вразнос:

– Триста пятьдесят!!! Четыреста! Пятьсот! Пятьсот двадцать!!! Миллион!

Это была самая настоящая радостная игра. Очень даже пацанская, забавная и одновременно до невозможности заводная, зажигательная. Что-то вроде смеси из бывшего штандера, догонялок и пристеночки. В каждом выкрике новой цифры всякий словно бы норовил сам себя превзойти и таким открыться перед всеми, чтобы народ ахнул, заулюлюкал и затопал ногами.

Такого хлесткого ажиотажного беспорядка звуков этот школьный спортзал вряд ли когда слышал, даже в те редкие счастливые для учеников минуты, когда они на какое-то время оставались без физрука, – и тотчас всем кагалом с ревом кидались лазать по канатам, прыгать с трамплина или состязаться в битве кавалерии со всадниками на плечах сверстников.

Вдруг стало тихо. Провально, чуть ли не ошеломительно. И только-то, казалось бы, что Илья Борисович вновь встал. Встал, да и встал. Так нет же, он еще как-то вполне по-домашнему высморкался. Огляделся, прищурясь, потому что снял свои очки-иллюминаторы, и сейчас тщательно протирал их. Казалось, эти его простецкие, ни к чему происходящему не имеющие отношения обыденные действия, будут длиться еще достаточно долго.

Но зал решительно приготовился ждать до финальной черты. Просто-таки с восхищением. В зале не было человека, который не знал или хотя бы не слышал о всяких разных особенных штучках в манерах и взглядах Счастливецва, его всякие эдакие выкрутасы, виртуозные словесные прибаамбасы и неожиданно жесткие, ошеломительные решения. Никто не относился к этому человеку запросто. Илью Борисовича, чтобы он не делал или не говорил, нельзя было не принимать во внимание на уровне обязательной первоочередности.

Постояв минуту-другую с самым что ни на есть равнодушным лицом, Счастливецв, наконец, сел, введя всех собравшихся в зале коллег по бизнесу в явное состояние философского предвосхищения и вдохновенности.

Илья Борисович еще раз и опять же весьма обыденно высморкался, а потом также по-простецки, как будто был наедине с самим собой, потянулся поправить подвернув-

шийся левый носок. Кстати, он никогда не изменял одной своей странной особенностью, учитывая его вовсе не молодежные года: левый носок на нем всегда был черного цвета, а правый – белого.

И вот, подтягивая именно его, черненького, Счастливец вдруг негромко, даже глухо, потому что чуть ли не в пол, проговорил:

– Полтора лимона.

Тем не менее, его услышали все. Кажется, его услышала вся школа. Да что там какая-то их СОШ, пусть даже и из самых лучших! Илью Борисовича услышал весь город. Страна в целом!!! Иначе и быть не могло. А вот Петру Прохоровичу показалось, что фразу Счастливецва про размер содержания его будущей экономки услышала вся планета. Правда, насчет Большого Космоса ясности не было.

Если говорить проще, предложение Маше со стороны Ильи Борисовича произвело на всех в зале примерно такое впечатление, когда ты стоишь в саду, скажем, под яблоней, усыпанной мордатými зрелыми плодами, а тут некий озорник или даже озорники со всей силой дернут ее ствол туда и сюда. И тебя шумно осыплет душистый озорной град, норовя засыпать с головой. Само собой, и по носу достанется смачным яблочком, и по уху оно запросто съездит, по лбу основательно щелкнет. Не без того.

– Она согласна!.. – хрипло, с задыхом прокричал через двойное мутное стекло спортзала Петр Прохорович.

Только его как бы никто и не услышал. Кроме разве что Водовозова и Евгения Андреевича. Кстати, Анна Константиновна тоже пропустила мимо ушей отчаянно-радостный, но при всем при том чуть ли не болезненный голос определенно пожилого охранника. Сопоставив свой оклад с будущими доходами Маши, учительница математики еще долго не могла ни о чем ни говорить, ни слушать. Более того, она несколько минут не могла вспомнить ни строчки из таблицы умножения.

– Наша радостная встреча радостно завершена! – логично прокричал Водовозов, интуитивно, директорской своей «чуйкой» осознавая, что всем потребна спасительная пауза, а иначе... – Счастья всем!!!

На выходе Счастливец приобернулся, сосредоточив свой взгляд на Комаровском.

– Вас, кажется, зовут Евгением Андреевичем?

– Да, так... – как можно отстраненней, словно бы вовсе безличностно, проговорил тот.

– Память меня не подвела! – великолепно усмехнулся Счастливец. – Вы полгода были моим учителем биологии! А потом наша семья переехала жить в Штаты. Кстати, Вы мне тогда почему-то очень не понравились. Извините.

– Да-да... – глухо отозвался Евгений Андреевич.

– Успокойтесь. С Вашей протезе все будет хорошо... – внушительно, пророчески произнес Илья Борисович.

В третьем часу ночи в квартиру Комаровского позвонили.

Евгений Андреевич еще не спал. Понять причину его нынешней бессонницы было несложно, тем более что этих самых причин было хоть отбавляй: от любой голова невольно пойдет кругом.

«Какая сволочь ошиблась дверью?!» – напряженно, просто-таки судорожно подумал Комаровский, как будто мысленно вскрикнул.

И вдруг взволнованно спохватился: «А как если это – Маша?! Маша!!! И верно... Это точно она! Она все поняла! Что – все?..»

Евгений Андреевич спешил к двери с таким чувством, словно он сейчас простит человечеству все его явные и неявные грехи, включая ювенальную юстицию и смену полов.

Звонок торопил его. Счастливое будущее человечества приближалось секунда за секундой.

В «иллюминатор» дверного глазка Евгений Андреевич увидел Петра Прохоровича. Но и этой щелки было достаточно для отчетливого понимания – дедушка Маши основательно пьян. Правда, пьян специфически. Как-то так, скажем вдохновенно, азартно пьян. Одним словом, лицо его определенно выглядело озаренным некоей радостно-восторженной и в то же время блаженной энергией. Мало того, что ее источником были и глаза, и губы, и даже лоб и уши Петра Прохоровича, она, ко всему прочему,

словно бы шевелилась у него под кожей, озорно перека-  
тываясь ликующими волнами. С определенной натяжкой,  
однако, можно было так-таки утверждать, что физионо-  
мия Петра Прохоровича «кипела счастьем»!

– Что приуныли, господин преподаватель? – умиленно  
раскинул руки Петр Прохорович, словно намереваясь не-  
медленно, по-первому зову свыше, взлететь ни много ни  
мало как раз в ангельские сферы.

Сказать, что Петр Прохорович ввалился в квартиру Ко-  
маровского, – ничего не сказать. Он мощно, всей своей  
пояныне неувядающей крепью бывшего воина-афганца объ-  
емно переполнил куцый коридорчик хрущевки Комаров-  
ского. В школьных пространствах он смотрелся как-то  
проще, то есть выглядел пожиже. Определенно его нечто  
переполняло. Само собой, это было все возраставшее в  
нем от минуты к минуте благодатное чувство счастья.

– А я к Вам с откровением! – емко, романтично и в то  
же время с подспудной жесткостью вскрикнул Петр Про-  
хорович. И весь как-то ярко, солнечно просиял. Так бывает  
с человеком на открытом месте, когда серьезное, отменно  
густое облако, основательно прикрывавшее солнце, вдруг  
сдвинется в сторону и освободит пространство для напо-  
ристой световой волны.

– Право такое имею! Как увидел в нашем спортзале  
родных миллиардеров, так и прозрел: они – элита, наши  
боги! Мы же – быдло. И никаких «человек человеку друг,  
товарищ и брат»! Я счастлив быть их холуем! Счастлив  
быть быдлом! И знать, что дальше мне падать некуда! И  
незачем! Для нас надо строить особые церкви. И в них  
вместо богов и святых будут иконы наших миллиардер-  
щиков! И пусть бьют нас, колотят, за чубы таскают! А мы  
им со счастливым сопливым восторгом ноги целовать  
станем, ползая по земле на своих быдловских тощих жи-  
вотах! И притом радоваться до поросьячьего визга, что они  
нас удостоили мордобоем и прочим барским наказаниям.  
Желаю быть подлым рабом!

Петр Прохорович тяжело, с надрывом задышал. Све-  
та, лучистости в его лице все прибавлялось. Точно вну-  
три его вспыхнуло свое собственное солнце. Казалось,

минута-другая, и он весь будет охвачен взвездным огнем рождения нового мироздания.

– Позвольте я Вам в ножки кинусь, Евгений Андреевич?! – пронзительно улыбунулся Петр Прохорович. – Так сказать, потренируюсь, прежде чем осмелиться пасть ниц перед нашими истинными новыми богами!

И тут Серебрянский-старший будто исчез. Это он так решительно, предельно побледнел. От него осталась только серо-рыжеватая лысина, напоминающая лужицу на глиняной почве, да куртка с теми самыми волками и армейские высокие ботинки на шнурках.

Петр Прохорович кинулся ниц перед Комаровским, но так чрезмерно напористо, таким мощным броском, что невольно сбил учителя с ног.

Оба долго лежали молча.

Когда Евгений Андреевич оклемался, он первым делом окликнул Петра Прохоровича.

Тот не отозвался. Не потому, что голос у Евгения Андреевича после падения основательно сел. Просто Серебрянского уже не было в квартире.

Кажется, это его быстрые шаги еще слышались благодаря распахнутой входной двери, в глубине подъезда. Более того, Петр Прохорович на бегу по ступенькам что-то активно, дерзостно выкрикивал. И, кажется, при этом восторженно и достаточно больно бил себя в грудь. Чтобы сдержать невесть откуда нахлынувшие слезы? Насчет них Евгений Андреевич предположил не без основания, судя по частым, просто-таки взхлеб усиленным сморканиям Серебрянского. Те были достаточно звучные, лихорадочные, каждый раз напоминая ни много ни мало хлопок выстрела. Такой звуковой ряд, между прочим, чаще всего возникает, если человек при возникшей на то необходимости для облегчения своего дыхания пользуется не носовым платком, а самым что ни на есть подручным средством, из которых рукав есть наиболее подходящее и качественно надежное.

Понимая, что нельзя отпустить сейчас Петра Прохоровича одного в ночь в его теперешнем раздерганном состоянии, Евгений Андреевич решительно понадеялся на свои

былые школьные увлечения легкой атлетикой. До сих пор в его квартире на видном месте висела, пусть и достаточно потускневшая, золотая медаль за первое место по бегу с препятствиями на Всесоюзной Спартакиаде школьников в Ташкенте на знаменитом стадионе «Пахтакор».

Правда, очень скоро Комаровский понял, что, несмотря на возраст Петра Прохоровича, его афганской закалки явно более чем достаточно, чтобы уже через несколько минут стать недостижимым. Тем более что бег с препятствиями при всей своей сложности перед бегом в темноте выглядел не более чем торопливой прогулкой. Метровый барьер с последующей водяной ямой ничто перед неожиданно вырастающими перед тобой из тьмы металлическими оградами, чугунными урнами для мусора или деревьями, чаще всего поваленными строителями для расчистки места ради будущих новостроек, чем-то отдаленно похожих на копилки для миллиардов.

В общем, где-то через несколько минут особого ночного бега Евгений Андреевич споткнулся, упал на одно колено, затем на другое и в итоге вовсе завалился на спину.

Емкие, живые звезды всем своим небесным объемом радостно бросились ему в глаза. Он лежал на дне просторной низины, залитой физически ощутимой упругой темнотой, холодно веющей слезно-росной сыростью.

Евгений Андреевич догадливо сообразил, что находится в знаменитом городском парке, неподалеку от которого жил со времен оных на берегу той самой раскидистой лужи, известной всему городу. Кстати, она не так давно получила имя собственное. Автор его, правда, остался неизвестен, хотя он через свое озарение вполне был достоин памятника или бюста на ее берегу. Одним словом, лужа с чьей-то легкой или не очень руки стала называться «Мудрой», тем самым подтверждая: неисповедимы глубины ее и фантазия человеческая.

Густые, амебоподобные звезды над головой Евгения Андреевича явно хорошо знали настоящий ответ на все вопросы земной жизни, в том числе и ее появления в здешних пространствах. Но звезды, как и во всех других проблемных случаях земной жизни, с достоинством без-

молвствовали, предоставляя человечеству самостоятельно, пусть и болезненно, разбираться в этих явно казусных вопросах.

Однако сегодня голос свыше так-таки раздался. И от неожиданности он прозвучал для Евгения Андреевича, как самый настоящий глас Божий.

– Мужик, ты что здесь потерял? Свали, понял?! По-хорошему свали, – раздалось полноразличное напористое требование, усиленное мегафоном. Голос звучал так, словно это был глас небесный. – А то собак спущу!

Евгений Андреевич тотчас сообразил, что он находится сейчас неподалеку от лет пятнадцать тому назад появившегося в здешнем распадке поселка городских миллиардеров. Кстати, вскоре получившего в народе с помощью особого его мышления мудрое и многозначное название «Долина нищих». С тех пор оно начало гулять по нашим городам и весям с небольшими местными вариациями.

– Я ищу дом господина Счастливецца! – с достоинством объявил Евгений Андреевич. Слово бы с самой тьмой-тьмушей вступил в переговоры.

– Лучшего времени найти не мог?

– Извините, я тотчас ретируюсь... – смущенно-витуевато отозвался Комаровский. – Только ответьте мне на один очень важный для меня, и не только меня, вопрос. Мужик на куртке с волками здесь не объявлялся?

– Было такое! – бодро и на этот раз с подлинно теплыми, душевными нотками отозвался голос, теперь уже, несомненно, земного происхождения. – Классный старик! Мы с ним от души рванули. Умеет пить, зараза. Вот что значит старая закалка!

– Если он вернется, передавайте ему привет! От учителя биологии. Он поймет, что к чему. В любом состоянии поймет. Уверен! – добросердечно усмехнулся Евгений Андреевич.

Возле своего дома он почтительно остановился напротив их легендарной лужи, разрастающейся год от года с очевидной претензией на оформление в какое-никакое озерцо. Евгений Андреевич был почти уверен, что лужа растет, развивается и уже узнает его.

– Приветик... – тихо сказал он ей.

Ответ лужа явно отложила на следующий раз.

В часу пятом юного голубовато-серого утра в коридоре Комаровского аккуратно тренькнул колокольчик дверного звонка полувековой давности.

С бабушкиного диванного бегемота Евгений Андреевич поднялся как будто с помощью подъемного крана.

В дверях стояла Маша.

– Я пришла, чтобы объявить себя Вашей невестой! – строго и через это как-то особенно очаровательно проговорила она.

– Оно как бы очень даже прекрасно... – сдавленно отозвался Евгений Андреевич. – Только как же? При вашей должности никак нельзя сочетаться браком с таким мелким чиновником, как я.

– Я отказалась от должности экономки, – сурово проговорила Маша.

– И что Вы ей предпочли в утонченной иерархии обслуживающего персонала? – зябко напрягся Комаровский.

– Наш с Вами брак! – сосредоточенно вздохнула Маша.

Евгений Андреевич решительно встрепенулся, словно Маше неотвратимо угрожала реальная опасность. Он нахмурился, лихорадочно ища для нее правильный выход из такой опасной ситуации.

– Мне там в качестве испытания повелели провести ночную уборку... – усмехнулась Маша. – За мной по пятам ходил тамошний старик-дворецкий и какая-то здоровущая псина с головой, больше моей. Счастливец, ко всему прочему, объявил мой оклад в полтора миллиона фокусом-покусом. Положил сорок тысяч и ни копейкой больше. Но дело вовсе не в деньгах. Вся тамошняя прислуга, включая дворецкого, была пропитана лакейством, как селедка второго сорта ржавым маринадом. Когда я уходила, они и сумочку у меня вывернули, и что-то во рту моем тщательно искали. Хорошо, что в это время дедушка объявился. И стал громогласно требовать через забор что-то вроде «Свободу Деточкину!» При этом на нем был афганский тельник и вэдэвэшный берет. Когда на него собак спустили во главе с той, головастой, он так рассме-

ялся, что все эти псины рядом с ним с удовольствием разлеглись и принялись подгавкивать да хвостами весело играть!

Евгений Андреевич поморщился.

– Позвольте! Да наш дорогой Петр Прохорович, считай час назад, чуть ли не с кулаками уверял меня в духовной полезности рабства, собирался броситься ниц перед новыми долларowymi богами человечества!

Маша озорно прищурилась.

– Это он Вас проверял! На понт брал, говоря его языком, – совсем по-девчоночьи вскрикнула она. – Потому что я с первой нашей с Вами встречи призналась дедушке, что отныне без Вас шагу не смогу одна ступить.

– Эх, Машенька... – смутился Евгений Андреевич. – Да какой же из меня по нынешним понятиям спутник жизни? Пустое место! У меня сейчас только одно самолюбивое устремление. И оно вызрело как раз в миг Вашего волшебного явления! Вернее, выстрелило! Пора, Машенька, человечество обновлять! Ни изгнание Адама и Евы из Рая, ни уничтожение Содома и Гоморры, ни всемирный потоп результата, как известно, не дали. Человечество на всех парах, торжествуя, несется прочь от духовности. Так вот я предлагаю по новой запустить процесс эволюции. Для этого многого не надо: всего-навсего лужа и скол челябинского метеорита со следами космического ДНК. Я уже нашел хозяина такого вселенского чуда. Осталось найти мецената, чтобы его выкупить.

Евгений Андреевич дал объявление в газете. Днем к ним в дверь позвонил сам господин Счастливец и с чуть ли не по-мальчишески путаными извинениями сделал взнос, которого вполне могло хватить на покупку всего челябинского метеорита. Оказывается, в нем многое изменилось в романтическую сторону после его встречи в Долине нищих с Петром Прохоровичем и Евгением Андреевичем.

...Свадьбу молодожены справили во дворе, расставив праздничные столы вокруг здешней знаменитой лужи. Там же такое позиционное новаторство понравилось: он то и дело заставлял жениха носить невесту через лужу на ру-

ках. В ходе одной из таких водных процедур Комаровский незаметно бросил в воду некий камень. Как исподтишка. Тем не менее тот звучно булькнул. Земная вода после долгого полета в открытом Космосе вполне глянулась ему. Это был осколок челябинского метеорита с четко выявленной в нем космической ДНК. Он кособоко опустился на дно лужи. Кажется, ему там вполне понравилось. Он почувствовал себя здесь как дома. По крайней мере, значительно лучше, чем в открытом Космосе.

Метеорит уютно погрузился в теплый и нежный ил, приуговляясь в нужное время запустить на Земле новый виток эволюции.

В конце концов, вдруг на этот раз человечеству так-таки счастливо повезет?.. Остальное будет на его совести.





**РАССКАЗЫ**

## «ОБКОМ ЗВОНИТ В КОЛОКОЛ!»

Прогуливаясь сентябрьским озорно-солнечным пан-демоническим утром, пенсионер Виталий Семенович Лепендин нежданно-негаданно заметил впереди достаточно знакомое лицо. Да мало ли ему приходилось видеть таковые день ото дня? Однако особенность этого лица состояла в том, что оно явно было из далекого социалистического прошлого Виталия Семеновича.

Итак, по Березовой аллее навстречу Лепендину подвигался его когдатощный однополчанин Володька Соловьев. Полвека назад они были еще тот тандем: рядовой Виталий Лепендин служил начальником библиотеки полка, Володька там же – полковым фотографом.

Не узнать его было невозможно и сейчас по особенно-му Володькиному взгляду на окружающий мир: он всегда смотрел на него снисходительно вальяжно, словно бы поверх приспущенных очков, которых на нем на самом деле отродясь не было. Так обычно смотрят на публику завзятые рассказчики анекдотов и диссиденты. Володька был и тем, и другим.

Виталий Семенович до сих пор радостно помнил выдающийся перл соловьевского репертуара: зарубежный журналист берет интервью у Генсека КПСС Леонида Ильича Брежнева и спрашивает по ходу разговора, какой иностранный писатель тому больше всех нравится. Генсек строго задумывается. Помощник из-за спины шепчет: «Хемингуэй...» – «Хэ-мин-гу-эй...» – прокашлявшись, отвечает Леонид Ильич. – «А какое произведение Хемингуэя Вам особенно запомнилось?» Помощник и тут не оплошал: «По ком звонит колокол». Брежнев оживился, шевельнул густым чернобровьем: «Обком звонит в колокол!»

Виталий Семенович этот анекдот впервые услышал от Володьки на учениях в Подмоскowie, когда они, солдатики, на опушке среди тамошних рослых елей, солидно растолстевших от январских снегов, собрались у большого, раскидистого костра на политическую информацию. Донести ее до солдатских масс Лепендину поручил взводный прапорщик Василий Криворучко – дядька солидного тогда

для них сорокалетнего возраста: рослый, грузный и насмешливый, как полагается истинному украинцу.

В общем, взвод по поводу «по ком-обком» грохнул, всколыхнувшись, таким зычным гоготом, полным свежих армейских сил, что костер, возле которого должна была состояться послеобеденная политинформация, надулся тугом огненным парусом.

Когда хохот иссяк, Виталий взял бразды в свои руки и более чем скучно доложил, что к 1980 году Советский Союз по объемам промышленного производства и сельского хозяйства должен занять 1-е место в Европе и 2-е место в мире, уступая лишь США. И так далее, и тому подобное. А завершил он политинформацию по настоянию прапорщика Криворучко широко известными тогда словами Леонида Ильича Брежнева: «Экономика должна быть экономной!» Кстати, они эти слова генсека видели у себя в части каждый день по несколько раз. Цитата Брежнева «Экономика должна быть экономной» красовалась на масштабном плакате, украшавшем полковой плац, на котором бойцы регулярно отрабатывали строевой и парадный шаг. Правда, Лепендин и Соловьев никогда не били подошвами своих кирзовых сапог наждачный асфальт плаца: у них от подъема и до отбоя было достаточно других дел – один с утра до вечера щелкал фотоаппаратом то в части, то на офицерских свадьбах или пикниках, второй в полковой библиотеке с утра до вечера выдавал книги офицерам и солдатам, проводил литературные патриотические вечера, скажем, посвященные отмеченным Ленинской премией выдающимся произведениям товарища Леонида Ильича Брежнева «Малая Земля», «Целина» и «Возрождение». Ко всему в довесок к обязанностям начальника библиотеки Виталик был полковым почтальоном. Вечером относил в чемоданчике солдатские письма на почту для чтения их бдительными особистами, а потом после ужина в подвале библиотеки до вечерней поверки раздавал присланные бойцам из дома ароматные продуктовые посылки. При этом в его обязанности входило предварительно посылку вскрыть и убедиться насчет отсутствия в ней запрещенных вино-водочных изделий. Все это не так

просто, без помощника не управиться. По распоряжению Криворучко помощником у него стал Володька Соловьев.

В тот день как нарочно полковой особист несколько раз встретился Виталику и даже в библиотеку зашел, кстати, в первый раз, и долго бродил вдоль книжных полок, выглядывая неизвестно что. Виталий почувствовал себя неуютно, более чем. Как-то он видел, что сам «батя» разговаривает с этим человеком другим голосом, точно простуженным, притихшим. Даже случайная встреча с особистом кому угодно могла испортить настроение. Да и как иначе, если этот майор, проходя мимо и безразлично глядя от тебя в сторону, все равно производил впечатление человека, который каким-то загадочным образом бесцеремонно лезет тебе в душу и там пристально, оценивающе оглядывается. Но почему-то особенно не по себе становилось Виталию, когда особист улыбался ему. Хорошо так, почти сердечно улыбался, но при всем при том потаенно покровительственно, с некоей загадочной хитринкой.

– Как ты думаешь, что предпримет наш особист, если я ему откроюсь, как в прошлом месяце в самоволке расклеивал ночью в самом центре Воронежа листовки?.. Против политики Брежнева и КПСС. С призывом бороться за социализм с человеческим лицом! – вдруг однажды с ленцой проговорил Володька, когда они с Виталиком вновь играли в шахматы. На этот раз в Ленинской комнате, окруженные портретами членов Политбюро. От таких слов Володьки массивный лакированный бюст Владимира Ильича будто бы чуть покачнулся, хотя Воронеж никогда не входил в зону землетрясений.

– Извини, листовки я изготовил под копирку на твоей библиотечной пишущей машинке... – вдруг весело добавил Володька. – Когда ты относил на почту мамкам и девкам письма от их пацанов. Только ты не дрейфь. Никому и в голову не придет искать у тебя. И даже если мы с тобой как-нибудь ночью на плакате про экономную экономику напишем лозунг «Да здравствует социализм с человеческим лицом», никакого шухера тоже не будет. Батя и наш улыбчивый особист сами от греха подальше этот факт наглого диссидентства поспешно скроют. Чтобы не утратить переходящее Красное Знамя лучшего полка в СССР.

Володька дерзко-брезгливо, своим уже оформившимся вальяжным взглядом будто бы поверх приспущенных очков испытующе посмотрел на Лепендина.

Лепендин мужественно улыбнулся. Ему было не по себе, но он смог.

Через месяц они демобилизовались.

Виталий устроился редактором многотиражки в секретный НИИ, о котором, тем не менее, весь город знал, что там проектируют ракетные двигатели, а Володька стал оператором на местном телевидении, а через несколько лет так и вовсе собкором Первого канала.

Лишь мимолетно они как-то увиделись. Уже через много лет. В демократической толкучке на митинге против строительства Воронежской атомной станции теплоснабжения. Лично Виталий Семенович считал, что затея с ВАСТ – дело хорошее, стоящее. Надоели от зимы к зиме едва теплые батареи в квартире. Так что Лепендин на том митинге случайно оказался. Толпа его захлестнула и сотворила из него еще одну свою элементарную частицу, словно по чьей-то хорошо отработанной методике. Он даже почувствовал в себе нарастающую готовность протестовать вместе со всеми. А еще минуту назад Виталий Семенович вальяжно шел на обед из своей Центральной городской библиотеки, в которой трудился в должности ученого секретаря, в знаменитое молодежное кафе «Россиянка» на проспекте Революции. Правда, непонятно, какой революции. Но уж точно не сексуальной. Кстати, потом, уже после гибели СССР, та модная «Россиянка» на западный манер переименовалась в «Ювенту», далее стала «Баскин Робинсом», а ныне она есть некое загадочное аббревиатурное «KFC». Так вот, Виталий Семенович тогда еще уловил загадочный эффект толпы: любой протест, если его подкинуть в массы в нужную минуту, тотчас, как вирус, начинает в людях стремительно размножаться и набирать силу. И пусть ты в этой оголтелой толпе случайно оказался, у тебя вдруг тоже сами собой начинают шарики за ролики заскакивать – и ты тютелька в тютельку подстраиваешься к общему настроению, а то и надрывно перехлестываешь его. Баста! Рубикон перейден. Или как там: коготок увяз, всей птичке пропасть?! Ты

как одним целым с толпой становишься. Или с ее вождем? Одним словом, восторженно забываешь про все на свете и, «задрав штаны», вприпрыжку спешишь за опьяненно счастливыми, дерзко восторженными протестантами.

Тогда по пути к месту митинга у кинотеатра «Пролетарий» в руках у Виталия Семеновича даже невеста каким образом оказалась самодельный лозунг с наспех обструганной деревянной ручкой: «Демократы против ядерного производства власти коммунык!» Рядом немолодая и очень нервная, но все еще красивая женщина в длинном светлом пальто и широкой алой фетровой шляпе гордо, самозабвенно несла плакат: «Воронежцы, демократы не пустят чернобыльский атом в ваши дома! Они думают о вас!!!»

То шагом, то трусцой, а иногда по чьей-то зычной команде так и вовсе бегом, они добрались до «Пролетария», напротив которого бронзовый поэт Иван Саввич Никитин, болезненно мерцая на солнце зеленовато-голубыми бликами патины, сидел на постаменте с печально склоненной головой и отрешенно вперив горестно-задумчивый взгляд на поставленную кем-то возле него початую бутылку водки «Столичная».

Некий обильно розовощекий юноша с филологическим романтизмом в женственно синих глазах с трудом взобрался на постамент к бронзовому классiku и тонким, сбившимся голосом восторженно прокричал знаменитые строки Ивана Саввича: «Уж и есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга, за тебя в нужде сложить голову!»

Каким-то двум суетливым демократам, бдительно окормлявшим митинг, явно не приглянулись эти патристические строки классика, и они резво стащили мальчика, кажется, надорвав ему одну брючину. Тем не менее парень ряды протестантов не покинул и, все еще тяжело дыша, выше всех поднял свой плакатик с коряво написанным лозунгом: «Мы готовы бороться за демократию в СССР до последней капли крови!»

Тут к этому пылающе раскрасневшемуся юноше вдруг подскочил невеста откуда объявившийся фотограф и, сделав профессиональную стойку, несколько раз щелкнул

своим навороченным японским аппаратом. Виталий Семенович узнал Володьку. По его ироничному, вальяжно-печальному взгляду как бы поверх приспущенных очков.

Тем не менее, Виталий Семенович в тот раз почему-то не окликнул его. Возможно, демократический накал толпы полностью лишил его собственного «я». Ко всему Володька был при исполнении своих, так сказать, обязанностей. И исполнял он их виртуозно, с акробатической гибкостью.

Володька отщелкал несколько нужных снимков под разными ракурсами и исчез. Выскользнул из толпы, словно раскрученный волчок.

С тех пор всякий раз Виталий Семенович, когда видел репортажи Соловьева в газетах или по телевизору, с гордостью говорил: «Это мой однополчанин! Далеко пойдет!» И тот действительно пошел далеко. Все чаще на его маститых снимках стали появляться исключительно члены «семьи» Ельцина и сам Борис Николаевич.

Надо сказать, что Виталий Семенович без каких-либо признаков зависти наблюдал за таким, можно сказать, звездным восхождением армейского друга. Его же самого вполне устраивала собственная жизнь – спокойная, средняя, с умиротворенным семейным пространством и четко прописанными служебными обязанностями ученого секретаря библиотеки. Более того, Виталию Семеновичу нравилось, что люди незаметно перестали ходить друг к другу в гости и рассказывать на кухне за бутылочкой политические анекдоты, а молодежь понятия не имела, кто такие из себя диссиденты.

...Недоуменно остановившись возле Виталия Семеновича, Соловьев, как и прежде, вальяжно, но уже с заметным отягощением, тяжело посмотрел на него сверху вниз своим могущественным фирменным взглядом.

Лепендин протянул было руки аккуратно обнять армейского друга, но тот, густо, запашисто прокуренный, неуклюже отпрянул.

– Никаких телячьих нежностей, старина... Пандемия на дворе. Но рад. Рад видеть тебя. Правда, ты что-то несколько сдал... Оно и понятно. В этой стране невозможно свободно дышать. Даже при капитализме.

Владимир Игоревич сосредоточенно вздохнул:

– Приходи завтра на площадь Ленина. У нас там митинг. Я партию создал – «Партия перемен». Надеюсь, Гудков нас поддержит. И Навальный, говорят, обещал помочь.

– Ты теперь за капитализм с человеческим лицом?.. – смутился Лепендин.

– Это вчерашний день... – брезгливо прищурился Соловьев. – Сегодня нужны кардинальные меры. Россия должна исчезнуть с лица земли. Нет на земном шаре более агрессивной и опасной страны.

Владимир Игоревич строго, властно пригляделся к Лепендину.

– Не вдохновил я тебя? Прощай, господин обыватель. Прощай, немытая Россия!

Виталий Семенович сдавленно вздохнул:

– Извини, старик.

Соловьев сумрачно покивал и, наконец, словно навсегда потеряв интерес к Лепендину, многозначительно двинулся по пандемически безлюдной, сиротливой аллее.

На днях беззаботные, веселые волонтеры принесли Виталию Семеновичу «передачу»: бесплатный пакет овсяной крупы, две банки тушеной фасоли, пачку зеленого чая, лимон и копченые румяные куриные грудки вместе с изданной на плохой серой бумаге газетой без выходных данных – «Партия перемен». С одной-единственной статьей, исполненной тесным, плохо читаемым шрифтом:

«Нынешняя власть как отработанный материал». Далее стоял некролог с низкого качества фотографией. И все равно не узнать на ней Володьку было невозможно. Прежде всего по его взгляду. Он смотрел перед собой так, словно и в Царствии небесном с первых же минут был намерен подвергнуть критике тамошние порядки и взять курс на скорейшее проведение либеральных реформ на просторах Божьего мира.

Когда волонтеры убежали на другой этаж, Лепендин торопливо спустился в магазин. В спешке он забыл маску и перчатки. Охранники в форменных черных костюмах с воющими на луну волками никак не хотели его пускать в столь незащищенном виде, но, когда он едва ли не со сле-

зами объяснил, что «чекушка» нужна ему помянуть армейского друга, они уважительно расступились. Даже как бы прикрыли его своими телами от возможных проверяющих, рыскающих в поисках лиц без средств индивидуальной защиты.

## ОЖИВШИЙ

К празднику Рождества Пресвятой Богородицы вода в Студенке светлеет, особенно если небо высокое, открытое. Тогда рыбацкому глазу волнующе открываются ямные места, куда на зимние квартиры стекается здешняя рыба, вернее, ее измельчавшие остатки.

Все позднее лето Филипп Гробовой, комбайнер из села Забугорье, известного на всю область своей колдовской каменной Бабой и отменной рыбалкой, не брал в руки дорогих его сердцу удил. Как-никак страда! Его хозяин, фермер Иван Князев, кстати, бывший председатель здешнего забугоренского колхоза-миллионера «Путь к коммунизму», в такое особое, решительное время никому из работников ни минуты не давал передыху, а не то чтобы выходные устраивать.

Однако на осеннего Преподобного Сергия Радонежского так-таки не стерпел Филипп и рискнул отпроситься на рыбалку. Урожай взяли хороший, более чем.

Князев раздобрился.

– Не запей только! – строго приказал он своему лучшему комбайнеру-рекордсмену.

Филипп гордо оглянулся.

– Это как душа решит!

В ночь перед рыбалкой приснилось Филиппу, будто он на большом, просто огромном, не меньше лошади окуне-горбаче, огненно сияющем щитовой броней чешуи, через всю страну верхом стремительно плывет, а Преподобный Сергей в простой крестьянской рубахе и портках, опираясь на посох, глядит ему вслед с пригорка своим тихим, чудесным взором.

Ушел на зорьке – тихо, бережно собравшись, чтобы не обеспокоить свою Наталью, но ни к вечеру, ни на другое утро и даже через три дня не объявился.

– Наглец... – напряглась Наталья.  
Князев здороваться с ней перестал.  
Еще три дня проволочлись.

На четвертый завыла Наталья. Бегает по двору из угла в угол. Через неделю то ли Князев ему дозвонился, то ли как, но объявился в Забугорье участковый Юрка Протопопов, младший лейтенант полиции. Злой какой-то.

Как видно, и его сюда не хотели пропускать. Какой-то воронежский миллиардер построил неподалеку от Забугорья пятиглавый замок и перегородил к себе и к ним единственную дорогу тяжелым шлагбаумом с массивной, грозной стрелой – такая любой танк остановит. Мы не Франция. Здешний народ проявил поначалу большое беспокойство, но с плакатами на главную площадь к губернатору так-таки не пошли. Смирились.

Его, народа этого, всего ничего осталось: дед Буратино, прозванный так за его особый пиковый нос, бабка Буратиниха, одноглазая с детства, когда ее соседская кобыла лягнула, потом же слабый на голову Тимофей лет пятидесяти, «афганец», и вот они – Наталья с Филиппом. Зато на погосте под бугром среди пышных сосен с красно-бурыми духовитыми стволами, считай, полтысячи бывшего народу забугоренского лежит. Но его не поднимешь до Судного дня. Последние забугоренцы – народ безопасный, покорный всем обстоятельствам, но не в силу своего достаточного возраста, а по своей отстраненности от общей жизни, в которой люди озабочены стремлением к большим деньгам, заграничным путешествиям и прочим модным развлечениям, а они, отсоединенные от России великанским сторожевым шлагбаумом, мудро пребывают в жизни, простирающейся от Рождества до Рождества, не ведая иного счета времени, кроме череды православных праздников, почти забыв то и дело меняющие свои названия и назначение гражданские праздники, из которых, особенно новых, они толком ничего не знают, как, положим, про тот же День российского парламентаризма, бизнес-образования, хостинг-провайдера или День системного администратора.

Идти самой в розыск у Натальи как-то ноги не шли: все домашнее хозяйство с огородом, включая коз, корову и

кур, было на ней. Кроме того, в ту пору бешеные лисы в их местах объявились, а гадюки, которым по всему уже полагалось свернуться бы клубком в своих глубоких норах, как никогда, то и дело блескучими черными лентами скользко прощмыгивали в цепкой густоте полегшей рыжей травы.

Лошадку участкового Наталья еще на бугре заметила: та медленно, натужно вышагивала, прихрамывая. На телеге, которую она согбенно волокла, сидел с неприятно напряженным, судорожным лицом Юрка Протопопов. Люди знающие в свое время говорили про него, будто он в чеченском плену почти два года контуженный просидел в яме: битый, ломаный-переломанный, раз пять стрелянный. Левая рука у него и сейчас как на ниточке болтается. Если придется Юрке идти быстро, он ее правой напряженно прижимает к себе.

В телеге на соломе что-то лежало, накрытое старой выцветшей запашистой попоной.

Наталья невольно задержала взгляд на этом «что-то» и судорожно вздохнула.

– А я до тебя ехал... – усмехнулся участковый.

– Не темни... Чем я, дура тупая, старуха-развалюха, могу быть тебе полезна? – напряженно, тихо сказала Наталья и снова настороженно, бдительно, с неким невесть откуда взявшимся потаенным страхом покосилась на попоны, комкасто лежавшую в телеге явно поверх чего-то достаточно большого, объемного.

– Ты баба еще очень даже ничего! – хмыкнул Юрка. – Я еще подумаю насчет тебя. А пока мне надо с твоей подмогой исполнить одну сугубо официальную акцию. Ты только не вздумай орать или валиться оземь. В общем, у меня в телеге труп лежит. Так сказать, груз двести. Мужичий. Утопленник.

Судорожно, накосо открыв рот и всхрапнув, как старая лошадь участкового, Наталья рухнула на грудь Юрки. Да так сильно тыркнулась о него, что левая больная рука участкового назад за спину невольно отлетела, точно он изо всей мочи замахнулся кого-то наповал лихо срубить.

– Ну-ну!.. Не сходи с ума... – официально-холодно проговорил Юрка. – Еще неизвестно, кого я в вашей Студен-

ке выловил. Соберись. Возьми себя в руки. Тебе придется опознать труп. Хочешь не хочешь. Филипп это или кто-то еще?.. При нем удочка была. Как видно, полез крючок отцепить, нечаянно оступился, глотнул воды и задохся. Следов насилия нет.

Резко отшатнувшись от участкового, Наталья вцепилась в борт телеги, губу до крови закусила.

– От-кры-вай... – глухо прорычала, зажмурясь с такой силой, что ее лицо сузилось, как бы все вперед подавшись.

Юрка деловито, жестом человека, повидавшего толпу всяких разных жмуриков, приподнял попону.

– Слезы мешают видеть... – покаялась Наталья.

– Сосредоточься. Вдох-выдох! – строго сказал участковый.

– Он... – дернулась Наталья.

– Как же ты эдак враз определила, если у него от лица одни ошметки остались?

– Сердцем! – шепнула Наталья. – И по родинке на лбу...

Участковый сочувственно, но в то же время досадливо приоттолкнул ее от телеги, решительно натянул попону на утопленника:

– Свидание окончено.

На Великомученицу Евфимию одним жильцом прибыло на забугоренском погосте. При всем при том не в полотняном мешке из-под картошки похоронила Наталья мужа: не без содействия Князева всевидящие и всезнающие ритуальщики из райцентра как на вертолете прибыли, ловко преодолев все дорожные препоны, включая миллиардеров шлагбаум. В тот же день красный гроб на крыльце у Натальи торжественно-скорбно торчком стал, покойного обмыли, и лицу его разными гримерскими снадобьями не только вернули человеческий облик, но сделали его таким чуть ли не голливудским красавцем, каким Филипп отродясь не был.

Наталья виду не подала, но через эту свою киногеничную внешность муж ей каким-то чужим показался, словно она хоронила сейчас постороннего человека. Может быть, через это и особых слез у нее не увидели соседи, а Буратиных – так та на поминках после третьей рюмки доброго самогона не преминула отметить, как бы никого конкретно

не называя, что некоторые жены радуются смерти своих благоверных, через что открывается им прямой путь бессовестно заводить шуры-муры.

Ни муж Буратинихи, ни «афганец» Тимофей ее не поддержали: им обоим Наталья нравилась, всякому на свой манер. Веским козырем относительно ее вдовьей правильности стало еще и то, что сам Князев не только был на похоронах своего лучшего комбайнера, не только оплатил все ритуальные расходы, но и велел похоронщикам незамедлительно поставить Филиппу памятную плиту из мраморной крошки с большой фотографией.

Снимок сам выбирал из семейного фотоальбома Натальи, при этом как бы случайно несколько раз приобнял ее за хорошую, напряженную талию.

– Зачем вы так?.. – тихо сказала Наталья.

– А что, не нравится? – строго усмехнулся Князев. – Ладно, я тебя обломаю. Погодя. Щас не с руки.

Памятник Филиппу стал первым приличным надгробием среди полуистлевших деревянных и железных ржавых крестов забугорского кладбища. Он выглядел торжественно большим, важным и был виден издали, особенно на солнце, отзывчиво брызжа ярким отсветом.

Тимофей сразу прозвал памятник «маяком».

После похорон примерно через неделю Филипп стал объявляться жене во снах и достаточно часто. Притом ничего не говорил, а просто сидел на корточках в сторонке и, морщась, покатывался со смеху. Во-первых, по жизни он никогда не смеялся и даже не улыбался, если только когда более чем хорошо выпьет. Во-вторых, лицо у Филиппа каждый раз было какое-то другое. То есть вовсе не его... Со своим он ей ни разу не показался.

Наталье стало страшно: она перестала спать и ночью со свечкой сидела под иконами до утра, отсыпалась днем. Наконец это сделалось невмоготу.

На Покров Пресвятой Богородицы Наталья собралась в район на праздничную службу в тамошнем огромном белоснежном Богоявленском монастыре. Вышла в четыре утра – шла полями сердито, напористо. У шлагбаума охранники так-таки пропустили ее, но за триста рублей. Из уважения к Филиппу.

Потом еще час из последних сил она брела до автобусной остановки.

В храм на службу Наталья опоздала. В свечной лавке, испортив несколько записок от волнения, заказала на полгода Неусыпаемую Псалтирь рабу Божьему Филиппу и тайком окропила лицо святой водой из кружки на цепочке.

Помогло. Покойник как будто отстал.

На апостола Фому Наталья вновь увидела мужа. И на этот раз со своим лицом... Как будто настоящим. Без ритуального грима. Когда в шестом часу утра собралась курам пшеница сыпнуть.

А тут... Филипп, скукожившись, сидит на крыльце. Его тряско колотит. Наталья хорошо знала такое за ним после долгого злоупотребления известно чего. Видимо, не первый час он тут высиживал, а октябрь на этот год выдался не из теплых. По крайней мере, второго бабьего лета они так и не дождались.

Наталья пошатнулась. В голове сразу стало горячо и тесно.

– Филюша...

– Я за него...

Наталья подхватила мужа под мышки, поволокла в дом. Через два шага в дверях неуклюже осела на деревянную приступку, заплакала, судорожно прижав Филиппа к себе. Его сердце словно у нее в руках билось. Вернее, как пулемет строчило. Замрет ненадолго и снова припустит.

Лекарство она знала. Верное. Всегда хранила на подобный случай. И знала, что сейчас ни до каких разбирательств, упреков или бабского вытъя, а действовать надо быстро и уверенно.

Филипп судорожно, громко всхлипывая, принял стакан доброго свекольного самогона и упал лицом ей на колени.

Через полчаса он тихо, но явно оживающим, пробивающимся голосом произнес:

– Спасла...

– Еще будешь? – щедро, взволнованно шепнула Наталья.

– Потом... – едва проговорил Филипп не своим голосом – уже как бы из глубины вдруг начавшегося емкого, безбрежного сна.

Спал он два дня с пристрастным усердием. Спиной ко всему нынешнему миру, как влипнув в плюшевый коврик

с оленями на стене. В комок судорожно сжавшись. Его сон напоминал некую загадочную внутреннюю работу: Филипп то и дело рывком, с силой переворачивался, как будто взлететь норовил, глухо кричал на каком-то непонятном, ненашенском языке, пару раз тихо, покаянно рыдал.

Когда такой его трудовой, напряженный сон наконец истомленно истратился, он впервые повернулся лицом к свету и по-детски наивно вздохнул.

Наталья на колени перед ним опустилась, чтобы говорить лицо в лицо.

– Выпьешь чуток? – бережно проговорила.

Филипп светло, нежно улыбнулся.

– Не желается.

Наталья счастливо зажмурилась.

– Какой-то ты на себя не похожий... Совсем другой. И с лица, и голосом... Я буду стесняться с тобой в постель лечь! Честно-честно... – застенчиво улыбнулась Наталья.

– Обвыкнешь... – мудро хмыкнул Филипп. – Я с того света вернулся! В прямом смысле слова.

...В тот день своего якобы утопления на осеннего Преподобного Сергия Радонежского Филипп пробрался к Студенке на свое привычное рыбацкое место: хозяин замка все земли окрест купил, так что охране было велено местных к реке отныне не подпускать. Даже сварной забор с когтистой колючкой везде выставили. Только Филиппу охрана делала исключение. Они его почему-то с первых дней заужавали.

Выйдя к реке, Филипп вдруг обнаружил на берегу невесть как оказавшегося здесь неожиданного соперника.

– Я вам не помешаю? – первым заговорил «залетный рыбак».

Годами они вроде как даже ровня и чем-то внешне похожи, одеты почти одинаково: кепки, фуфайки, резиновые сапоги.

– Я случайно здесь. Ехал ловить совсем в другое место, на Битюг. А как вашу каменную бабу и такую веселую живую речку увидел из окна автобуса, так и обомлел: красотища! Благодать. Истинная Россия! Я, знаете, по профессии фотограф. Да тут вдруг вижу: колючая проволока. Хорошо, что охранники здешние с понятием оказались. Поломались

немного, но в итоге пройти разрешили. Правда, за пятьсот рублей.

– Бизнес у них такой... – мудро сказал Филипп. – Да вы особенно не беспокойтесь. Место рыбное. Не пожалееете! На нас с вами окуньков да плотвички хватит.

– Может, и по шучке добудем? – мягко улыбнулся сосед.

– И такое может случиться... Я на прошлой неделе трех этих матерых хищников взял! – горделиво усмехнулся Филипп. – Вы старайтесь забросить поближе к зарослям. Вон там, где ветла на воду легла. Осенью большая рыба обычно именно в этом месте стаями собирается. Смотришь, какая и заглотит ваш крючок сдуру ума... Хотя они сейчас разборчивые, отъелись за лето.

– Спасибо за науку... – Сосед по-мальчишески махнул Филиппу рукой и вежливо поспешил переместиться на новое место, подальше.

Филипп знал, что там самая глубокая большая яма и рыба в ней стоит уже, считай, уснувшая, не достать ее, но дух соперничества в таком азартном деле был превыше всего.

– Клюет! – вдруг вскрикнул фотограф, притом чуть ли не по-щенячьи подвзвизгнув.

Филипп крайне ревниво покосился в его сторону.

– Крючок зацепился за водоросли... – сказал почти небрежно.

– Да, точно... – тоскливо отозвался тот после нескольких робких попыток его сдернуть. – Придется лезть в воду.

– Не лучшее занятие... – вздохнул Филипп. – Там глыбоко. Очень даже. Нехорошее место. Там у нас летом никто не купается. Боятся. Водяных!

– Крючок очень дорогой, жалко.

– Дело хозяйское.

Филипп раздумчиво достал пачку усманской ядерной «Примы», но, поняв, что у воды на ветру не прикурить даже от его хитроумной бензиновой зажигалки, зашел за густой куст со сцепившимися красно-бурыми ветками, который у них неизвестно почему называли «песья смерть».

Когда, уже накурившись, попыхивая последними залпами едучего дымка, вернулся назад, соседа нигде не было.

– Фотограф!.. – глухо вскрикнул Филипп.

Напряженно огляделся.

Выждав минуту, почему-то осторожно, с оглядкой шагнул туда, где на песке у воды сейчас как-то одиноко, почти отчаянно лежал рюкзак фотографа. Рельефные следы, как видно, еще новых сапог однозначно вели к воде.

Впереди, метрах в шести, где была та самая «нехорошая» яма, лежала на воде, уже заметно притопнув между водорослей, знакомая фуражка.

Тем не менее Филипп судорожно цапнул себя за голову. Своя была на месте.

Кепку фотографа на глазах медленно закручивало, утягивало течение.

«Нет, не может быть!.. – горько подумал Филипп. – Он же не дитя малое!

Как так?!»

Настороженно пригляделся: нет ли все-таки ряби или какого иного признака потаенного движения под водой. Вдруг залетный рыбак еще жив и пытается бороться за свое спасение.

Хотел было броситься в воду на помощь, но вовремя устоял: все равно уже поздно – река на раз взяла растяпу-фотографа.

Битый час сидел Филипп у воды на корточках. Вздыхал, морщился. Даже как бы всерьез ослезился.

Когда наконец ушел, даже снасти свои не взял.

Правда, с полпути угрюмо вернулся, смотал удочки свои и утопшего, неволью задержал взгляд на его аккуратном, чистеньком рюкзаке. Вдруг там документы какие есть? Тот же мобильный. У этого фотографа наверняка какие-никакие близкие есть. А, может быть, даже и жена. С виду мужик был достаточно ухоженный, а что одет по-простому, так это понятное дело. Не в костюме же с бабочкой ехать на рыбалку! В общем, надо бы сообщить кому следует о такой беде. Конечно, начнется всякая разная мутата. Возможно, его, Филиппа, станут тягать на допросы, тянуть из него жилы, чтобы признался в убийстве или соучастии в оном. В итоге, смотришь, разберутся, но кровушки попьют досыта.

Филипп строго вздохнул и судорожными рывками развязал рюкзак уопленника. Хозяйство открылось ему ладное, хорошо, толково обустроенное: запасное импортное дорогущее складное удилице, поплавки к нему далеко не из дешевых, эхолот Deeper Smart Sonar PRO тысяч за тридцать наших рубликов, антибликовые очки, грузило и коробочка разнокалиберных японских крючков такого качества, что глаза от них не отвести. Само собой, опарыш и мотыль. А еще вакуумные ланч-боксы с аккуратно уложенными бутербродами: сочная бело-розовая грудинка, ядреный сыр, разномастные паштеты. Естественно, и термос здесь придулился с чем-то наверняка весьма качественным. А как вершина вершин – две женственно аккуратные емкости «Киновского» пятизвездочного.

– Эхма! – отчетливо вскрикнул Филипп.

Еще раз бдительно посмотрел на воду. Лишь мелкая зернистая рябь настырно сыпалась против течения, как будто она существовала сама по себе.

«Прости, братишка... Не пропадать же добру...» – подумал Филипп и, выждав минуту, даже сознательно перекрестившись, закинул себе на спину увесистый рюкзак фотографа.

С ним часа через два он полевыми кособоками тропками вышел к грозному шлагбауму: охранники встретили его, как всегда, радостно.

После первой за помин души фотографа Филипп не остановился.

Не за тем начинал. Вся эта нелепая история, сто раз потом рассказанная им охранникам, а в другие дни их сменщикам, никак не предполагала по глубинной своей мистической сути каких-то разумных, конкретных поступков.

Филипп физически чувствовал себя в центре небывалого, невиданного им прежде никогда события, в котором, очевидно, проглядывала во всей своей неумолимости, таинственности и могуществе высшего смысла надмирная власть некоей неведомой, вездесущей и всеобъемлющей силы.

Он пил вдохновенно, самоотреченно.

Тем не менее недели через три Филипп нашел в себе силы заставить охранника позвонить участковому о несчастном случае на реке Студенке.

Разговор вышел коротким, но таким, что после этот охранник, молодой парень, который лет пять назад бросил школу в шестом классе, чтобы кормить больную мать, шарахнулся от Филиппа в угол дежурки, по-настоящему побледнел. То есть лицо у него как бы вовсе исчезло.

– Ты, дяденька, кто?.. – сдавленно, как сквозь невыносимую боль, выдохнул молодой охранник.

– А ты, балбес недоучившийся, не знаешь?.. – судорожным, глухим голосом еще не похмелившегося человека сказал тогда Филипп.

– Тебя же похоронили... – почти плаксиво отозвался охранник. – Это ты утоп в речке! Участковый так и сказал. И памятник тебе есть у вас на кладбище в Забугорье. Чин чинарем стоит. Из мраморной крошки. Точно миллионеру какому.

– Эх, Русь-матушка... – уныло поморщился Филипп. – Везет мне как субботному утопленнику – баню топить не надо.

Как бы там ни было, селом он в тот крайний ночной час шел такими хитрыми петлями, чтобы забугоренцы его прежде времени не увидели. Или, увидев, не угадали...

Наталья как раз вышла на крыльцо, когда он уже леденеть начал. Ступала тяжело, как-то тупо.

– Прости дурака дурацкого... – сознавая момент, тихо, бережно шепнул Филипп.

Так он всегда говорил, когда возвращался домой после усердного запоя на стороне.

Наталья судорожно напряглась – и словно на этом израсходовала все свои последние силы: обмякла, подкосилась. Вот-вот раскинется навзничь на крыльце.

Когда Филипп подхватил ее на руки, она никак не хотела глянуть ему в глаза, уперто, дико воротила свое лицо на сторону.

– И где только тебя, лешего, носило?.. – наконец сдавленно выдохнула Наталья.

– История долгая и жуткая! – внятно, чуть ли не с гордостью проговорил Филипп.

За едой он тоже не поспешил с рассказом, но чуть ли не за каждой ложкой восторженно произносил:

– Как я соскучился по-домашенькому...

– Может, рюмочку?.. – чуть ли не заговорщицки проговорила Наталья. – Я же не без понятия.

– Неси компот! – строго-радостно объявил Филипп.

А когда он допивал его из трехлитровой банки, ловко отталкивая языком норовившие проскользнуть в рот дольки яблок, груш вместе с вишенками да смородиной, вдруг из сеней, на всякий случай низко пригнувшись и придерживая фуражку, в разъявленную дверь кособоко вшагнул участковый.

– Я, Наталья, тебе справку о смерти мужа в ЗАГСе выправил... – объявил Юрка Протопопов.

Однако близорукостью он не страдал, так что от слова к слову его голос стал быстро падать и тупеть. На «ЗАГСе» он вовсе неуклюже тормознул и скovyрнулся на некоего «зегса», а «выправил» прозвучало у него почти как «вырвал».

Его тем не менее поняли.

– О чьей смерти?.. – напряженно, но при этом дружески заулыбался Филипп.

Он аккуратно взял из Юркиных рук смертную справку и внимательно прочитал несколько раз.

Младший лейтенант напряженно вздохнул.

– Плесни нам, Наталья, по стаканчику того самого! Никогда с живым трупом не пил за его здоровье!

Наталья, словно бы несколько ошарашенная, даже чуток пошатываясь, приволокла непочатую трехлитровую банку своего знаменитого самогона, старательно, кудесно настоящего на красной рябине.

– А вот это все – без меня! – весело поморщился Филипп.

– Мне чуток можно... – пискнула Наталья. – Я как мужа живого увидела, так чуть не кончилась с испуга... А кого же мы тогда схоронили?

Филипп медленно встал.

– Я на погост.

– Сиди! – твердо сказала Наталья. – Это пусть Юрка разбирается, кого там вместо тебя закопали.

Ночью во сне два Филиппа огород у Натальи копали, оба картошку на себе в мешках к сараю таскали, вместе обедали с невиданным жадным аппетитом, а когда оба к ней еще и в постель полезли, она с глухим воем проснулась: муж, сложив руки на груди, чего за ним никогда не водилось, и чуть откинув назад голову, памятником стоял у окна, весь как измазанный фосфорным лунным отсветом.

– Теперь у меня, Натаха, новая жизнь начнется... – просто, с тихой, непривычной для него и какой-то особенной, возвышенной радостью сказал Филипп. – Как щелкнуло что-то во мне сегодня на кладбище. У моей не моей могилы. Точно я там прежний лежу, а здесь вот новый стою! Чтобы новую жизнь начать. Я словно себя впервые увидел, каков он на самом деле – этот комбайнер Филипп Гробовой. Увидел через призму смерти.

Он взволнованно вздохнул, напряженно выговорив непривычные и малопонятные ему, совсем новые для него слова, почти заумные. Повторил, вздохнув, с аккуратной улыбкой:

– Да, через призму смерти... И никто мою новую жизнь не остановит. Сил не хватит! Я же по всем земным меркам как бы не существую. Нет меня! А на нет и спроса нет. Если что, я – голос свыше!

Наталья ничего не поняла, но заплакала. Сердце ей так подсказало.

Утром Филипп битый час проторчал в приемной Князева, как будто экзамен на выдержку сдавал. На то время к Ивану Павловичу никто не прорывался, но тем не менее глава с разрешением пропустить до себя Гробового не спешил. До такого напряжения не спешил, что его девчушка-секретарь Алена, с мордашкой, замурованной под самые ее фанаберистые глупые глазки антиковидной модной тряпочкой с бабочками, край устала видеть перед собой тяжело измученное бог знает каким по гадости алкоголем, но при всем при том, что непривычно по нынешним напряженным пандемическим временам, чуть ли не

озорно-радостное, просто-таки самодовольное лицо их комбайнера.

Изящным ныряющим движением руки Алена мстительно включила на «Ютубе» какую-то судорожно лязгающую песенку:

*Драли, как Сидр козу, выжимали слезу.  
Лазал на березу я во всякую грозу.*

– Филипп Порфирьевич, а вам рэп нравится?

– Я это как бы... Петрович по бабушке... – вдохновенно улыбнулся Гробовой. – А рэп, Аленушка, это еда какая или игра?

– Песня... – хихикнула она.

– Песня – это хорошо. Очень хорошо! – засмеялся Филипп. – Тудыть ее в качель!

Счастье его переполняло. Впору делиться им направо и налево.

Тут из кабинета Князева глухо, но все равно с достаточно отчетливыми строгими нотками наконец донеслось: «Давай этого сюда!»

Гробовой вошел, чуть ли не спотыкаясь: жесткая, отрывистая скороговорка песни ощутимо, словно нахально, бесцеремонно подталкивала его в спину:

*Научиться отдавать, научиться терпеть,  
Научиться не бояться никого, даже смерть.*

– Че пришел? – наклонил к плечу голову Иван Павлович, точно ему в ухо вода попала.

– Объясниться, как мне теперь с работой быть... – нахмурился Филипп. – Сдавать комбайн Федюне или погодить? Так сколько?

– А что случилось?! – начальственно привстал Князев, точно чтобы лучше видеть весь подвластный ему мир. – Планета наша перевернулась с ног на голову? Или тебя в администрацию президента пригласили?

– Так я же теперь вроде как покойник. Мертвец в чистом виде! – основательно, резонно объявил свою позицию Гробовой.

Князев с такой силой зажмурился, что у него все лицо напряженно собралось возле корневого, заглавно выступавшего носа, увенчанного ядреной бульбой. Словно защитным кольцом сейчас окруженное.

Выдохнул Иван Павлович, как резвую тетиву отпустил.

– Да будет тебе известно, что все вы, работнички мои дорогие, как один по кадровым и бухгалтерским бумажкам не числитесь. Вы самые настоящие мертвые души. Так что ступай, мертвая душа, а завтра в восемь без опозданий как штык быть на утренней разнарядке.

– Вот мы с вами к главному вопросу и подобрались... – напряженно-ласково улыбнулся Грбовой. – Никакого распределения работ не будет, пока вы своих людей не оформите как полагается.

– Филипп, что я слышу? Тебя ненароком бешеная лиса не цапнула? – рассмеялся Князев.

– Со мной в таком тоне не надо бы говорить... – опустил голову Грбовой. – Я единственный в России живой покойник. И у меня через это особые права и возможности.

Князев вдумчиво построжел.

– Личность ты теперь и в самом деле уникальная. Чего тут!

– Значит, пойдем друг друга... – сдержанно кивнул Филипп. – Мне завтра кран нужен будет и грузовик. На полдня. Дадите? Я сполна отработаю.

– Иначе и не мысли... – глухо отозвался Князев.

...Выехали двумя большими тяжелыми машинами осеннему мутным утром, по мокроте. В такую бессолнечную пору, между прочим, ноябрьский лист во множестве почему-то весь из себя особенно ярко, напористо цветист, будто имеет изнутри собственный гордый свет. В любом случае, лету аминь пришел.

Их ненадолго остановили у припотевшего сырью массивного черно-белого шлагбаума, похожего на гигантскую палку некоего великана-гибэдэдэшника, строго и надежно запиравшего от мелкотравчатого всяколюдства огороженные «колючкой» земли при здешнем ажурном замке. Тот в самом деле выглядел как декорация к некоей сказке; так что пока из Забугорья не сбежали последние семьи с де-

тишками, родители на большие праздники водили своих малых на курган за селом полюбоваться на это удивительное, с витыми башенками строение из рельефного красного кирпича, которое особенно волшебным выглядело по вечерам, заманчиво сияя сине-красно-желтыми мозаичными окнами.

– Куда собрался, Филипп?! – обрадовались, увидев его, здешние охранники, тесно окружили, весело пожимая ему руку.

– Счастье нашему Забугорью возвращать... – дерзко-загадочно проговорил Гробовой.

– А какое оно?

– Добуду – увидите. Я за ним в самую область качу.

– Но кран тебе на что? И самосвал?.. – бдительно переглянулись, напряглись охранники. – А как если тебя гибэдэдэшники остановят?

Филипп отмахнулся, медленно, предельно аккуратно достал из-под достаточно новой, для выхода «на люди», куртки сложенную вчетверо розовато-сиреневую бумагу с вензелями и ярко-синей гербовой печатью. Это было свидетельство о его смерти.

Охранники было сгрудились, бегло читая, но тут же и отшатнулись.

Оглядели Филиппа сосредоточенно, с опаской.

– Что вы на меня как на шпиона оставились?.. – снисходительно вздохнул тот. – Живых покойников не видали?

Никто ему ничего не ответил. Обтекая каплями, шлагбаум поднялся так хватко, словно палаческий топор, занесенный мощным хладнокровным замахом.

Когда Филипп добрался со своей механизированной кавалькадой до областного центра, ворота краеведческого музея, по счастливой оказии (не без подмоги их курганной бабы?!), стояли радушно распахнутые. Забугорцы без проблем въехали во двор и деловито приступили грузиться. Только Филипп, прежде чем они свою каменную бабу оплели железными петлями и вознесли стрелой крана, вдруг порывисто обнял ее, по-сыновьи.

Тут, не спеша, подошла к ним аккуратно интеллигентная, невозможно вежливая, но слишком просто, чуть ли не бедно одетая старушка с непонятной для Филиппа

должностью старшего смотрителя, Леокадия Аполлинарьевна.

– Позвольте поинтересоваться, куда наша мадам собралась?.. Не в гости ли к половецкому хану Кончаку?

– А нам откель знать? Мы не начальство! – дерзко улыбнулся Филипп. – Наше дело нехитрое: бери больше, кидай дальше.

– Тогда, дорогой мой человек, хотя бы фамилию свою на всякий случай назовите.

Баба уже ничком лежала в самосвальном кузове, накрытая выдавшей виды лыковой рогожей.

– Гробовой я... – резко улыбнулся Филипп и решительно достал из-за пазухи свое ядовито-цветное, с ажурными разводами свидетельство о смерти: бумага – всем бумагам бумага.

Подмигнул озорно:

– Вот вам главный человеческий документ! Тут все полноценно про меня сказано!

Леокадия Аполлинарьевна вздрогнула, охнула и, попятясь, как-то бессильно, болезненно махнула рукой. Кажется, хотела Филиппа перекрестить, да не вышло.

Только выговорила сдавленно, чуть ли не пристыженно:

– С Богом...

...Вернулся Филипп по скороспелой осенней затеми, всякий год поначалу непривычной, мертвенной и уныло-глухой.

У шлагбаума выглянул из кабины, устало вздохнул:

– Эй, мужики, поднимайте своего часового...

Из будки неспешно появился старший охранник в форме с воющим волком на спине. Стрельнул прямо в глаза Филиппу мощным, жестким лучом фонаря, как стеганул.

Гробовой осерженно загородился своей выдавшей виды разлапистой ладонью:

– Того, аккуратней... Что выскочил?

– Проверить, что везешь... – глухо, однако при этом достаточно внушительно проговорил начальник смены.

Сопя, неспешно полез в кузов самосвала. По его движениям чувствовалась его безразмерно вскормленная увесистость. Вдруг за спиной Филиппа раздался какой-то чвакающий звук, напоминающий неуклюжее обвальное падение чего-то весьма тяжелого. Кажется, охранник обо что-то не-

удачно споткнулся там, в кузове, и не исключено, рухнул на нечто весьма немягкое.

По крайней мере, его убойные матюки так внятно прогрохотали над здешними полями, что их вполне разборчиво могли слышать и за два километра в том самом сказочно красивом замке. И если в его подвалах обитали привидения, обязательные для такого особого строения, то их явно пробила такая судорожная дрожь, что они в ту минуту вполне могли походить на затрепетавшие, отчаянно захлопавшие на ветру, мокрые белоснежные простыни.

– Что тут у тебя валяется?.. – сказал, как проскрежетал, охранник. – По всему – труп окоченевший!

– Баба... – вздохнул Гробовой. – Баба каменная! Талисман нашенского Забугорья! Не слышал, что ли, никогда о ней? Без этой Бабы у нас вся жизнь в селе наперекосяк пошла, как лошадь, неправильно запряженная.

Под боком у Забугорья лицом на восход испокон веков на вершине здешнего кургана, летом вся утопавшая в ярких ажурных васильках, зимой в сугробах, стояла эта метров о трех серо-коричневая обветренная каменная Баба с отвислым брюхом и плоскими титьками, но руками такими мощными, какие любого быка в бараний рог согнут. Так вот, эта махина тонны на четыре, скуластая да щекастая – одним словом, мордатая, со взглядом по-особенному суровым, обретшим невиданную силу – многотысячелетним, – явно была не от мира сего. Хоть и окрестил ее Тимофей в шутку, улыбки ради, «Инопланетянкой», но все забугоренцы тайно, в душе невольно чувствовали этой громадины особую над ними охранительную власть. Как у строгой матери над детками малыми. Так что издревле забугоренцы по воскресеньям две главные дороги знали: первая – на утреннюю службу в Богоявленском монастыре, а потом, петлями, тайно – к кургану, Бабе поклониться и втихаря испросить у нее, чего надобно. И многим она реально помогла и поныне памятно не оставляет заботой.

Вернувшись из армии осенью после кампании в Южной Осетии в родной развалившийся колхоз «Заветы Ильича», Филипп три дня основательно смывал с себя самогоном пороховую вонь, а на четвертый что-то неведомое повеле-

ло ему идти поклониться их каменной Матери матерей за то, что в живых остался у Цхинвали под ударами грузинских «Градов». Да тут Филипп в шутку заодно покаянно попросил у нее застревающим во рту языком «пару сотенок на похмель»: через месяц он выиграл в лотерею триста тысяч. Правда, счастливый билет Наталья тотчас взяла в свои руки. Благодаря этому они поныне невесть как свалившимся им на голову прибытком сносно держатся. У Князева и на комбайне по-человечески не заработаешь: штраф на штрафе за всякое мало-мальское нарушение.

Как ни таился Филипп, история с его лотерейным билетом все-таки утекла в народ. В считанные дни возле их каменной Бабы самое настоящее столпотворение образовалось. Из сел, близких и дальних, народ живо, суматошно подтянулся. Со стороны курган стал похож на облепившую его лихую ярмарку. Из самого Воронежа и даже столицы нашей Родины приезжали люди. Многие из них, судя по машинам и одежде, явно с высокими должностями. И везли этой каменной махине горстями слезные записки с самыми разными просьбами, в основном насчет здоровья и коммерческого везения, а также на всякий случай еду разную праздничную, спиртное дорогущее.

Никого не остановили ни усиленная критика такого мракобесия в телевизионных новостях, ни приезд из Воронежской митрополии батюшки, молодого, явно очень умного, бедами людскими сердечно озабоченного, который дня два вдохновенно читал нужные спасительные молитвы и с радостью, точнее, с восторгом окроплял настороженную толпу у каменной Бабы святой водой с шустро, птицей взлетающего над покаянными головами пушистого венчика. Не осталась в стороне и власть. И не только местная. Поехал к забугоренцам с увещеваниями даже сам председатель областного совета депутатов, но по дороге в распадке, залитом таким густым туманом, что хоть кусками его нарежь, машина с номенклатурным номером-оберегом наскочила на фуру, со всеми вытекающими печальными последствиями.

А через неделю прикатил из области самосвал и увез здешний талисман на хранение в городской краеведческий музей.

В прибавку к уже жившим там на заднем дворе еще шести другим вековечным каменным бабам, вырубленным древними мастерами на разный вкус и манер из серого песчаника.

Забугоренская дама, правда, среди всех оказалась самая рослая, самая мордатая и всем своим видом несопоставимо строгая – одним словом, величественная.

...Возвратившуюся Бабу установить на вершине кургана забугоренские мужики долго не могли, хотя всеми впряглись и даже пришли помочь свободные от службы охранники, которые состояли при шлагбауме. Праздник возвращения Матери матерей пришелся, не подгадывая, на сугубый день, на Димитровскую субботу родительскую.

Долго никто не хотел расходиться...

На другой день Филипп, по первому и как бы пробному снегу, как через сито просеянному, поклонившись Бабе, вышел на дорогу к их сказочному замку. За час семь километров отмотал. Перед тяжелыми коваными воротами поднял над собой как хоругвь свое свидетельство смертное.

Три часа простоял на ветру: за это время все вокруг свежо забелело мелкой снежной крупкой.

Наконец кто-то вышел: благообразный такой дядечка в норковой глянцевой шубе, правда, без шапки, с красным большим шарфом на шее.

– Ты – хозяин?! – как-то неуверенно, несколько не своим голосом крикнул Филипп.

– Я мажордом... – умно усмехнулся мужчина.

– Понятно... – вздохнул Филипп. – Мажордом, так мажордом... Ты хозяина сегодня увидишь?

– Он в Италии. Вернется через полгода.

– Тогда позвони ему, что ли. В общем, он нашу реку, Студенку, колючкой огородил. А это нехорошо. Неправильно. Она общая. Так что пусть отмотает назад такую свою инициативу. Не стоит народ раздражать.

– А он вообще-то есть здесь или давно в небытие канул?

– Мажордом красиво, от души засмеялся. Кажется, он хотел подойти к Филиппу и сердечно потрепать того по плечу, но сдержался. – А колючка выставлена от диких зверей.

– Все равно уберите... – вздохнул Филипп. – Полюдишки надо все такое.

– А что вы, молодой человек, за бумагу над собой держите? Руки не затекли? – весело прищурился владелец шубы.

– Свидетельство о моей смерти! – веско отозвался Филипп. – Так что с вами живой покойник говорит. Меня как бы нет. И я могу кому надо устроить самую настоящую финскую баню. И мне за это ничего не будет.

– Невиданные места у вас: каменная Баба-оберег, покойник говорящий...

Здесь чудеса: здесь леший бродит, русалка на ветвях сидит; здесь на неведомых дорожках следы невиданных зверей!.. – зябко проговорил мажордом с интонациями явно начавшего замерзать человека: ему уже очень хотелось назад, в благодатное тепло, где отличный коньяк, жаркий, разыгравшийся огнем камин и прочее иное для полного удовольствия.

– А шуба у вас дорогая? – ни с того ни с сего спросил Филипп. Как есть ляпнул.

– Что вы сказали? – поморщился мажордом.

– Ничего. Вам показалось...

Филиппу вдруг стало стыдно за все плохое, несправедливое на этом свете. Гробовой до боли ощутил не свойственное ему до сих пор чувство: он тоже виноват по-своему, что жизнь изначально устроена неправильно. Но ничего никому не переделать никогда. Никаким прогрессом. Никакими лозунгами.

И даже великая каменная Баба, Мать матерей, здесь бессильна.

...Филиппа застрелили на Параскеву Великомученицу. Как раз когда он с какой-то новой просьбой ходил на курган. Хотя не исключено, что Гробовой словил затылком шальной охотничий жакан, он же турбинка, рикошетом завернувший свой крученный полет в его сторону.

После недолгих поисков возможного горе-охотника дело закрыли распоряжением районного полицейского начальства: других забот невпроворот.

Младший лейтенант Юрка Протопопов принялся было настойчиво ходить по кабинетам следователей и доказывать, что с гибелью Филиппа Гробового истина так до конца

и не прояснена. Мол, с такой тяжелой свинцовой пулей разве что на медведя ходят или сохатого, каких здесь полвека уже не видать, а идти с ней на лису или зайца, какие еще не совсем перевелись в их краях, все равно что молотом муху взяться пришибить. Однако все Юркины старания вскоре успокоили лейтенантские звезды, вдруг упавшие ему на погоны.

Протопопов повеселел, приободрился и с особым рвением окунулся ворочать новые дела...

– Нехорошо будет, когда рядом станут два надгробия одному и тому же человеку... – вдумчиво, строго проговорила Наталья, стоя на кладбище возле первой могилы мужа с тем князевским пегим памятником из черно-серой мраморной крошки.

– Естественно... – хмыкнул Тимофей.

– А если... моего нынешнего Филиппа на другом конце кладбища похоронить? Я там такую красивую, такую стройную березку приглядела.

– Что в лоб, что по лбу, Натаха... – накосо, из-за ранения, дернулись губы Тимофея. – Тут нужно коренное решение. А какое?

Наталья судорожно всхлипнула.

– Дай закурить...

– Так ты же вроде этой гадостью не балуешься! – даже отшатнулся Тимофей.

– Давай... И спички... Или жалко куревом поделиться? Эх, мужики, все вы жмоты. Что ты, что Князев ваш.

Дело в том, что на этот раз глава КФК на похороны не расщедрился. Только продукты выписал Наталье из своего ларька на поминки. А остатков лотерейных денег хватило лишь на гроб. Филипп лежал в нем фасонисто, с достоинством, словно ему, наконец, открылись все загадки земной жизни.

– А ты глянь, сосед, они у меня, мужья-то, оба в один год и день померли! И как я раньше на этот счет недопетрила? Только месяца разные... – вдруг вскрикнула Наталья.

– А давай в таком случае мы их друг над дружкой под одним памятником и закопаем?.. – вскинулся Тимофей. –

Еще и деньги на этом сэкономишь, которых у тебя нет. И мне копать по копаному легче будет...

Наталья оглянулась в сторону кургана, накрытого ранним зыбким снежком, и отчетливо, с силой перекрестилась. Потом перекрестилась с низкими быстрыми поклонами на все четыре стороны. Особенно усердно в ту, где километрах в десяти от Забугорья третью сотню лет росло возвышался окруженный каменной городьбою монастырь.

– Начинай... С Богом... Никто нас не осудит. Да и кому это надо? А я до батюшки Петра пойду насчет отпевания...

– Не забудь по пути нашей красавице степной копеечку кинуть, – строго сказал Тимофей.

Наталья не отозвалась, уже набирала ход, налаживалась: идти в район до Богоявленского монастыря не час и не два, а время, не углядишь за ним, уже завернуло за полдень. А ноябрьские сумерки скорые, глухие.

## МОЙ КОСМОС

Когда кто-то говорит, что все мальчишки после полета Гагарина мечтали стать космонавтами, я не знаю, что ответить. Сам я, конечно, мечтал. Это точно. И еще семь пацанов вместе со мной мечтали: мы даже занимались в клубе юных космонавтов воронежского областного Дворца пионеров.

За свою почти трехвековую историю этот дворец кому только не служил. В его ампирных стенах поначалу жили известные своей благотворительностью купцы Нечаевы, позже в нем обосновался Юфуд Айваз, коему принадлежала фабрика курительного табака, и, наконец, в него въехал городской врач Сергей Васильевич Мартынов, дворянин, писатель и народоволец, позже, после убийства террористами царя Александра II, заточенный в Петропавловскую крепость.

После Великой Отечественной этот провинциально-дворцовой наружности дом восстановили и реконструировали в духе «сталинского конструктивизма». С тех

пор он стал пристанищем для радостных и очень шумных пионеров, членов самых разных кружков, включая театральный, судомодельный, радиотехнический, юных натуралистов, песни и пляски и так далее. Мы же, клуб юных космонавтов, приземлились в сложившийся годами коллектив Дворца пионеров, как снег на голову. Будто некие инопланетяне. Скажем, вроде марсиан Герберта Уэллса из его «Войны миров».

С одной стороны, мы были тогда самым передовым кружком, с другой – чужаки, от которых неизвестно чего можно ожидать. Никто нас с Гагариным не ассоциировал. Персонал Дворца денно и нощно с неусыпной настороженностью поглядывал в нашу сторону. Особую бдительность, конечно же, проявлял неопределенного возраста суровый одноглазый пожарник дядя Петя. А как вдруг нам придет в голову с крыши Дворца запустить ракету, скажем, на Марс? Так что он у всех пацанов строго проверял карманы на наличие спичек и тотчас те реквизирует. Сигареты тоже. В отношении нас он в этом плане был особенно усерден.

Мы же пока просто мечтали. Вернее, мы захлеб мечтали о космосе! Но я, честное слово, мечтал о нем ярче, чем все остальные члены нашего клуба космонавтов, вместе взятые. Возможно, сказывалось, что я был сыном военного летчика. И мое еще недавнее восторженное желание полноравно сесть пилотом в кабину боевого истребителя стало самой благодатной почвой для нового желания – вместе с «караваном ракет» помчаться от «звезды до звезды» в бесконечность Вселенной, где я героически оставлю свои следы «на пыльных тропинках» одной из «далеких планет», скажем, в той же галактике Андромеда.

Почему именно там, когда их, галактик, мириады мириадов в просторах, рожденных Большим взрывом? В этом, признаюсь, виноват писатель Иван Ефремов и его более чем популярный тогда роман «Туманность Андромеды».

Не знаю почему, но я читал эту книгу по ночам под одеялом с помощью трофейного немецкого многоцветного фонаря «Даймон». Правда, сегодня я ее содержание толком не помню. В памяти с той поры осталось лишь одно, как я однажды под одеялом стыдливо, тычком поцеловал сухи-

ми напряженными губами романтично красивое лицо Низы Крит, астронавигатора, изображенное на обложке книги в ореоле звездной россыпи. Возможно, от этой моей зачаточной влюбленности шла прямая дорога к моей будущей самозабвенной любви к космосу.

Кстати, заразился я ей на четыре года ранее полета Гагарина, когда осенними вечерами выходил из дома в сад взволнованно встречать пролет первого спутника Земли. И бдительно следующей за ним по пятам, как на привязи, последней ступени ракеты-носителя.

Итак, 12 апреля 1962 года. СССР первый раз празднует День космонавтики. Мы, семеро смелых, стоим навтыяжку на лужайке Дворца пионеров, украшенного на входе строгими колоннами – их массивные длинные стержни волнующе напоминают нам приготовившиеся к старту космические ракеты. Они как бы ждали, когда мы пройдем курс юного космонавта и будем готовы занять свои места в их креслах-катапультах, загадочно называвшихся ложементами.

Руководитель нашего звездного клуба старшая пионервожатая Зоя Максимовна Терешкова, кстати, вовсе не родственница будущей первой женщины-космонавта, торжественно вытянулась, чуть поднявшись на цыпочки возле металлического флагштока. На ней торжественно белая, слепящая под солнцем блузка и яркий, пылающий алый галстук, похожий на счастливую гордую птицу. Когда я, как самый отличившийся на спортивных тренировках, приступил к поднятию по флагштоку стяга с портретом Гагарина, Зоя Максимовна радостно вскрикнула:

– Пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!

– Всегда готовы!!! – залпом проорали мы. На грани школярного хулиганства.

И при этом бодро отсалютовали вскинутой правой рукой. В этот момент обязательно надо, чтобы ее руки, напряженные пальцы были чуть выше головы, как символ того, что общественные интересы у тебя выше личных.

Кстати, у Юрия Алексеевича во время его полета был позывной «Кедр», а мы тайком между собой стали называть нашу замечательную Зою Максимовну Аэлитой. Тогда не

было мальчишки, который бы не посмотрел раза три, а то и более того кино с таким названием, поставленное по фантастическому роману Алексея Толстого. Я смотрел пять раз. Нет, даже шесть!

Когда стяг взлетел, мы дружно запели про караваны ракет, которые помчат нас «от звезды до звезды». Пели мы, честное слово, плохо. Даже хуже, чем плохо. Поэтому у некоторых прохожих явно складывалось впечатление, что в клуб юных космонавтов принимают самых бесталанных ребятшек. У Аэлиты от такого нашего неудачного пения щеки всегда становились одного цвета с ее образцово-показательным пионерским галстуком.

Помнится посейчас, что мы пели эту первую в СССР космическую песню с еще не вычеркнутыми из нее словами «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом». В устах пионеров это, конечно, звучало реально забавно. Кстати, уже вскоре распоряжением свыше «закурим» заменили на нелепое «споемте перед стартом», словно наших героических космонавтов готовили в каком-нибудь самодеятельном ансамбле песни и танца типа молодежной «Березки» нашего Дворца пионеров.

Кстати, мы уже тогда знали, что Воронеж к полету Гагарина причастен напрямую, и нашей радости не было предела. Хотя говорить об этом открыто никто не смел. Это тогда был секрет особой государственной важности. А заключался он в том, что на одном из наших «почтовых ящиков» спроектировали и изготовили под руководством знаменитого ученого Семена Косберга двигатель третьей ступени для ракеты-носителя «Восток». Именно она и доставила на орбиту корабль с Юрием Гагариным.

– Кто из вас не купался вчера или сегодня утром? – после поднятия стяга прозаично проговорила наша любимая Аэлита.

Оказывается, нам в тот день предстояло участвовать в одном очень важном и ответственном мероприятии. В полдень в городе на центральной площади Ленина должен был состояться парад, посвященный Дню космонавтики.

– Я не купался ни вчера, ни сегодня. У нас газовая колонка сгорела... – проговорил я таким голосом, словно озвучил сам себе смертный приговор.

Сейчас следом должны были ударить мои крупнокалиберные слезы и превратить меня в полное рыдающее ничтожество.

Аэлита бдительно успела спасти мое реноме: быстро, взволнованно подошла ко мне и, пристально оглядев, весело объявила:

– Сойдет! Рожца чистая! Под ногтями грязи нет. Иди в туалет и на всякий случай хорошенько помой физиономию. И обязательно – шею. Мы едем в гости к летчикам!

Я никогда в своей жизни так быстро не бегал в это особое заведение, как в тот день.

И нас повезли на строго-зеленом военном автобусе на военный же аэродром за городом возле леса со странным названием Дальний. Станным, потому что добраться до него можно было с последней трамвайной остановки на улице Острогжской всего за двадцать минут. Видимо, он стал Дальним, когда еще не было ни этой самой улицы, ни аэродрома, может быть, и самого Воронежа тогда не имелось в наличии.

На аэродроме летчики, добродушно посмеиваясь, одели нас в высотные компенсирующие костюмы, то бишь ВВК. В них мы, наглухо зашнурованные, пусть и несколько отдаленно, но все-таки напоминали настоящих космонавтов.

Аэлита восхищенно смотрела на нас. Казалось, еще минута, и она восторженно заплачет.

А потом была главная городская площадь Ленина, и над ней ярко, оглушительно громко звучала та самая песня про оставшиеся до старта четырнадцать минут, и мы, семеро юных космонавтов, шеренгой торжественно прошли впереди праздничных колонн.

Через полчаса я стал задыхаться в скафандре.

Нас со всех сторон фотографировали, нам неистово аплодировали. Толпа воронежцев всех возрастов ором скандировала «Га-га-рин!!!», а какая-то рыженькая школьница в белой парадной форме с большим букетом ромашек прорвалась через милицейское оцепление, подбежала к нам и стала каждому раздавать цветы. Она что-то радостное взволнованно кричала нам, захлебываясь, но мы в ответ только глухо мычали из последних сил.

Так я недолго побыл «Гагариным».

В тот же день вечером я вдохновенно сочинил фантастический рассказ. Он поместился на двух страничках школьной тетради в линейку. Рассказ был про полет на планету Венеру и тамошние приключения дружной компании в составе собачки, кошки и хомячка. Что двигало мной, не помню.

В общем, я самоуверенно отослал свое произведение в «Пионерскую правду».

А через несколько недель увидел его напечатанным на первой полосе этой тогда самой моей любимой газеты. Еще и с рисунком к нему, забавно изображавшим моих смелых и веселых зоокосмонавтов.

Я, не откладывая, увлеченно поставил на поток производство словесных космических одиссей, но ни одна из них больше не увидела свет в «Пионерской правде». Хотя моя любовь к этой газете нисколько не уменьшилась.

Вскоре наш учитель физики Александр Александрович Лепендин, высокий, худощавый и весь какой-то бодро скоростной, объявил, что нам предстоит на его уроке написать сочинение на вольную тему «В какую галактику я хотел бы полететь вместе с Юрием Гагариным?»

И мы всем классом азартно заскрипели двухкопеечными железными блескучими перьями наших ручек, время от времени усердно тыкая ими в чернильницы-«непроливайки».

Само собой, я полетел с Юрием Алексеевичем в галактику Туманность Андромеды. С нами, между прочим, была... Да-да, астронавигатор Низа Крит и Иван Ефремов собственной персоной.

Через два дня на уроке в кабинете физики донельзя торжественный Александр Александрович, магически окруженный всевозможными загадочными приборами, которые нам еще только предстояло изучать, не своим от волнения голосом объявил, что мое сочинение среди всех самое лучшее.

– Поздравляю! Молодца!!! – сияя, восторженно проговорил наш «физик», тоже, оказывается, большой почитатель творчества Ивана Ефремова.

Он взволнованно зачитал мое сочинение вслух. Это была история про то, как в далеком будущем Чистильщики Все-

ленной прилетят к заброшенной безжизненной планете на окраине галактики Млечный Путь, чтобы уничтожить ее, как ненужный и опасный космический мусор. Солнце погасло миллиарды лет назад. Но когда Чистильщики узнают, что эта планета – Земля, прародина всех нынешних народов Вселенной, то они единогласно решат отбуксировать ее к молодой звезде и остаться жить на ней, обустроивая ее.

Два дня Александр Александрович водил меня по всем классам, и я, краснея, сбиваясь, старательно читал свое сочинение. Учитель физики каждый раз, как впервые, восхищался моим, так сказать, произведением, и первым начинал хлестко аплодировать мне.

Один раз старшеклассники даже бросились меня качать, только ничего хорошего из этого не вышло. Я уже тогда весил достаточно прилично.

А вскоре и вообще моя, если так можно сказать, дружба с учителем физики приказала долго жить.

Вдохновленный публикацией в «Пионерской правде» и триумфом сочинения на вольную тему, я решил осчастливить человечество еще и великим открытием.

В общем, как-то после звонка на перемену я подал Александру Александровичу альбом для рисования, в котором мы на известном уроке цветными карандашами или акварельными красками изображали вазы, фрукты, птиц и много чего прочего. Так вот среди этого «много чего прочего» у меня в основном присутствовали звезды, галактики, жители других планет и наши герои-космонавты Гагарин и Титов. Само собой, оба в скафандрах и гермошлемах с затемненными забралами, потому что правильно рисовать лица и фигуры людей я тогда не умел. Между прочим, и сейчас тоже.

На одной из страниц альбома мной был изображен сигарообразный звездолет с гигантским круглым парусом на конце. Двигателем ему должно было служить давление множества световых лучей, излучаемых прикрепленными сзади лазерными излучателями.

– ЭТО не полетит, – строго сказал Лепендин. – Оказывается, ты плохо слушал меня на уроках? Учти, я поставлю тебе двойку за твой нелепый проект, нарушающий все законы физики!

Двойку он не поставил, но с того раза потерял ко мне прежний интерес.

Как-то очередной весной на волне близящегося Дня космонавтики нас ни с того ни с сего заиклило на желании переночевать во Дворце пионеров именно в той комнате, где для астрономических занятий висел большой белый купол, похожий на маленький парашют: на него в темноте проецировалось изображение движущегося звездного неба.

– Зачем вам это надо? Ребятки, миленькие?! – смутилась Аэлита.

И это смущение ей очень шло. Оно выразительно подчеркивало ее романтическую (неземную, марсианскую!!!) красоту.

По крайней мере, я этот факт смущенно отметил.

Кажется, в плане красоты наша Аэлита превзошла даже прекрасного астронавигатора Низу Крит.

Мы понуро стояли перед Зоей Максимовной и настырно, по-щенячьи ныли, выпрашивая разрешение.

И сложилось. Как бы теперь сказали, срослось. Она так-таки пошла к директору Дворца пионеров. Что говорила ему Аэлита, само собой, осталось загадкой. Однако провести одну ночь под звездным куполом «в целях углубления астрономических знаний» нам разрешили.

Мы пришли в тот день ко Дворцу пионеров загодя, часов в шесть. Пришли, как на свидание со Вселенной.

До назначенных десяти вечера мы сидели на той самой лужайке с флагштоком и Гагаринским стягом. Правда, тамошняя обстановка оказалась не совсем способствующей космической романтике. Рядом за забором танцевальная площадка давала жару своим «живым» надрывным оркестром, шарканьем танцующих и время от времени криками дерущихся или только еще собирающихся драться парней, разгоряченных модной музыкой, улыбками загадочных девушек и крепким портвейном «Солнцедар».

«Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут...»

Ровно в двадцать два часа ночная дежурная Дворца Клавдия Ивановна, махонькая, с лицом в глубоких судьбийно мудрых морщинах и, ко всему, никогда не выпускавшая

изо рта папиросину «Беломора», пропустила нас внутрь, пересчитывая юных космонавтов ласковым хлопком сухонькой ладони по спине. При этом выражение ее лица было такое значительное, словно она провожала нас в настоящее космическое путешествие. Однако стоявший у нее за спиной пожарник дядя Петя, очень даже нетрезвый и чрезмерно бдительный, явно видел в нас отвязных пироманов.

Мы тогда знать не знали, что он служил на Байконуре и лишь чудом выжил, когда там за год до полета Гагарина взорвалась при старте межконтинентальная ракета.

Вот щелкнул дважды ключ, оставив нас наедине с торжественным куполом – миниатюрной копией бесконечной Вселенной.

Мы расселились на стулья и первое время вдохновенно бродили взглядами по бескрайним просторам искусственного звездного мира, словно искали там объект для своего будущего полета. Потом поспорили, кто больше всех найдет созвездий, которые знает. В итоге выяснилось, что как ни старалась нас просветить в астрономии Аэлита, дальше Большой и Малой Медведицы знания будущих космонавтов не распространялись. Я, правда, мог добавить к этому куцему списку созвездия Кассиопеи, Лебедя и Лиры, которые уверенно помнил, но почему-то предпочел промолчать.

Кстати, на полу под куполом для нас были постелены принесенные из спортзала новенькие маты. В конце концов мы, пообвыкнув к жизни под звездами, поудобней разлеглись на них и стали рассказывать друг другу, кто какие помнил сюжеты из фантастических книг про космос.

Через полчаса, если не раньше, все мы благополучно спали. Как выяснилось утром, сны наши вовсе не были космическими.

Последним мероприятием клуба юных космонавтов стала наша встреча с «живым» космонавтом. В Воронеж тогда на пару дней приехал наш земляк, научный сотрудник-космонавт и Герой Советского Союза Константин Петрович Феокистов. Трудно предположить, кто мог уговорить его согласиться на встречу с пацанами-мечтателями. Могла ли этого добиться наша Аэлита, так и осталось для меня навсегда тайной за семью печатями.

Как бы там ни было, в назначенный день и час нас строем под бравый барабанный перестук и трескучие вопли горна привели в областной краеведческий музей. Юных космонавтов рассадили в зале, посвященном жизни древних людей на воронежской земле. На стенах висели мощные луки, увесистые дубинки и разящие дротики, а на просторных дубовых столах возвышались макеты поселений эпохи ранних кроманьонцев.

Мы ерзали на стульях в ожидании Феоктистова достаточно долго. Более чем долго. Начали, наконец, понемногу дурачиться, строить друг другу рожицы, изображая из себя древних охотников и рыболовов. А когда кому-то из наших пришла в голову мысль объявить себя Мамонтом, мы, не откладывая, начали на него коллективную охоту. Антураж зала очень даже тому способствовал.

Вдруг вошел Константин Петрович. Стремительный, усталый, как бы несколько непонимающий, зачем он здесь. И вместе с ним в этом зале древностей, как мне показалось, распространился, наполняя все собой, запах космоса: с легким холодком, строгий и бесконечный. Возможно, это был запах одеколona Феоктистова, но тогда мне это и в голову не пришло.

В моей памяти навсегда отчетливо осталось выражение лица Константина Петровича: удивительно умное, сосредоточенно-деловитое, с тихим, но насквозь проникающим взглядом. Казалось, для этого человека во Вселенной и на Земле нет тайн, в которые бы он не был посвящен. Кстати, мы тогда еще ничего не знали о его судьбе военного разведчика в Великую Отечественную.

– Здравствуйте... – это все, что успел сказать Константин Петрович.

Я никогда не слышал такого вежливого, сердечного и деловитого голоса.

Как бы там ни было, мы тотчас с дико счастливым ором и верещанием всей ватагой ошалело ринулись на Феоктистова.

Он машинально вскочил на один из здешних столов с макетами древнего быта и охоты.

– Дети! Милые. Успокойтесь! – мягко попросил он.

Кто бы его слышал?!

Мы вцепились в полы пиджака космонавта, но вовсе не затем, чтобы немедленно разорвать тот на драгоценные сувениры. На самом деле нам просто отчаянно, до умопомрачения хотелось дотронуться до Константина Петровича.

Тут толпой вбежали растаскивать нас экскурсоводы, смотрители и уборщицы. Возможно, среди них были даже сотрудники тогдашнего КГБ.

Константин Петрович одновременно печально и в то же время радостно смотрел на нас. В конце концов, суетливо-бдительные сотрудники музея, цепко схватившись за руки, героически организовали некое подобие коридора. Феокистов смущенно прошел по нему, на ходу налево и направо сердечно пожимая наши, все еще судорожно тянувшиеся к нему руки.

– Извините, извините... Будьте счастливы, ребята! До встречи в космосе! – на ходу говорил Феокистов.

Я с ним случайно встретился взглядом. Мальчишка и космонавт.

– Будь счастлив! – сказал он и мне. Лично мне.

«Буду, Константин Петрович, зуб даю!» – мысленно вскрикнул я.

И пустил слезу. Счастливая, разрозовевшаяся красавица Аэлита заботливо обняла меня. Кажется, она тоже плакала. Само собой, от небывалого счастья.

С тех пор я знаю, как пахнет космос. Константин Петрович тогда принес его с собой в тот музейный зал древностей. Я поныне иногда слышу его даже через толщу земной атмосферы. Когда ночь на моей даче выдается густозвездная.

После такой чересчур восторженной встречи с героем-космонавтом наш клуб закрыли, а Зою Максимовну уволили с работы. Я уверен, что Константин Петрович об этом не имел ни малейшего понятия, а инициатива такого жесткого решения исходила из недр особо бдительных структур.

Нам всем было очень жаль расставаться с Аэлитой.

Мне больше никогда не довелось ее встретить. Возможно, она вернулась на свой родной Марс?..

...Через несколько лет после выпускных экзаменов в одиннадцатом классе я объявил родителям, что моя мечта стать космонавтом вовсе не детское увлечение, и что завтра я иду

в военкомат писать заявление с просьбой направить меня на учебу в училище, готовящее легчиков-истребителей.

Папа как раз перекусывал перед обедом. Перекус его состоял из черного хлеба и майонеза, недавно впервые появившегося в СССР в свободной продаже и сразу весьма понравившегося ему. Меня же от этого тягучего масляно-белого майонеза почему-то подташнивало.

Папа старательно облизал ложку, промокнул губы ломтиком еще теплого хлеба с румяной глянцева корочкой и тихо сказал:

– Какой у тебя рост, сынок?

– А при чем это? – чуть ли не заносчиво проговорил я.

– И все-таки... – мягко вздохнул папа.

– Метр семьдесят пять! – гордо объявил я.

– И ты, кажется, занимался в клубе юных космонавтов?

– Да! У меня диплом есть. С печатью Дворца пионеров.

Папа задумчиво вздохнул:

– Сохрани его. Обязательно. Для будущих своих детишек. А теперь скажи мне, какого роста был Юрий Алексеевич Гагарин.

Я знал о космосе немало. По сравнению с одноклассниками, так даже очень много. Это, кстати, их очень восхищало. Я видел, что учителям и ребятам тоже очень хочется, чтобы я стал космонавтом. Они словно чувствовали, что я рожден для полетов в космос, и желали мне всего хорошего на этом звездном пути.

Однако рост Гагарина я не знал.

– Метр пятьдесят три, – вздохнул папа. – У Титова – метр семьдесят пять.

– Ну и что?! – взволнованно отозвался я.

У папы, кажется, совсем испортилось настроение. Он даже майонез недоеденный отставил.

– Прости, сынок, мне выпала нелегкая миссия. Я сейчас на раз-два разрушу твою прекрасную мечту детства. И как тебе это никто раньше не объяснил? Тебя с твоим ростом даже в бомбардировочную авиацию не возьмут, а не то что в истребители. А в космическом аппарате куда ты своейные волейбольные ходули денешь?

Странно, однако я тогда почему-то спокойно воспринял крушение корабля моей звездной мечты. Наверное, пото-

му что сознание у меня спасительно отключилось, иначе со мной была бы истерика. В таком состоянии умственной невесомости я пребывал достаточно долго.

«Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна...»

В общем, я в итоге отнес свои документы в университет, и через шесть лет стал дипломированным «журналистом», а со временем редактором газеты «За кадры» Воронежского аграрного университета. И теперь вместо того, чтобы бороздить просторы Вселенной, с пробудившейся во мне на генном уровне крестьянской жилкой год от года борозжу актуальные сельскохозяйственные темы. И мне, честное слово, вполне нравится это делать. Наверное, сказалось, что все предки моих родителей были крестьянами. Я день ото дня с удовольствием пишу о передовых достижениях в области выведения новых сортов пшеницы, выращивания наилучших сортов слив и яблок, а также о борьбе с вредителями растений и передовых новинках сельскохозяйственной техники. Очень волнует меня и судьба неостановимо исчезающих пчел.

А из прошлой моей «космонавтской» жизни во мне навсегда осталось лишь одно – любовь к звездному небу. Да еще когда в наш университетский Экспоцентр на ежегодную агровыставку привозят гигантские современные комбайны, они напоминают мне своими технологически совершенными формами ни мало ни много космические корабли. А также недавно к очередному Дню космонавтики я разместил в газете свой очерк о нашем выдающемся земляке Феоктистове, который стал космонавтом, хотя в детстве перенес тяжелое ранение в шею. В Великую Отечественную подростком во время разведки на правом берегу Воронежа, занятом фашистами, Костя был схвачен их патрулем. И расстрелян на месте. Только он выжил. Очнулся в яме ночью и, несмотря на большую потерю крови, перебрался через реку в расположение наших частей. Еще и важные разведанные передал, ничего не забыл.

Время от времени я вижу кое с кем из одноклассников. Бывает, пересекаемся, хотя и поразбросали нас судьбы. Так вот они почему-то при встрече всегда чуть ли не с ребяческим восторгом принимают за цикленно говорить мне

одну и ту же ерунду: «Слышали, слышали про твой полет на МКС! Говорят, ты сейчас в программе подготовки экспедиции на Луну?! (Марс, Венеру и так далее)» И это повторяется год от года. «Ничего подобного, братцы-кролики. Откуда такие слухи?» – отнекиваюсь я, что только усиливает их веселую уверенность. – «Из достоверных источников! – объявляют они. – Так что не прибедряйся. Мы гордимся тобой! Привет Вселенной!»

Ладно, эдакое с их стороны я как-то еще мог понять и переварить. Оттягиваются пацаны. Стеб, одним словом.

Но однажды...

Так вот никто не поймет моего состояния, когда однажды ректор лично поручил мне написать заметку о заседании очередного ученого совета ВГАУ, назначенного на 15 сентября тогдашнего 2012 года. При этом голос его звучал весьма особенно. Я редко слышал от него такую взволнованную интонацию. В ней сошлись воедино торжественность, кипучая радость и немалая озабоченность. Вообще-то обычно я без напоминаний каждый раз информировал четырнадцатитысячный коллектив университета о вопросах, рассмотренных очередным ученым советом.

Тем не менее, в тот раз в течение дня мне позвонили и в свою очередь предельно бдительно напомнили о предстоящем ученом совете первый проректор, потом проректор по науке и чуть позже председатель вузовской профсоюзной организации. Даже настоятель нашего домового Крестовоздвиженского храма отец Василий, встретившись со мной в коридоре, затронул тему предстоящего ученого совета.

Я со своей колокольни в итоге предположил, что тот, возможно, посетит сам министр аграрной отрасли России или губернатор области.

Однако жизнь, как всегда, превзошла все мои ожидания.

15 сентября на большом экране перед восторженными глазами членов ученого совета ВГАУ и приглашенных высоких гостей предстали находившиеся явно в условиях невесомости члены экипажа 32-й экспедиции на МКС: командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Геннадий Падалка, летчик-космонавт, Герой России Юрий Маленченко и космонавт-исследователь Сергей Ревин. Они плавно,

едва заметно покачиваясь, словно сидели в глубокой воде, поздравили наш вуз с предстоящим вековым юбилеем. С орбиты поздравили! Еще и пообещали привезти вымпел университета, побывавший с ними в космосе, дабы передать его в музей вуза. И привезли, и передали.

Так завязалась прочная дружба аграриев и космонавтов. С тех пор время от времени то космонавт Геннадий Падалка к нам приедет и встретится со студентами, то Сергей Ревин. Бывали они у нас и на празднике Масленицы. И, надеюсь, не пожалели ни разу. Что-то, а с удалью праздновать аграрии умеют как никто. Как-то я даже написал в нашей вузовской газете, что причина такому нашему радушному союзу весьма, казалось бы, несхожих профессий очевидна: нас всех связывает Земля-Матушка. Космонавтам такой вывод понравился.

А не так давно после очередной бурной встречи с аграриями-студентами Сергея Ревина он сам подошел ко мне. Сдержанно и исключительно вежливо улыбаясь с присущей ему утонченной интеллигентностью, Сергей Николаевич негромко поинтересовался: «Извините, кажется, Вы пару лет назад участвовали в проекте «Марс-500»? – «С имитацией пилотируемого полета на Марс?» – взволнованно-глухо отозвался я. «Да-да...» – мягко подтвердил Сергей Николаевич. – По-моему, я Вас там видел!» – «Нет-нет...» – почти отчаянно отозвался я. – «Схожесть один в один», – аккуратно улыбнулся Ревин, и тут его, напоминая мне давнюю нашу встречу с Константином Петровичем Феоктистовым, захлестнул с вопросами студенческий водоворот: «Верите ли вы в НЛО? Можете описать, что чувствует человек в первый час полета? Когда вы решили стать космонавтом? Какие испытания были вами пройдены?»

Мне стало немного грустно. Ревин не тот человек, который может обмануться. Вдруг у меня действительно есть двойник? И он сейчас деловито готовится к реальному полету на Марс? А почему бы и нет? Счастливого полета тебе, братишка!

Но есть и другой вариант. Что если настоящая мечта способна материализоваться и начать вести самостоятельную жизнь?

Эка меня занесло. Лучше «давайте-ка ребята, закурим перед стартом».

## КРЕСТОНОСЕЦ

У всякого русского села своя примечательность. Одно славно своими частушками, другое – аккуратной деревянной церковкой или наивной легендой про Кудеяра-разбойника, про силача Проню...

Сысоевка известна психбольницей, проще говоря, дурдомом. Хотя среди его контингента порой встречаются люди внешне вполне как бы даже и здоровые, а то и вообще интеллигентные из себя донельзя. Как тот же Евгений Юрьевич, бывший школьный учитель истории. С его появлением многое для сысоевских психов переменялось в лучшую сторону. Начал он с того, что в своем отделении каждому на правую щеку зачем-то поставил зеленкой крест, будто некую перепись произвел. В связи с этим и прозываться они среди местных стали по-новому. Придут, скажем, в кафе возле больницы, сядут в угол подальше и робко поглядывают на здешнюю хозяйку, а она усмехнется им своими красивыми, ярко накрашенными губами и подаст долгожданную команду: «Эй, «крестоносцы», марш пиво разгружать!» И кинутся они тогда на улицу, по-детски счастливо сияя глазенками. А когда расторопно перекачают бочки, так она нальет им щец, само собой – пустых. Вот тут и начнут «крестоносцы» друг перед другом метать «жрачку», да так, что только ложки свистят. Иной раз удастся им и повыгодней шабашку сыскать: скажем, кому-нибудь из местных огород перекопать или сортир почистить. Такса за такую работу была известная: куриное яйцо или пяток картошек. Но и это Евгений Юрьевич с первых дней перевернул: плата для контингента его стараниями была категорически поднята втрое. Он сам поначалу ходил везде со своими «крестоносцами» на подработку и строго следил, чтобы не нарушались, как он говорил сквозь зубы, тихо и холодно, – элементарные права человека.

Работа работой, но насчет свободного времени Евгений Юрьевич тоже проявил инициативу: организовал местными силами вроде как самодеятельность. Сценой стал мост через реку, делившую Сысоевку на Правую и Левую. Сюда и наладились они приходить время от времени «свадь-

бу играть» – с гармонью, матаней и частушечным визгом. Для свадебных гуляний Евгений Юрьевич придумал своим «крестonosцам» украшения из пустых пивных банок.

С этой ватагой однажды вечером и сошлась Катя на мосту. Она смело и даже с улыбкой шла навстречу громовени: Катя не первый год работала санитаркой в больнице.

Евгений Юрьевич вышел из толпы и протянул ей букетик июльской луговой герани. Он скупно, болезненно усмехнулся:

– Свадьба у нас нынче забуксовала. Жених есть, а невесты нет. Вы не согласитесь восполнить этот пробел?

– Кто жених?.. – усмехнулась Катя.

– Я...

Катя в своей еще молодой жизни уже дважды была невестой.

И она знала, что невестой быть, в общем-то, очень даже хорошо. Проблемы начинаются потом. А потом уже дважды оказывалось, что она вышла замуж за алкоголика. И оба ее мужика по белой горячке с разницей в три года повесились, избрав для этого один и тот же крюк в сарае, – под хомут, кованный, с четырехгранным жалом.

На «невесту» Катя... согласилась.

Подхватив ее и Евгения Юрьевича на руки, «крестonosцы» бегом понесли их через мост. Надрывно сипела гармонь, лязгали гирлянды пивных банок. Сыроевские собаки молчали, поджав хвосты.

Наискось пугающе висела тяжелая, полная луна. Она была идиотски круглая, как лицо дауна.

Герань несколько дней синела у Кати на столе. Это были первые цветы, которые ей подарили за всю жизнь.

И она решила в свою очередь сделать что-то хорошее для Евгения Юрьевича. Она пожарила для него ядреные, как на дрожжах подошедшие, домашние котлеты.

Евгений Юрьевич отдал их на «общак».

Вскоре она заметила за собой, что день за днем, чем бы сама ни была занята, не выпускает учителя из поля зрения и все за ним невольно примечает: она протирает в палате пол – Евгений Юрьевич смотрит на паутину за окном; она макароны на кухне ломает над котлом – он Василию Васильевичу, главврачу, огород перекапывает – как раз напротив их дурдома.

Она хорошо знала, что это с ней и чем такое заканчивается.

На днях она увидела, что он в саду читает какую-то книгу, и решила подойти, чувствуя себя при этом, ни мало ни много, круглой идиоткой.

– Интересная? – тихо сказала Катя.

– Кому как...

– А кто автор?

– Ты его не знаешь.

– Вам трудно сказать?

– Ильин. Иван. Известный русский философ.

– И что он пишет?.. – Катя вдруг почувствовала, что может беспричинно расплакаться от волнения.

– Ильин пишет, что «там, где все кажется безутешным, утешение уже стоит у порога»...

– Откуда ему только взяться в такой нашей дурацкой жизни?

– Прислушайся, оно уже стучится в дверь... – сдержанно улыбнулся Евгений Юрьевич.

– А это ваши слова или Ильина? – взволнованно спросила Катя.

– Его для нас с тобой...

Кате вдруг стало не по себе, что вечером им опять придется расстаться до самого утра. Она пригласила его к себе поужинать «по-человечески».

У нее Евгений Юрьевич и ночевал.

Рано утром она пошла домой к Василию Васильевичу.

Туман от реки навалился плотный, вязкий, так что казалось, будто он цепляется за ноги и мешает идти.

Главврач доил в сарае козу, и они объяснились без свидетелей.

– Смотри, деточка... – вздохнул Василий Васильевич, который сидел перед ведром в байковом больничном халате.

– Жить ему у тебя я, конечно, временно разрешить могу. Считаю, что уже разрешил. Но пусть огород у меня перекопает и всю ботву картофельную пожжет.

– Миленький Василь Василыч! – заплакала Катя, судорожно обняла его и опрокинула ведро с молоком. Правда, молока оказалось всего ничего, как от мышки. Коза была старая, а зарезать ее Василий Васильевич жалел.

Уходя, Катя с уважением вспоминала то хорошее, что говорили в диспансере про этого человека: лет тридцать назад он работал на неплохой должности в облздраве, готовился защитить диссертацию по лечению шизофрении молитвой, а потом от него ушла жена, и он бросил все, переехал к ним в Сысоевку, и здесь его все полюбили.

Вернувшись домой, Катя первым делом зашла в сарай, пахнувший старым сеном, и на всякий случай с трудом, но выдернула из бревна тот самый кованый крюк для хомута.

Теперь вечерами Катя убиралась по дому, готовила, а Евгений Юрьевич рядышком читал своего Ильина, вместо очков используя большую увеличительную лупу, словно рассматривал страницы через иллюминатор, как ученый из того же батискафа неведомый глубоководный мир.

Катя однажды взяла эту книгу в руки и робко прочитала заголовок – «Книга раздумий и тихих созерцаний». Полистала: «Болезнь», «Бедность», «Одаренный», «Обиженные» ...

«От этого реально с ума сойти можно!» – растерялась она и куда подальше спрятала книгу.

Евгений Юрьевич дня два мучился без чтения, а потом вдруг лег на пол лицом вниз и затих.

Катя бегом принесла томик Ильина и положила рядом с ним.

Однажды ночью ее разбудила луна-даун: неестественно большая, она светила тупо и бездумно ярко.

Евгений Юрьевич спал с каким-то странным выражением на лице, словно одна часть его была счастливая и спокойная, а другая – нервная и несчастная.

...Под утро ему был голос.

«Пришел твой час спасти человечество... – сухо сказал он Евгению Юрьевичу. – Еще пара часов и боль страданий на Земле превысит критическую точку. Что будет тогда, тебе известно. Ты должен сразиться с большим красным драконом о семи головах и десятью рогами!»

– Аллилуйя! Я полетел!.. Я перехвачу его!!! – крикнул Евгений Юрьевич.

Катя переходила мост, когда он, угнувшись, напористо пробежал мимо.

Какая-то дикая сила мощно двигала его ноги. Он как топором простучал ими по бревнам настила.

...Из аминазиновой палаты Евгений Юрьевич вернулся через месяц, тягостно опустошенный, будто из него вынули все кости.

Катя кормит Евгения Юрьевича домашней едой, из которой на первом месте у нее уже известные котлеты размером с батон, покупает ему у Василия Васильевича козье молоко, а по вечерам читает вслух Ильина.

Катя ждет ребенка.

«Крестоносцы» продолжают подрабатывать на сысоевских огородах, катают в буфете бочки с пивом, а недавно опять играли свадьбу на мосту. Правда, на этот раз была та и без невесты, и без жениха. Но громовень, как всегда, стояла на все село.

## «НЯНЬКА»

Вся семья на Володьке с тех пор, как мать умерла: отец свою армейскую пенсию батяни-комбата доблестно пропивает в сугубом одиночестве, от младшего брата Алика и вовсе прибýtка ни на копейку. Однако трескает он при всей своей тщедушности за троих и к тому же самозабвенно любит, не слезая с дивана, бацать в смартфонских игрушках роботов или толпы голодных зомби. Володька его про себя иначе как «животное» не называет, но и жалеет в то же время – Алик только что пришел от «хозяина»: пару лет вертухался на зоне, после того как сожительнице глаз выбил за стервозность.

После похорон матери они недели две пили вразнос, потом столько же похмелялись и приходили в себя. Жизнь медленно, словно с отвращением, возвращалась в них. Наконец-таки наступил перелом: все трое невыносимо захотели есть. Дня два они ругались между собой, кому идти на поиски жарчки. А на третий Володька, устав от перебреха, молча поднялся и по стенке двинулся к выходу.

Володьке пятьдесят: скуластый, с твердым, умным взглядом и, хотя роста небольшого, но сотворен атлетом.

Удар у Володьки жесткий, убойный, да и живчик в нем еще тот сидит: его обухом огреть, так он лишь зубами заскрипит. Даже непонятно, как в свое время Володьку тренеры проглядели. Ему цены не было бы в боях без правил. И хотя в последнюю отсидку из-за кражи тележки арбузов остался он без одного легкого, нажил астму и язву, но сила в нем каким-то образом сохранилась прежняя. Кстати, там, на зоне, Володька и научился готовить жарчку из ничего, без копейки затрат.

Весной, летом, осенью он всегда с грибами и ягодами, травки целебной засушит для чая. Рыбалка у Володьки, само собой, круглый год. Потом же в его силки, нет-нет, да и попадет какой-никакой зайчишка. Или соберет Володька по мусоркам картонные ящики, сдаст во «вторсырье» – вот тебе еще нехилые рублей пятьсот, а то и все шестьсот – в прибыль! Само собой, добычливо наведывался он по осени и на близлежащие фермерские поля, ревизировал «сотки» и погрёба дачников.

Но основной прокорм шел к Володьке как в сказке, сам собой. Имелся в этом плане один неиссякающий источник. Так сказать, рог изобилия. Иди – бери, ешь – не хочу. Особенно щедрым этот источник становился в праздничные дни: со всех этажей летела тогда в мусоропровод разная торжественная снедь: окорока да колбасы особые (вовсе даже без плесени), дорогушие сыры, порой бутылочка коньяка могла соскользнуть в целостности и сохранности. Только сумку подставляй. Выходило типа как бы рыбалки с подсачком шиворот-навыворот.

В прошлом месяце на майские Володьке едва ли не в руки прыгнул копченый смугло-лаковый поросенок лишь с легким душком, а недавно в обычный будничный день из кисло-пахучего жерла с шумом вылетел свежайший гусь, запеченный с яблоками. Следом прибыла непочатая стеклянная емкость с непонятным названием HENNESSY X.O, но вполне определенным радостным содержанием.

Оприходовали ее отец и Алик. Володька поостерегся. Хорошо знал, чем эта жидкость ему потом аукнется. Знал, но, тем не менее, этих его бдительных усилий на полгода хватало, не более.

Потом он «нырял» в запой. Само собой, запой запою рознь. У него же тот всегда конкретный, жесткий – запой с «белугой». И «кино» в его башке всегда крутят одно и то же: некие личности ковбойской наружности хотят выкинуть их вон из квартиры.

В общем, когда дня три назад «небеса» в образе верхних этажей расщедрились на трехлитровую банку от души со-творенного самогона и не позволили ей разбиться, Володька мучительно дрогнул в своем нестерпимом воздержании.

И «кино» завертелось. Он жарил картошку (утром кто-то полмешка этого добра высыпал в мусоропровод) – и неожиданно спиной почувствовал: рядом опасность! У него над плитой на стене лейкопластырем закреплен треуголь-ный осколок зеркала – через него Володька и углядел под окнами человек семь. Далеко не великолепная семерка с Крисом Адамсоном во главе... Они явно выбирали удобный момент для рейдерского броска. Как обычно все в сомбре-ро, с винчестерами. По их наглой суетливости было понят-но, что на этот раз «великолепная семерка» без серьезного боя не отступит. А всяк в ней рядом с Володькой – тело. Только он знал за собой то, что им было невдомек: за его внешней, почти стариковской надломленностью кроется еще далеко не растраченная, немереная и в драке жадно ненасытная сила. В принципе, он мог этих сраных ковбо-ев покрошить в считанные минуты своим очень даже се-рьезным кухонным ножичком. Мог Володька, сработал бы только так, но благоразумно решил попытаться без крови увести бандюков отсюда подальше, чтобы не напугали эти звери отца, – сердце у того после Афгана на пределе. Да и это диванное «животное» может с переляку вены себе пе-регрызть.

В общем, Володька задумал, ни мало ни много, сусанин-ски заманить ковбоев на чердак, затем самому втихаря по водосточной трубе спуститься на улицу и срочно позвонить в приемную мэра.

Городской глава Сапожников, Володькин одноклассник, не препятствовал тому время от времени навещать себя на рабочем месте. Охране было распоряжение Володьку про-пускать, если только он не очень сильно пьян. Более того,

Сапожников стал замечать за собой, что ему в некоторой степени даже интересны эти встречи: Володька говорил по жизни и не иначе как тоном старшего брата, что просто-таки ласкало слух мэра, привыкшего к постоянной одно-тонной лести и политическому вранью. Их расставание не обходилось без Володькиной коронной фразы: «Подумай, Сапог, не откладывая, всегда ли ты поступаешь как мужик?»

А «великолепная семерка» все напирала: еще миг – и серьезно запахнет порохом.

– За мной, сволочи! – гаркнул Володька и бросился в подъезд.

Он взлетел вверх по лестнице и только на мгновение тормознул у железной чердачной двери, запечатанной мордастым висячим замком.

Володька коротко, жестко улыбнулся: когда его цепляла «белуга», он становился десятикратно силен, и сила эта в нем мощно, азартно прибывала на глазах, как у Илюши Муромца, отведавшего заветной водицы из ковшика калик переходящих.

Одним словом, Володька играючи ткнул рукой дверь, и она с грохотом пала навзничь. Он по-паучьи пробежал наискосок через крышу, ломая старый шифер. Здесь Володька на секунду задержался: когда-то они тут с пацанами, в том числе и с будущим мэром, любили переброситься в картишки или шугнуть голубей так, чтобы те со свистом резанули в поднебесье.

Крякнув, он перемахнул хилое ограждение и цепко оседлал заскрежетавшую водосточную трубу.

– Стоять! – крикнул ей Володька и лихорадочными рывками быстро пошел вниз. Вот-вот победно запоет!

Со стороны это было похоже на игру, правда, очень рисковую.

Как бы там ни было, но он оторвался от «ковбоев» и успел позвонить в приемную мэра.

Помощь примчалась одноминутно: газель без окон, как на труповозке, и в ней ломовые ребята в когда-то белых халатах.

Прежде чем влезть в хорошо знакомую Володьке рубаху с длинными рукавами в три обхвата, он таки подстраховался:

– Мужики, а кто вас сюда направил? Сапожников?  
– Он самый.  
– Мэр?  
– И мэр, и фэбээр.  
– Ковбоев уже взяли?  
– Сами сдались, гады! – они явно хорошо знали сюжет его «белужной» сказки.

– Едем! – твердо улыбнулся Володька.

На этот раз он подзадержался в аминазиновой палате: наверное, сказался-таки его «полтинник», – от здешних уколов он как никогда скис, отупел. Днем и ночью, пока лежал неделю на растяжке, что-то неясное смутно беспокоило, давило его.

На десятые сутки как ударило Володьку: «Отец, Алик!.. Как они там? Пожрать у них хоть что-нибудь есть?»

Братец, само собой, с дивана не слезает со своим смартфоном, отец пенсию доканчивает в пивнухе. И у обоих день ото дня ни крошки во рту.

В общем, Володька прогрыз дырку в матрасе и начал прятать туда для них больничный хлеб.

Когда его, наконец, перевели в общую палату, то вышла настоящая пруха: вместо обычной здешней одежды, застиранного, не по размеру, халата, ему и еще пятерым новичкам выдали поступившие в больницу в порядке шефской помощи бэушные «эмчээсовские» брюки и куртки.

И вот ведь что: психи, которым досталась спасательская форма, почувствовали себя, ни мало ни много, героями дня и быстрее других пошли на поправку. Само собой, прилась одежда по душе и Володьке. Особенно гордился он серьезной, внушительной надписью на куртке со спины: «Служба спасения». Но самое главное, в таком прикиде можно было легко бежать из психушки, особенно не заботясь насчет переодевания. А в том, что он вскоре окажется за забором, Володька несколько не сомневался – опыт ходок на волю был.

Бежать, так бежать – дело азартное и привычное.

Вообще Володька мог без проблем пройти куда угодно мимо любого охранника, если правда была на его стороне. Так что он особенно не мудрил и, как всегда, обошелся

без классических подкопов или чего-то иного в этом роде. Просто-напросто собрал в полиэтиленовый пакет запасенные сухари из матраца и ушел домой с гордо поднятой головой, так сказать, не прощаясь. Охрана его как бы даже не видела. Точно сон какой-то блаженный на них навалился.

По дороге в автобусе пассажиры с любопытством и уважением оглядывали его форму Министерства чрезвычайных ситуаций. Само собой, водитель и не заикнулась, чтобы он оплачивал проезд.

Когда Володька вошел домой, отец облегченно заплакал, а брат, пусть и не вставая с дивана, в наушниках, все же с улыбкой протянул ему обе руки. Между прочим, были они на этот раз не одни. Сидел у них небезызвестный Володьке агент по недвижимости из одной фирмочки. Он полгода таскался к ним, чтобы отец подписал договор на продажу квартиры. Всегда водку приносил. Хреновую. И сейчас приволок и, как видно, только что достал. Между прочим, эмчээсовская форма и на него тоже подействовала впечатляюще: по крайней мере, он молча ретировался, когда «служба спасения» эту самую водяру у него выхватила и целенаправленно слила в раковину. Отец при этом действе болезненно покашливал, но, тем не менее, от активного протеста воздержался.

В этот день Володька своих закармлил: добыл известными ему путями из жерла мусоропровода вполне приличной, едва с душком копченой стерлядки, а также салат с тихоокеанскими крабами. Свезло, однако. Еще он откуда-то телевизор притащил, цветной, плазменный, только без изображения. А звук у того был отличный.

Они допоздна слушали телевизор и хохотали. Радовались, что опять все вместе. Пучком.

Ночью Володьке приснилась мама: какая-то молоденькая, просто девочка, даже с куклой веснушчатой в руках. А голосом мама говорила усталым, старушечьим:

– Спасибо, деточка. Ты у меня хороший сын. Только не забывай хоть иногда баловать отца пельмешками. «Цезарь» называются. Уж очень они ему в аппетит, а попросить стесняется, – больно дороговатые. Кстати, Алик больше всего на свете любит заварное пирожное!

Володька в ответ хотел сказать что-то душевное, правильное, но вдруг проснулся – как выпал из сна.

Стучали в дверь. Настоячиво.

Было рано, пятый час в начале. Легкий свет за окнами только начал распускаться. Володька бдительно прислушался: стучат уверенно, со знанием дела, – мол, иди открывай, а то сами войдем. И очень тогда нехорошо.

За дверью стояли знакомые ему санитары и фельдшер со следами на щеке губной помады.

– У вас что-то на лице, – тихо сказал ему Володька.

– Не умничай, сволочь ... – вяло проговорил тот. – Поехали.

Володька обернулся: Алик спал прямо в смартфонских наушниках. Счастливо, самозабвенно спал. Во сне ему, наверное, подвалила игровая пруха.

Отец уже вставал, уворачиваясь от боли в пояснице: афганский осколок так в ней и остался. Лицо у него было строгое, серьезное, но в то же время беззащитное.

– Я скоро вернусь... – почти нежно улыбнулся ему Володька. – Жрачка есть, но экономьте, мужики.

– Надень для страховки, – подал ему фельдшер смирительную рубашку.

Володька переоделся сам.

– В общем, ждите! – глухо крикнул он отцу.

Он еще не знал, что мэр приватно попросил главврача диспансера изыскать возможность оставить Володьку у себя до полного выздоровления, то есть навсегда. Приближались выборы – и на городском уровне, и на областном, так что пиарщики сопровтивных партий очень даже могли использовать Володькины визиты к Сапожникову.

Правда, ни он, ни главврач не знали, что для Володьки нет запоров: он не Гарри Гудини, но пройдет через все преграды слеганца. Так что батю насчет своего скорого возвращения Володька не обманул.

Утренний свет уже высоко раздался. В присыревших за ночь тополях вовсю тикали четкие синичьи часы. Газелька завелась не сразу – машина старая, давно отбегала свое.

Когда они, наконец, поехали, Володька спал.

Ему нужны были силы.

## ОЛЕНУХА

Таня Макарова переходила Ушивку по зыбкому мостику, когда вдруг услышала странные звуки, точно мартовский лед на реке перенапрягся и начал хлестко рваться. Это застучали по нему копыта оленухи с телком, бежавших от диких собак. Десятка три матерых псин рассыпью со всех сторон обложили их. Март да апрель – самое смертное для «зеркальных» время. Ослабленная зимовкой, оленуха то и дело оскальзывалась, и, кажется, уже сама обреченно хотела, чтобы клыки поскорей взрезали ей сонную артерию, и прекратилась, наконец, эта заполошная травля. Но как только взглядывала она на упорно скакавшего рядом телка, который, несмотря на свой почти годовалый возраст, был еще прилипчивым сосуном, так и оживала, зверела, подстегивая его хрипом и судорожным, твякающим лаем. Однако ничто не помогало уже им и не могло помочь.

Вожак стаи мчался уже бок о бок с оленухой, но все что-то оттягивал последний прыжок.

Лед под оленухой вдруг распахнулся. Она и телок скользнули в полынью.

Таня упала на колени.

Где-то через минуту морда оленухи пробилась наружу из ледяного крошева. Самка рывками стала пробиваться к берегу.

Татьяна бросилась в село.

Скоро сбежались на берег почти все ходячие лукичевцы: кто веревку приволок, кто сеть. Однако первым примчался Танин муж, здешний глава Алешка Макаров с двумя оглоблями под мышками, точно запряженный конь, который оторвался от передней оси повозки, когда его заполошно понесло.

Оленуха к этому времени своими силами до мелководья добралась, но встать и идти не могла, ноги подламывались. Чтобы не захлебнуться, она судорожно вытягивала из воды шею и глухо потягивала. Телка нигде не было. Уже и вода в проломе устоялась: никаких признаков, что он еще ломится прорваться из-под льда.

Всем миром привязали оленуху к оглоблям и выволокли на берег. Она неуклюже раскорячилась и все норовила оглянуться на реку.

Фермер Михаил Дорофеев, почмокивая, добродушно похлопал оленуху по животу, уже обросшему мелкими сосульками.

– Не резви, едрит твою... – строго сказал.

В этот момент оленуха вдруг неожиданно сильно, с напрягом встряхнулась.

– Тпру! – резво отскочил Дорофеев.

– Ожила трохе!.. – засмеялся Макаров.

Оленуха оскалилась и фыркнула. Ее поспешили развязать. Она по-человечьи глубоко, нервно вздохнула и, поскальзываясь, медленно, слабыми рывками, стала неуклюже подниматься вверх по склону.

– Иди, иди в свой лес. Жизнь продолжается... – вздохнул Макаров.

Народ стал расходиться.

Под утро Таня подошла к окну. Ночное небо уже стало блекло-матовым. Вокруг достаточно развиднелось.

На берегу Ушивки темным пятном стояла оленуха. Как видно, всю ночь не сошла с этого места.

Таня влет оделась и вышла.

Оленуха позволила ей подойти совсем близко, не шевельнулась. Лишь вытянув шею и уши в сторону реки и морща грубые, точно кирзовые ноздри, напряженно принюхивалась. Время от времени тяжело вздыхала.

Таня села рядом на корточки.

– Его нет в живых... – сказала тихо, боясь ее спугнуть. – Уходи. А то убьют тебя: или мужики, или собаки.

Оленуха неожиданно громко и сердито твякнула.

– Не сердись, пожалуйста. Я все понимаю... А можно тебя обнять?

Таня приподнялась и аккуратно положила руку ей на шею. Кожа оленухи судорожно напряглась. Внутри ощущалось сдержанное трепетание, точно там какой-то мотор работал.

– Красотулька моя! – уже громко сказала Таня. – Иди домой, пожалуйста. Ступай в лес. Твой телок теперь в лучшей жизни. Никакие клыки его там уже не достанут. Нечего сердце рвать! А месяца через два он всплывет... Тогда и приходи. Вместе поплачем.

Оленуха медленно покосилась на Таню, сопливо чихнула, точно слезами поперхнулась, и неуклюже полезла на ярко высветленный молодым солнцем косогор.

На следующий день в то же самое раннее время оленуха вновь стояла на берегу у ледяной закраины.

Когда Таня спустилась к Ушивке, около оленухи, заложив руки за спину и задумчиво ссутулясь, похаживал Мишка Дорофеев. Он напряженно соображал, как не упустить добычу, которая сама пришла им в руки.

– Отойдите от нее, дядя Миша! – как догадавшись о его зреющих намерениях, наскочила Таня.

Дорофеев тяжело задышал:

– Танюха, я о простом народе забочусь, не о своем брюхе! Мясо поделим честно, по едокам. Автолавки раньше мая нам не дожждаться. Так что, ложиться и помирать? Лучше ступай, дочка, за кувалдой... Сам Бог нам эту оленуху послал. Весь мир про нашу Лукичевку забыл, а он – нет...

– Вы не посмеете, – строго сказала Таня. – Я сейчас мужа позову на помощь!

– А он согласен со мной. Мы час назад всем селом это дело обсудили. Без тебя. Так сказать, пощадил твои тонкие нервы. Ладно, я не гордый, сам схожу за кувалдой, а ты пока с этой коровой пошепчись поласковой, чтобы не смылась или с горя не околела. Хотя по нашей жизни и мертвечина веселей веселого полезет в брюхо!

– Уходи, милая... – шепнула Таня оленухе, когда Дорофеев скрылся за косогором. И построже добавила: – Пошла, пошла отсюда! Ну, дура...

Она замахнулась на нее, но та не пошевелилась. Не строилась оленуха с места, когда собаки за рекой вдруг затаили вой про свое унылое житье-бытье.

Дорофеев, однако, так и не пришел. Говорили, запил с того часа.

Вечер, ночь и весь следующий день оленуха уперто, не переступив ни одним копытом, вглядывалась в проплешину на середине Ушивки, где вода уже схватилась новым твердым ледком, жестко оцепенела.

Оленуха не сходила с места три дня. Таня пыталась кормить ее хлебом, но она лишь отдергивала морду и слюняво

скалилась. Алешка принес из сарая нового сена, но и на душистую охапку та не отреагировала. Даже сахар не взяла, их последний. Подали ей воды в ведре, так она его носом подхватила и в сторону со злостью отбросила, чтобы ведро не мешало выглядывать телка. Все казалось оленухе, что вот-вот по льду реки озорно процокают его аккуратные копытца и, увидев ее, длинноухий строго-капризно рыкнет, неумело подражая взрослым самцам.

– Напрасно ты не дала мне ее забить... – наконец вновь объявился на берегу Дорофеев, пошатываясь. И вдруг погладил оленуху: – Отощала животина. Жаль... Как-никак потеря ценных килограммов. Ты разве не видишь, что она жить не хочет без своего сосуна? Затем и пришла к нам, чтоб мы ее вслед за ним отправили. Надеется на нас. В расчете на милосердный акт эвтаназии. Так что ты, того, дозвожь мне ее спасительно долбануть по башке!..

Тут как раз и Алексей оказался рядом, покаянно опустил голову:

– Видит Бог, Таня, нам всем эту животину жаль! Но ей без телка уже не жить. Загвоздило. Так что от лица всех лужичевцев прошу тебя: дай нам беспрепятственно страдания ей облегчить... Не сомневайся. Я все в один чик сделаю. Она и не поймет ничего, как уже рядом со своим телком будет через ковыль скакать. Оленуха с часу на час сама сдохнет...

Когда Таня ушла за косогор, Алексей медленным прицельным замахом занес кувалду, поднатужился и пустил ее влет с таким бешеным выдохом, точно наизнанку вывернулся.

Дорофеев стоял достаточно в стороне, но когда кувалда полетела, разрывая воздух, все равно машинально шаранулся.

Передние ноги оленухи подломились: она пала на колени и тыкнулась мордой в жухлый колкий снег, словно напоследок молитвенно склонилась перед своим оленьим богом.

– Готова... – глухо сказал Дорофеев, и тотчас, будто бы змея в траве отрывисто шикнула, – это он выверенно, с безупречной точностью хватил наискось по нижней стороне оленухиной шеи ножом и открыл кровь.

Подскочив с ведром, деловито подставил его под густую живую струю. Ни капли не упустил.

После забоя Алексей здесь же на берегу приступил обдирать шкуру, вынул еще теплый усохший желудок и пустой кишечник. Тушу рубили тоже на месте.

К вечеру лукичевцы все мясо и ливер разобрали с шутками-прибаутками. Даже копыта унесли.

Ночью к Ушивке пришли дикие собаки, однако на берегу ничего толком не нашли. Лишь запах сочной свежатины нагло дразнился. Вожак долго, злобно грыз в этом месте льдистый снег, скреб его отросшими за зиму чуть ли не медвежьими когтями.

## ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Эта пословица про главенство хлеба была любимой у Ильи Карповича, потомственного мельника и прадеда Валентина Александровича. Так что неудивительно, что именно ее Валентин Александрович Кузнецов, вершинный генерал местной строительной пирамиды, невольно вспомнил при особых тому обстоятельствах.

В тот день он заехал заценить, как идет подготовка к сносу недавно выкупленного им с «потрохами» старинного, начала прошлого века, хлебозавода, – на его месте предстояло воплотить в бетоне и стекле высотную суперсовременную гостиницу.

Здесь хлебозавод последнее время почти не приносил доходов, ко всему его краснокирпичное здание, напминавшее былую губернскую тюрьму, явно не украшая город. Оно обреченно стояло среди чащобы «торчков» нынешних, наспех слепленных, высоток. Заводская труба хлебозавода с густо прокопченным оголовком была как часовой при прошлых временах, здесь словно бы затаившихся.

В тот день вокруг хлебозавода с утра тесным кольцом, приготовившись к атаке, выстроились экскаваторы, дерзко раззявившие свои зубастые ковши, возбужденно клочотавшие дымными моторами таранные бульдозеры и длинношеие автокраны, с разбойно свисавшими на тросах увесистыми шар-бабами.

Было очень тихо, как перед боем. Куда-то враз подевались тучные голубиные стаи, сытно окормлявшиеся в здешних краях. Из соседних домов в окна на здание хлебозавода тревожно пялились жильцы. Предчувствуя скорое начало штурма, некоторые из них поспешно разъезжались, создав во дворах автомобильную толоку.

Точно малый Чернобыль вызревал окрест.

Но надо всем этим, словно на прощание, раскинулся благодатный аромат горячего зрелого хлеба, сотворенного на живой правильной закваске. Как видно, кто-то в пекарне подхватился напоследок памятно объявить народу, что они навсегда теряют.

– Поехали!!! – по-гагарински объявил Кузнецов.

Чугунные шар-бабы величественно пришли в движение, как электроны некоего гигантского атомного ядра. Свита Кузнецова вместе с толпой журналистов поспешно отпрянула. Но где бы кто не стоял, каждого судорожно встряхнула окрестная земля, сотрясенная убойной мощью десятитонных палиц.

Только Валентин Александрович не тронулся с места, не пригнулся, ухом не повел, когда над ним, обдав напористым вихрем, воинственно пролетели, словно выпущенные гигантской штурмовой катапульты, убойные шары.

Все машинально зажали уши.

Тяжелое грязное облако, неуклюже ворочаясь, напористо разрастаясь на глазах, чуть ли не гневно вздыбилось над тем местом, где только что покорно стояли старинные краснокирпичные стены.

«Хлеб всему голова...» – как сухая молния из чистого неба вдруг вывернулась в памяти Кузнецова любимая прадедова присказка.

Валентину Александровичу отчего-то стало не по себе...

В тот день он пришел домой за полночь, можно сказать, под утро, и с незнакомыми, странными гостями, державшимися робко и как бы даже виновато: священник здешнего храма Великомученицы Татианы, тихо представившийся отцом Виктором, и некий Петр Петрович с жутковатой фамилией Погребной – безобразно худой дядька в диапазоне лет от тридцати до шестидесяти в драном и грязном синем рабочем халате, весь в муке и цементной пыли, который

показался всем домашним самым настоящим бомжем. Валентин Александрович имел особую странность: иногда в состоянии особого перевозбужденного волнения окружать себя как раз такими необычными для его сложившегося круга общения людьми. Правда, достаточно скоро выяснилось, что более чем неприглядный Петр Петрович есть на самом деле как-никак главный технолог поверженного вчера днем хлебозавода, который, кстати, в одиночку успел до атаки чугунных шар-баб сотворить напоследок нечто вроде поминального каравая. Назывался тот «хлебным русским». Квашню для него Петр Петрович старательно вымесил на славно выбродившей опаре, а при выпечке виртуозно добился формирования радостной светло-золотистой корочки. Ко всему по своей фантазийности и пониманию момента Петр Петрович щедро добавил в бодрое тесто сохранившийся с минувшей Пасхи освященный изюм, а поверху выложил из теста объемный православный крест.

Валентин Александрович распорядился установить в центре гостевого стола этот почти метровой высоты каравай. Из-за размеров и веса сей пшеничной горы ее водрузили на указанное место усилиями всех трех домработниц – достаточно зрелых женщин, бывших учительниц математики, географии и химии – самых ненавистных школьных предметов зеленоволосой Эльвиры, второй или, кажется даже третьей молодой, точнее, самой молодой супруги Валентина Александровича.

Итак, возможно последнее хлебно-булочное производство Петра Петровича Погребного установили на ярко-синем японском блюде древней эпохи Хэйан с позолоченными драконами, мордочки которых напоминали лица сердитых стариков.

Следом бывшие преподавательницы с наигранной торжественностью в лицах вынесли коллекцию разнокалиберных коньяков и вин.

Батюшка украдкой перекрестился.

– Мы сегодня прорубили окно в Европу! На месте старой пекарни я поставлю лучшую в России гостиницу! – весело объявил Кузнецов и подал Петру Петровичу в израненные кирпичными осколками руки старинный хлеборезный нож благородного стерлингового серебра.

– Мне мало надо... Краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака... – как молитву проговорил Погребной и пустил нож в работу.

– Прикольно! Вау! – взвизгнула Эльвира, подняв над собой хлебный душистый кусмень. – Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай! Нет, выбери меня! Интернет обхохочется! Круто!

Когда Эльвира вернулась в «рашку» после учебы в Лондонской школе экономики и политических наук, тамошние полученные знания на раз выветрились из ее головушки, – она словно перешла жить в свой айфон из драгметалла с розовыми бриллиантами и не признавала больше ничего, как только «хайпануть» себя в Инстаграме, – скажем, сфоткаться в ванне в обнимку с рыбой или лежа обнаженной на столе, в особых местах для соблюдения деликатности густо обсыпанная вареными макаронами. Любые прикольные фантазии Эли приветствовались визгливым «Вау-у-у!» ее сетевых подружек.

Не отходя от стола, она перекинула в Инстаграм свои прикольные фотки с каравайным куском на голове: густо облитый матовой глазурью, он напоминал то ли лунный серп, то ли корону принцессы.

«Это мой вайб!» – наморщив носик с бриллиантовым колечком, пискнула Эля.

– Хлеб – всему голова... – хмыкнул на это Погребной, продолжая аккуратно пластать свое поминальное произведение.

Валентин Александрович вдруг въяве услышал в голосе главного технолога интонации своего покойного прадеда. Он напряженно вздохнул.

Утром Эльвира рассерженно увидела на ленте, что она на этот раз далеко не в лидерах активности по лайкам и репостам. Эльвира не привыкла проигрывать. На этот раз ее новой съёмочной площадкой стала спальня. Как настоящая селфоманка, shutterbug, Эльвира нащелкала сотню кадров, однако ни один ее не удовлетворил: айфон впустую несколько часов порхал над Эльвирой, но она ни разу не вскрикнула победоносное «Вау!!!» Даже когда ее озарило сфоткать свои ягодицы, напоминающие большие тугие пу-

зыри, втиснув между ними кусмень вчерашнего каравая, веснушчатого изюмом, освященного в здешнем храме Великоумченицы Святой Татианы.

Всю следующую неделю Кузнецов практически не был дома, а несколько раз так и вовсе ночевал у себя в кабинете: история с разрушением переставшего окупать себя хлебозавода оказалась с продолжением. Он не ожидал, что этот достаточно обыкновенный факт в его почти двадцатилетней строительной практике обернется настоящим испытанием. Теперь кто только не пытался прорваться к нему в кабинет или перехватить его у дверей офиса: разъяренные краеведы, шустрые журналисты, местные кандидаты в депутаты, норотившие заработать на скандале голоса будущих избирателей, а также окрестные жители с наспех нарисованными протестными лозунгами. Ко всему прибавьте сюда экзальтированных членов общества по достойной встрече инопланетян, раздраженных на всех и вся борцов за свободу психиатрических больных, а также истеричных сторонников запрета знаков препинания из когорты бывших закоренелых двоечников.

В итоге только ленивый не поднял над собой гневно сжатый кулак по поводу вандализма господина Кузнецова. Число противников строительства супергостиницы на месте бывшего хлебозавода множилось. Более того, Валентину Александровичу келейно передали, что САМ тоже недоволен этой историей, как назло, случившейся накануне выборов.

А тут еще днями географичка, математичка и химичка официально через секретаря записались на прием к Валентину Александровичу.

В дверь его кабинета вошли как призранные тени.

– Не знаю, как и начать... – пролепетала географичка, самая волевая и решительная в этой троице.

Она сейчас была похожа на лучшую ученицу школы, охваченную у доски обморочным волнением перед проверяющим из департамента образования.

– Я помогу вам... – сдержанно, красиво усмехнулся Валентин Александрович. – Вы мужественно решили в ответ на снос старого обанкротившегося хлебозавода демонстративно-показательно уволиться всем коллективом.

– Ничего подобного!.. Нет!.. – глухо привскрикнула географичка и нервно перекрестилась. – Мы сугубо благодарны Вам за все хорошее. Именно это чувство и повелело нам незамедлительно прийти и упреждающе сообщить об одном странном, на наш взгляд, факте... В общем, мы последнее время стали замечать, как ваша дочь, простите, Бога ради, супруга, тайком берет на кухне куски хлеба и куда-то уносит. Мы, конечно, ничего против не имеем. И иметь не смеем. Однако все же...

– Бдительные вы мои! – с облегчением объявил Валентин Александрович. – Ларчик просто открывается. Моя половина на день сегодняшней находится в стадии очередного творческого поиска. На этот раз она покоряет Инстаграм своими хлебными фотками. Хотите взглянуть?..

– Вообще-то мы их видели... – одновременно покраснели бывшие учительницы.

– Тогда ступайте и мирно трудитесь, – рассмеялся Валентин Александрович, однако с той уважительной мимикой, которая, очевидно, свидетельствовала о его нерастратченном поныне благоговении перед профессией учителя.

По прошествии некоторого времени бывшая географичка, подавая как-то утром Валентину Александровичу на завтрак творог с ананасами и авокадо, строго проговорила:

– Ваша супруга больше не появляется в Инстаграме...

– Ну и что? – хмыкнул Кузнецов.

Географичка замерла, словно собирая последние силы:

– А то, что хлеб она по-прежнему ежедневно тайком уносит куда-то к себе.

Проговорив, бывшая учительница демонстративно закрыла глаза и вскинула голову, но как-то так накосо, чуть ли не по-куриному.

Взгляд Валентина Александровича настолько заострился, что, казалось, попадись ему сейчас какая-нибудь бумага, тот бы вмиг ее проткнул. И возжег...

– Она в своем праве. Мало ли какие у нее намерения... – напряженно проговорил Валентин Александрович.

– В таком случае я прошу Вас пройти со мной... – многозначительно прошептала географичка.

Они отправились в спортивный зал. Уже при входе здесь почувствовался какой-то утвердившийся угрюмый кислотный запах.

Географичка прибавила шаг. Она явно знала, куда шла. Напористо шла, чуть ли не вприпрыжку.

Из всех здешних кабинок для переодевания, что стояли в ряд вдоль бассейна, она резко открыла ту, на дверце которой блистала фотка Эльвиры, борющейся с каким-то чудовищем. Это был, по всей вероятности, хорроровский «тощий человек», Слендермен, будто бы способный контролировать людей и заставлять их делать против их воли то, что ему угодно.

Одним словом, географичка победоносным рывком распахнула кабинку: из нее в ноги ей шумно просыпались скукожившиеся, местами пробитые зелеными точками плесени куски сухого хлеба. Мешок, не менее. А мухи, в кабине во множестве прижившиеся, какие-то вялые, пресыщенные, лениво, вернее, тяжело разлетелись во все стороны. Серdito как-то разлетелись.

Позвали Элю.

– И что тут такого? Чего паникуем? У меня даже в сумочке хлеб! – дерзко объявила она. – Да я обо всех нас забочусь! Погребной мне той ночью такое рассказал! Отпад! Хлеб, он – живой! Его нельзя выбрасывать на помойку. Это большой грех. Если вы оставили после ужина на столе недоеденные куски, то счастье может покинуть вас. Хлеб сохнет, а враг сдохнет! Если заговорить корочку хлеба, я запросто смогу победить даже ужасного Слендермена! Хлеб – всему голова!

Кузнецов глухо закашлялся: кажется, одна из барражировавших по спортзалу мух неожиданно попала ему в рот.

– Никто ничего не видел и не слышал... – тихо, но достаточно отчетливо повелел он.

Такой его голос на фирме знали. Он был круче заполошного крика. С этой минуты всех домашних как парализовало. Независимо от состояния их нервной системы и служебной близости к Валентину Александровичу.

Не откладывая, Кузнецов переговорил с одним своим школьным другом: им был лучший в городе, а может быть и России, психиатр Борис Вениаминович Капуста, подсле-

поватый, но притом весьма хорохористый человек более чем скромного роста.

Элю ему показали через большую стеклянную стену с односторонней прозрачностью.

Борис Вениаминович печально всхлипнул.

– Дорогой ты мой Валентин... Я бы запросто мог задушить тебе мозги и тем самым облегчить твой кошелек ради процветания моей клиники. Но мы же школьные друзья... А это, считай, родственники. Да, тут налицо шизофрения. Я бы сказал, злокачественная. Редчайший вариант.

Он как-то странно въедливо, чуть ли не придиричиво посмотрел на Валентина Александровича.

Кузнецов почему-то побледнел так, что все черты его лица словно растворились, – в эти секунды его вполне можно было принять за всадника без головы Майн Рида.

– Медицина в этом случае бессильна! – трафаретно отчеканил Борис Вениаминович и высморкался так основательно, словно трижды выстрелил из помпового ружья.

...Через год Валентин Александрович похоронил Эльвиру. Страсть утаивать куски хлеба настолько измотала ее, что она в очередном приступе истерики не справилась с управлением машины.

Кузнецова с той поры как подменили: во-первых, он стал регулярно переводить приличные суммы на счета психиатрических лечебниц, коих у нас не счесть, а вместо роскошной гостиницы построил по самым что ни на есть европейским канонам современный хлебозавод. Само собой, генеральным директором там стал Погребной.

Торжественный пуск нового предприятия завершился праздничным ужином в заводской столовой, интерьеру которой могли бы позавидовать самые лучшие ресторанные залы города. Достойный уровень этого нынешнего события особенно явственно подчеркнуло появление на нем, пусть и минутное, самого губернатора, только что успешно переизбранного на новый срок.

Более чем обильный стол украшал дородный пышный каравай – точная копия того, который, как думал Погребной, мог стать его последним хлебобулочным производением. С первой минуты, как тот вынесли на необъятном

блюде красавицы в кокошниках, Кузнецову стало казаться, что этот мучной великан как-то дерзко, чуть ли не с насмешкой, нет-нет, да и косится на него своими глянцевыми изюминками. Словно в самое нутро пытается заглянуть.

Кузнецову стало явно не по себе. Чтобы стряхнуть с себя это достаточно неприятное ощущение, он вышел в фойе, раздраженно подав знак охранникам, чтобы оставались на местах.

Оказавшись один в полутьме, Кузнецов машинально полез в карман брюк за платком и насторожился. Просто-таки судорожно замер. Валентин Александрович ощутил в своем кармане что-то непонятное, странное. На ощупь мягкое, упругое, даже нежное. Он взволнованно вынул это и поднес к лицу, чтобы лучше рассмотреть. В руке у него были пахучие куски того самого величественного каравая, только что водруженного на праздничном столе.

В зал Валентин Александрович не вернулся.

## КЛЕН ПОЛЕВОЙ

**К**ому война, кому мать родна... Эту грустную пословицу Виталий Константинович невольно вспомнил двадцать пятого марта, когда Президент России Владимир Путин в связи с нашествием рогатого ковида оповестил страну о введении карантинной самоизоляции. Прозвучало это для многих чуть ли не как объявление войны. Самоизоляция, мобилизация... Во время выступления Путина соседка, рыженькая Элеонора, жившая над Виталием Константиновичем, вскрикнула в голос. Нехорошо так вскрикнула. Ко всему что-то там у нее грохнулось на пол с таким лязгом, словно кастрюля, отчаянно брошенная под ноги.

Виталий Константинович, зав. кафедрой аграрного вуза, мудро и многозначительно посмотрел на потолок. Он жил в этой хрущевке с пацанских лет, так что Элеонора выросла на его глазах. На его глазах вышла замуж, но вскоре овдовела. Весь подъезд ей сочувствовал: умер ее молодой супруг редкой по нынешним временам смертью – от столбняка. С той поры Элеонора год от года стала меняться далеко не

в лучшую сторону: какие-то яркие прыщики пошли у нее по щекам, голос огрубел, а ко всему она напрочь перестала с кем-либо в доме здороваться. И даже в маршрутке, если кто знакомый оказывался с ней лицом к лицу, напряженно делала вид, что не знает этого человека.

Надо признать, Виталий Константинович относительно вируса-убийцы, агрессивно вторгшегося через российские границы, ни шокового ступора, ни даже оторопи в себе не обнаружил. Достиг возраста высшей мудрости? Вряд ли. Кому ведомы его рубежи или иные опознавательные знаки? Просто предстоящая им всем самоизоляция конкретно ему показалась долгожданной и щедрой возможностью, наконец, побыть наедине с самим собой, в ауре благодатного ничегонеделания, как бы свалившимся с небес дармовым отпуском. А вовсе не тем, штатным, почти насильственным, когда руководство выделяет тебе ежегодно бесплатную путевку в местный санаторий, в котором распорядок оздоровительной жизни никак не предполагает умиротворенного вольного отдыха. Режим санаторного быта напрочь исключал мечтаемую возможность воплощения в реальность, скажем, тайного обломовского желания устроиться на весь день с томиком Чехова на родном диване, какого ни в одном санатории не сыскать. Диван Виталия Константиновича был похож на старого доброго бегемота лет ста – отец, фронтовик, комполка, когда-то привез его вместе с фарфоровыми побрякушками и хрустальными сервизами из поверженной Германии.

– Все рекомендации по самоизоляции нужно соблюдать, побережь себя и своих близких. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома, – отечески участливо говорил с экрана Президент.

Вздохнув, Виталий Константинович направился к книжному шкафу еще дореволюционной работы с массивными царскими коронами из мореного дуба. В нем он держал самые нужные ему издания, такие, как, скажем, «Государь» Макиавелли, «Диалоги» Платона, кое-что Канта, Декарта и «Квантовую механику» Ландау-Лифшица. Также присутствовали в этом почетном месте полные собрания сочинений Чехова и Салтыкова-Щедрина, а еще – зачитанный справочник-

определитель высших растений здешних воронежских полей и лесов. Ко всему в этом величественно-мрачном шкафу в окружении интеллектуальной книжной свиты царственно стоял никогда не пустующий тяжелый хрустальный штоф с добрым самотворческим и далеко не слабым напитком, толково настоящим на шафране, гвоздике и бадьяне, то бишь звездчатом анисе. Про себя Виталий Константинович вдохновенно называл это свое собственноручное творение «Элегия Востока».

В этом же особом шкафу уже одиннадцать лет стояла за стеклом и фотография покойной супруги Виталия Константиновича.

«Пандемия у нас, дорогая моя... – отведав «Элегии», мысленно обратился он к жене с обычной для него в таком случае аккуратной виноватой нежностью. – Что там тебе об этом нашем напряжении на небесах известно? Вымрет человечество или перемогнется?..»

Как бы там ни было, назавтра новое пандемическое утро заставило Виталия Константиновича тревожно поспешить к окну. Дорога непривычно, просто-таки пугающе безмолвствовала, как народ в драме Пушкина «Борис Годунов»... Ее непривычная мертвенная тишина напрягала всерьез. Ни частников, ни городского транспорта.

Эту новую автотрассу напротив его хрущевки проложили пару лет назад, навсегда покончив с лесной зеленью и тишиной в их микрорайоне «Березовая роща», прежде нарушаемой разве что иволгами, певчими дроздами и весенними соловьями. С тех пор непрерывный многотысячный поток азартно ревущих модных мощных автомобилей мчался утром, днем и вечером под окнами Виталия Константиновича, лишь ночью уступая место гонкам на не менее модных и мощных байках. Аварии стали привычным делом: машины ежедневно атакующе сминали здешние дорожные отбойники и срезали светофорные столбы. Вдоль дороги каждый день появлялись все новые растерзанные легковушки, смятые капоты, искореженные бамперы и оторванные колеса. И тогда новая дорога убедительно напоминала кладбище автомобилей, траурно мерцавшее искрами разбитых затемненных стекол.

Завтракал Виталий Константинович без аппетита, почти уныло. Хотя все на столе составил как всегда искусно, с мужским шиком: крутое яйцо с горчицей, тонкие пластинки матового сала с розоватым отсветом, густой хрен и плотный зеленый чай вкупе со старательно натертым сочным имбирным корнем.

Тем не менее Виталий Константинович ел вяло. Можно было, конечно, классическим способом взбодрить аппетит – рюмкой душистой настойки из хрустального тяжеловесного штофа, – но душа явно смотрела в это утро мимо такового славного элегического действия.

Тут и сын позвонил и, как всегда, около одиннадцати. Само собой, по установившейся у них с Сашей традиции через три дня на четвертый.

Покряхтывая, но не от старости, им еще за собой не признаваемой, а так, для пущего антуража, Виталий Константинович припал к трубке.

– Привет, папа... Ты уже в курсе? – строго-вежливо, с пристальным беспокойством проговорил сын. – В университет пойдешь?

– Как видно, нет, Сашенька... – тягостно отозвался Виталий Константинович. – Эх, границы надо было вовремя закрыть. На замок! Амбарный. Никого не впускать и не выпускать. Былой железный занавес ох как бы сейчас пригодился! В общем, допрыгалось человечество со всякими разными гей-парадами, ювентильной юстицией, сменой пола и прочими издевательствами над душой!.. Но есть и Божий суд, наперсники разврата!

– Ты никуда из дома не выходи. Смотри! Это всем вам, кому за шестьдесят пять, сейчас строго запрещено. Что-нибудь поесть сам буду приносить. Ставить под дверь.

– Спасибо. Только я в клетке все равно не усую. Не тот менталитет у моего поколения! Как там Райкин говорил? Огородами, огородами... и к Котовскому! – глухо всхотнул Виталий Константинович.

Под такое почти фарсовое настроение он с особым удовольствием возжег на балконе кальян – подарок на семидесятилетие от ректора, друга далекого дворового детства, поныне памятного жожкой, пристеночкой и бе-бе... Густо

потек влажный емкий дымок с имбирным привкусом. Элеонора, соседка сверху, несмотря на свои относительно молодые годы в районе «полтинника» с небольшим, откровенно недолюбливала такое экзотическое пристрастие соседа. Работала она, кажется, на железной дороге и будто бы занимала там некую чуть ли не руководящую должность: по крайней мере, за курение кальяна она каждый раз с особым начальственным напором вразумительно отчитывала Виталия Константиновича. В итоге он почти перестал на свой балкон выходить по кальянной потребности, ограничившись тесной ванной хрущевки. Правда, сдался Виталий Константинович не сразу: поначалу старательно норовил угодить женской натуре Элеоноры, добавляя в колбу разные ароматизированные масла, изысканный китайский бадьян, только никакими-такими увертками снисхождения Элеоноры к его слабости все же не добился. Более того, еще шумливей, многословней она стала с ним в своих проработках.

Делать нечего, Виталий Константинович усвоил график ее работы, пусть и непростой, как у всех даже мало-мальских начальников. С тех пор они с Элеонорой почти никогда не сталкивались на почве дымных выбросов его кальянного вулкана.

Однако сегодня на волне ковидной пандемии Виталий Константинович настырно решил: или пан, или пропал. Все, мол, отныне дозволено! На краю стоим нового уничтожения заблудшего во грехах человечества. Сообразно научности нашего времени не каким-то там примитивным потопом, а в полном соответствии с прогрессом особым и стопроцентно разумным вирусом.

Тотчас почувствовав дымовую завесу со стороны соседа, Элеонора вышла на балкон. Судя по звукам, раздавшимся сверху – очень даже торопливо, порывисто.

Голос Элеоноры раздался над ним как глас свыше. Требовательный и бдительный.

– Виталий Константинович, а, Виталий Константинович! Отзовитесь! Вы не в курсе, сколько уже у нас в городе на сегодня заболевших ковидом?

Он удивленно вскинул ершистые брови, не без проседи, однако.

– Слава Богу, вроде пока ни одного... – аккуратно отозвался Виталий Константинович.

– А что в Москве творится! Тысячами заражаются. Кстати, Вы продуктами запаслись? Хотя бы самыми необходимыми!

– А разве надо?..

– Это Ваше дело... Но в магазинах уже осталось лишь то, что никому даром не нужно... Так было когда-то в шестидесятые, когда мои бабушка с дедушкой, как многие в ту пору, год от года каждую весну ждали новую войну. Так вот их соседка столько муки да соли натаскала себе на чердак, что он у нее однажды проломился: бревна не выдержали. В общем, если все-таки надумаете затариться, наденьте маску. Без нее в магазин не пустят.

Элеонора ушла, не сделав на этот раз никакого замечания по поводу кальянного дыма.

«И что за мутата свалилась на наши головы?..» – грустно подумал Виталий Константинович.

Ощущение реальной, пусть и невидимой опасности, нагушающейся вокруг, отчетливо охватило его. Как ни странно, он почему-то ничего такого не испытал даже в чернобыльском апреле восьмьдесят шестого года, когда по дороге с лекции попал под проливной и явно радиоактивный дождь. А дома, наперекор жене, прибегнул к традиционному народному лечению с помощью «Столичной». Правильность такого решения ему как-то позже подтвердил бывший ликвидатор: заверил на все сто, что многие его коллеги-трезвенники достаточно скоро и нехорошо умерли от лучевой болезни, а кто от ста и более грамм нос не воротил – поныне здравствуют.

«А что, если и я, того, сейчас?.. Смотришь, этот ковид перед моей настойкой спасует!» – легкомысленно-радостно подумал Виталий Константинович.

Памятуя увещевания соседки, он так-таки собрался в магазин.

Их просторный двор с первых шагов поразил его, как и утренняя дорога, своей непривычной безлюдностью. Не то что народа здешнего разношерстного, но даже прижившихся тут бездомных собак и кошек не увидел.

В магазине не было покупателей. Кассир настороженно поглядывала на единственного посетителя и не без опаски взяла от него деньги.

На выходе к Виталию Константиновичу радостно подступил здешний знакомый охранник – полный, высокий старик, который, если увидишь его без черной формы с воющим волком на груди и на спине, своим непоколебимым достоинством был неотличим от матерого университетского профессора.

Он вдохновенно и безбоязненно обнял Виталия Константиновича.

– Рад, рад видеть! Ни души кругом! Мы тут как на Марсе. Покупателей – ноль. Все расхватали! Ты-то как?

– Кто его знает... – философски заметил Виталий Константинович.

– Верно... – мудро вздохнул охранник. – Кстати, на картинках этот вирус на морскую плавучую мину похож! В Америке, в Италии, у немцев черт знает что творится... Так рвануло! Жуть. Неужели и у нас шандалахнет типа того? Как ты считаешь, сдюжим?

– Где наша не пропадала...

Оба строго вздохнули.

– Держись, человек... – сдержанно покивал охранник.

– И тебе не хворать... – поклонился Виталий Константинович.

«Кабы до нас люди не мерли, и мы бы на тот свет дороги не нашли...» – вдруг вспомнил Виталий Константинович, как, бывало, говаривала при случае его покойная теща Александра Ивановна, которая хотя и трудилась главбухом хладокомбината, но народной мудрости до самой смерти не чуралась.

Кстати, почему-то более всего в магазине удивило Виталия Константиновича не отсутствие на полках гречки, риса и пшена, стремительно раскупленных, а печально зияющие пустоты, еще недавно занятые туалетной бумагой.

«Ковид разве понос вызывает?» – усмехнулся Виталий Константинович, и его настроение несколько улучшилось.

В подъезде ему встретилась соседка Анна Георгиевна – скукожившаяся, с обветренным лицом старушка, которая торговала на здешнем мини-рынке дешевыми женскими кофточками, обувными стельками и старыми книгами.

Та вдруг судорожно, неловко шарахнулась от него и словно онемевшими губами прошамкала:

– Маску надо носить, Виталик... Маску.

– Толку от нее никакого...

– Береженого Бог бережет... – прокряхтела Анна Георгиевна, как иконой от нечисти, загораживая свое лицо от Виталия Константиновича приготовленным на продажу томиком «Робинзона Крузо». Очень зачитанным, просто уже разваливающимся.

Дома после аккуратно, восчувствованно принятых элегических ста грамм настойки Виталий Константинович несколько осмелел и вновь наладил кальян. Двум смертям не бывать, одной не миновать! Он сел перед нагущавшейся плотным дымом колбой и аккуратно, расслабленно вдохнул его, словно погружаясь в мистические тайны человеческого бытия. Да что там... Самой Вселенной!

По вдруг явственно раздавшимся звукам над головой нетрудно было понять, что это, конечно же, опять вышла на балкон Элеонора.

Однако вместо привычного разноса она и на этот раз лишь судорожно вздохнула.

– Курите, курите... Чего уж тут... Семи смертям не бывать, одной не миновать... Только как теперь нам быть с семидесятипятилетием Дня Победы? А голосование по Конституции?.. – строго, почти требовательно проговорила Элеонора, словно обращалась не к Виталию Константиновичу, а ни мало ни много, к президенту страны или даже к самим небесам.

Виталий Константинович сосредоточенно, как некий алхимик, нацедил себе пятьдесят элегических грамм.

Усмехнувшись, решительно выдал вердикт.

– Наверху сообразят... Чего уж!

– А у меня, знаете, что-то зуб мудрости заныл... – смутилась Элеонора. – А в поликлинику идти боюсь! Как самой лезть к вирусам в пасть?..

– Дело поправимое... – сострадательно напрягся Виталий Константинович и ему вдруг с какой-то почти отеческой заботливостью захотелось с высоты мудрости своего немалого возраста и академических знаний подсказать

Элеоноре некое простое, но пользительное для подобных случаев снадобье. Он же должен, он обязан такое знать: неспроста его хобби – регулярно навещать здешний лес, где он давно стал своим человеком и знал у каждого растения его название и полезные свойства.

И он достаточно бодро, как давно не ходил, отправился в лес за корой дуба. Для успокаивающего зубную боль отвара.

В лесу у Виталия Константиновича шаг стал еще легче и веселей. Настроение его улучшилось, когда лесные певцы, как по команде, разом голос подали, словно в его честь: и черные деловитые дрозды, и щеголеватые зяблики, и та же чистоголосая славка. За компанию с ними соловей в глубине чащобы несколько сложных коленцев резво, празднично отстучал – с чувством, с толком, с расстановкой.

Тем не менее в целом лес сейчас выглядел сиротливо: ни тебе изгнанных самоизоляцией целеустремленных грибников, ни бодрых собачников, ни любителей шашлыка, азартно колдующих над костерком.

– Хорошей вам прогулки, Виталий Константинович! – раздался аккуратный женский голос.

Из лесной переливчатой тени навстречу ему по тропинке вышла Элеонора, помогая себе палками для новомодной скандинавской ходьбы.

Странно, Виталий Константинович словно впервые ее увидел. Он узнавал и не узнавал Элеонору. Это была какая-то другая женщина. До сих пор он видел ее лишь мельком на лестничной площадке или в магазине. Виталий Константинович невольно смутился так, как если бы с ним заговорила посторонняя женщина.

Ко всему при всех их прошлых мимолетных встречах Элеонора была явно утомлена, озабочена, а однажды так вовсе вместо традиционного соседского «здравствуйте» резко отвернулась и буркнула что-то раздраженное, невнятное.

Сейчас на лесной тропинке Элеонора улыбалась, правда, чуть-чуть. Улыбкой приуставшего от боли человека, но вполне удовлетворенного этим замечательным ярким утром, своей прогулкой и предстоящими заботами.

Элеонора тоже как бы впервые увидела Виталия Константиновича. При этом она невольно отметила без вся-

ких задних мыслей, что сосед вовсе не так стар, как ей казалось ранее. Он же, в свою очередь, с особым, забытым удовольствием вдруг рассмотрел, что у Элеоноры рыжие волосы, какие ему с первых его давних, еще пацанских влюбленностей, всегда казались особо притягательными, волнующими.

– Здравствуйте! – с удовольствием глядя на соседку, отозвался Виталий Константинович. – Что-то раньше я Вас здесь не встречал. Вы давно увлекаетесь «летними лыжами»? Да что я спрашиваю? Ясно, что недавно. Палки вон у Вас совсем новые, только что из магазина.

– Какой, однако, Вы Шерлок Холмс! – мягко смутилась Элеонора. – Да, я их приобрела только вчера и вот рискнула, вышла первый раз. Чтобы протряхнуть себя после затянувшейся самоизоляции в четырех стенах. Кстати, так интересно в лесу!

– При удобном случае я могу организовать Вам познавательную прогулку: познакомить с разными всякими лесными травами и деревьями. В определенной степени лес для меня – открытая книга! А сейчас вот иду искать снадобье от Вашей зубной боли!

– Между прочим, я тоже немного разбираюсь в лекарственных растениях. Спасибо бабушке... – умно прищурилась Элеонора. – А зуб у меня, кстати, утих... Ковида испугался? Зато у меня сейчас другая проблема: шла через большую поляну и с восторгом обнаружила вокруг нее цветущий густой кудрявый кустарник. Вы не знаете, как может называться этот красавец?

– В ту сторону я редко хожу... – смутился Виталий Константинович. – Но сейчас непременно заверну. И при новой встрече доложу вам насчет Вашего вопроса со всей возможной обстоятельностью.

– Спасибо. Тогда я побежала?

– Лыжня зовет? – улыбнулся Виктор Константинович.

– Мои электронные весы настаивают! – усмехнулась Элеонора и тряхнула головой, словно раздув над ней озорной рыжий огонь. – Эти весы последнее время даже ругаться стали на меня. Специально такие сделаны. Говорящие. Для одиноких людей...

– Да здравствует прогресс, – сдержанно проговорил Виталий Константинович. – Но я бы не был столь критичен к Вам! Вы очень даже... Молодцом!

Он трижды всем корпусом интеллигентно откланялся, по-военному прижав руки к корпусу.

До той самой поляны с неведомым кустом Виталий Константинович дошел настойчиво резво. Шагал с хорошим, можно сказать, юношеским напором.

«Ну, ты даешь стране угля... – озорно хмыкнул он, как уличив себя в неких потаенных намерениях. – Ты что, запал на нее? Вроде бы нет... А вроде бы и да?»

На указанной Элеонорой поляне перед ним длинной чередой встали плотные и достаточно высокие кусты, по блестяще-темной лесной зелени которых гирляндами лежали гроздь ажурных и словно святящихся соцветий неоновосалатного цвета, напоминавшие хмелевые шишки.

– Да тебя же, красавец, кленом полевым величают! – радостно объявил всему лесу Виталий Константинович.

Он чуть было не сломил ветку, чтобы предъявить Элеоноре как вещественное доказательство, но в итоге так-таки отпустил ее. Ветка шумно, точно с глубоким печальным вздохом, отпрянула в глубину куста.

Обратно Виталий Константинович шел с давно забытым ощущением жизнерадостного доковидного душевного подъема.

Тем не менее подняться к Элеоноре и объявить ей о своем открытии он сейчас не решился. Не в его годах торопыжничать. Ко всему она тогда влет узрит его вызревающие тайные намерения и может настрожиться, даже замкнуться.

Несколько дней Виталий Константинович, как самый что ни на есть верноподданный гражданин, соблюдал во всех параграфах режим самоизоляции.

Правда, кальян на балконе он курил чаще обычного, однако Элеонора ни разу не вышла и не окликнула его.

На пятый день домашнего сидения он так-таки решил сам подняться к ней. Виталий Константинович оделся поспешно, суетливо, что несколько раздражало его. Маску надел. С коварной усмешкой.

В подъезде он вновь столкнулся с Анной Георгиевной, и она опять, несмотря на наличие на ней ни мало ни много

двух тугих масок, машинально закрылась от него еще и тем самым томиком «Робинзона Крузо». Или никто не хотел у нее покупать такую зачитанную книгу, или она сама не спешила расстаться с ней, как с неким талисманом.

– Слыхали, Элеонора наша два дня как умерла... От проклятого коронавируса... – тихо, бледно проговорила Анна Георгиевна и по-детски всхлипнула.

Губы у Виталия Константиновича кривая судорога запечатала.

Он долго потом стоял один в их старом вонючем подъезде, тупо глядя на абстрактно обшарпанные стены, словно это было почему-то очень важно для него. Точно каким-то делом серьезным он был сейчас тут занят.

Он так стоял, пока одно пятно на стене, по причине вовсе неведомой, вдруг не показалось ему отдаленно напоминающим профиль Элеоноры.

Виталий Константинович судорожно вздрогнул, почувствовав на щеке новорожденную слезу.

Ему отчаянно захотелось немедленно броситься вон, оказаться в толпе людей и затеряться в ней, исчезнуть – как бы перестать чувствовать себя самим собой.

Он решительно пошел вниз.

Какая толпа? Объявленный карантин сказался: его встретили болезненно пустынные улицы, провальню уходящие в никуда.

«Вирус, где ты, негодяй?! – напряженно металось в голове Виталия Константиновича. – Покажись, рогатый!»

Он сдавленно всхлипнул и вдруг резко сгреб с себя маску, оборвав тесемки.

P.S. Через год Виталий Константинович заболел ковидом, как на неделю внутри Солнца оказался. Выжил так-таки, но это уже был совсем другой человек. Неспроста умерший из первых от рогатого Виктор Никитин, знакомый писатель Виталия Константиновича, перед смертью в больнице успел на листе суточного учета температуры больных оставить строчку для серьезных раздумий: «Ковид меняет сознание».

Кстати, Анна Григорьевна днями тоже скончалась: как раз когда новый штамм объявился. И даже зачитанный томик «Робинзона Крузо» не помог ей от него защититься.

## ПУРГА ПОД ПОНЕДЕЛЬНИК

По выходным дням даже зимой пригородные поезда переполнены. Едет молодежь из города в близкие и далекие села, чтобы вернуться к рабочей неделе, отдохнув в материнском доме, с сумками и рюкзаками, в которых щедро уложена аппетитная поклажа.

На этот раз под понедельник грянула пурга. С утра лишь весело струилась гибкая, ловкая поземка, вертелся мелкий сухой снег, а к полудню он покатился высокими, тяжелыми колесами.

Можно было задержаться, переждать непогоду, но от поселка до станции всего «гак с полгаком», а потом Жене, студенту университетского филфака, только девятнадцать, и этот сегодняшний снежный ералаш лишь азартно бодрил его, вызывая желание чуть ли не силами померяться со своей нравной природой.

Он взволнованно ходил по теплым, двумя изразцовыми печами натопленным комнатам, и так полно и ярко было в нем ощущение его молодой, только разгоревшейся жизни, что он восторженно завидовал самому себе.

И когда вдруг кто-то палкой забарабанил по раме, потом в дверь, и вот уже стоял на веранде белый-белый сосед Федор Ильич и громко просил у Жениной матери: «Ссуди, Танча, пшеница. Неохота до магазина с погодой воевать!» – все это только счастливо усилило в Жене его сегодняшнее дерзкое настроение. И потянуло идти не откладывая, сейчас же, к трехчасовому поезду.

Калитку занесло, и пришлось с сумками перелезть через забор. Дорогу было не разобрать: кругом, уравнив все, стелились наносы свежими, упругими пластами.

Через полчаса борьбы с пургой Женя, нахлебавшись снега, насквозь прохваченный жестким, ломящим ветром, начал замерзать. Он поскучнел и уже все чаще останавливался, прислушиваясь: нет ли позади попутной машины?..

Лошадь появилась сразу, точно кто взял и вместе с санями поставил ее возле Жени. Он невольно посторонился, – розвальни скользили, бодро постукивая полозьями, и казалось, сейчас так же внезапно исчезнут, уже исчезают...

– Вы на станцию? – вдогон крикнул Женя.

– На стан-ци-ю-ю!.. – откликнулись ему из саней, которых уже и видно не стало.

И снова он один – еще идти и идти, а настырный, тяжелый ветер, как ни поворачивайся, так и норовит умыть жестким леденящим снегом.

...Сани ожидали Женю поодаль, взяв обледенелый подъем. Он побежал.

И тот же голос, который кричал ему: «На станцию!», сказал теперь:

– Правда, полно у нас. Куда сесть вам – не соображу!

– Да как-нибудь пристроюсь! – порывисто ответил Женя, готовый сейчас ехать хоть на облучке.

В санях, прикрытые брезентом, теснились трое: отец, мать и дочь. Они задвигались и освободили на соломе ровно столько, чтобы Женя мог притулиться на коленях.

– Но, золотая! Но, козюля! – прикрикнул возница.

Женя быстро согрелся под брезентом, и теперь его опять радовала эта пурга. Хотелось встать рядом с возницей во весь рост и лихо понукать лошадь, увешанную сосульками. Скакать и скакать, едва не переворачиваясь на крутых, дерзко вздыбленных сугробах.

Из белого месива бледно проглянула тракторная фара, от посадок неуклюжими, вязкими прыжками пробежала собака, глубоко ныряя в текучем, взвихренном снегу. Вот мелькнул какой-то человек: он шел стороной, сутулясь с рюкзаком на плече, и Женя узнал в нем соседского Леньку, который учился на физмате.

– Лирики и физики: братья навек! – озорно крикнул Женя.

Услышав, Ленька побежал догонять их, споткнулся и упал. Упал и исчез ...

Теперь кто-то смутно обозначился впереди. Подъехали ближе, и стало видно даже со спины, что это женщина словно копошится в снегу.

Женя привстал. Он вдруг решил, что сейчас попросит остановить лошадь... вылезет из саней... и уступит ей место... Теперь и пурга, и сегодняшнее его восторженное настроение как бы приобретали новый высокий смысл!

Женя поглядел на возницу и живо представил, как тот поначалу не поймет, зачем надо остановить лошадь, с недоумением будет смотреть, как он помогает женщине забраться в сани, подает сумки. А когда они отъедут и потеряют Женю из виду, тут все и проявится. И их, в свою очередь, как озарит доброе, радостное чувство...

Догоняли.

Женя все ждал, что женщина вот-вот обернется... И тогда он решительно крикнет вознице: «Тпру-у-у!»

– Но, козюля! – понукал тот лошадь, выправляя ее на середину дороги, чтобы объехать встречную.

Поравнялись уже. Только женщина так и не обернулась. Сани проехали совсем рядом, а она все шла и шла, не поднимая головы...

И неожиданно Жене стало как-то особенно легко от того, что женщина впритык не замечала саней и словно этим давала ему возможность, не напрягаясь, без проблем молча проехать мимо.

...Вот уже сани укатили далеко вперед, позади снег и снег, теперь и крики ей – не услышит...

И Женя вдруг горько растерялся: он же хотел, он искренне хотел посадить ее, озябшую и утомленную, на свое место в санях! Как же все мелко, гаденько повернулось, что только вот было так хорошо!

«Теперь они обо всем догадались и презирают меня! – подумал Женя о попутчиках. – Лучше бы я шел пешком, промерз, дуба дал, но не это...»

И он снова накрылся, съезился под брезентом.

– А у нас вчера в деревне мальчишки принесли на танцы крысу! Визгу было о-е-ей! – вдруг засмеялась девушка и любопытно покосилась на Женю.

И он разочарованно увидел, какая она некрасивая: очень полная, а веснушки, разгоревшиеся на морозе до черноты, похожи на крупные оспины.

Жене стало скучно и неинтересно. И уж, конечно, ясно, что он никогда никому не расскажет об этой своей поездке и вообще постарается напрочь забыть обо всем сегодняшнем.

– Приехали, горожане! – постучал возница по брезенту обледенелой рукавицей и сошел, чтобы поскорей покрыть лошадь тулупом.

Женя спрыгнул. Снег белыми электронами завертелся вокруг него, словно он стал ядром необычно большого снежного атома. И теперь уже без горечи, точно со стороны, он с любопытством подумал, как мало знает себя и что еще гадкого сделает в своей жизни, чего и не ждет, не предполагает сейчас...

## ПРИНЦ И ЗОЛУШКА

Былые годы «брежневского застоя» я одно время трудился электриком-осветителем в ТюЗе. Как-то главреж – он любил называть меня «Наше Солнце!» – решил обновить репертуар по части классики. Его выбор без колебаний пал на «Золушку». Принцем стал студент местного театрального института, чемпион области по боксу в легком весе, а Золушку главреж нашел в заезжем цирке: она выступала на арене с пластическим номером, у которого было несколько зоологическое название – «Девушка-змея». И вот там, на манеже, пропахшем лошадиным потом и слоновьей мочой, под бодрый хрип циркового оркестра наш главреж в печально-гибкой девочке-подростке разглядел будущую Принцессу.

Одним словом, он был доволен своим выбором и, конечно же, хотел от них невозможного. «Талантливые бездарь! Холодно!» – то и дело кричал он на них на репетициях из мистической тьмы пустого зала, словно это раздавался глас Всевышнего.

И прогон за прогоном сказочная любовь Принца и Золушки на глазах становилась все более достоверной, а их финальный поцелуй уже был способен смутить даже взрослых зрителей.

... Так что никто в театре не удивился, когда вскоре после премьеры Принц и Золушка поженились в соответствии с сюжетом Шварца и задачами ЗАГСа, расположенного напротив ТюЗа в тени медово-душистых белых акаций, похожих на толпу зачарованных невест.

...По ходу пьесы Она, убегая с бала, каждый раз в одном и том же месте теряла свою туфельку. В это время на сцене

делалось полное затемнение. Через секунду-другую я говорил себе: «Да будет свет!» И тогда из моей осветительной ложи на реквизитную обувь снайперски ударял тугой луч прожектора-«пистолета». Принц гамлетовским жестом возносил над собой искристо сверкающую туфельку. Зрители всех возрастов очень любили это место, и мне не стоило труда легким детонирующим хлопком вызвать обвал азартных, наивных аплодисментов.

Но однажды я как бы случайно направил луч прожектора немного в сторону от заветной туфельки на заведомо пустую сцену...

...Принц отработанно бросился к пятну света, но туфельки там, само собой, не оказалось. Он машинально посмотрел вверх по лучу, словно она могла улететь по нему. Как у всех актеров, которым прожектор бьет в лицо, глаза Принца при этом блеснули кроваво-красным отсветом. И хотя со второго захода туфельку он нашел (я милостиво высветил ее в положенном месте), однако именно с такими все еще пылающими глазами он ждал меня в антракте возле крутой железной лестницы, ведущей в осветительную ложу.

– Что ты себе позволяешь, «солнышко»?! – хорошо поставленным, чуть ли не королевским голосом вскрикнул Принц. – Сейчас же проваливай! Ты уволен!

Хорошо еще, что он не продемонстрировал мне хук в исполнении чемпиона области по боксу. Пусть и в легком весе.

Мне было нечего ответить ни ему, ни себе. В этой ситуации можно было разобраться, наверное, только с помощью Фрейда. Однако Фрейда я тогда еще не читал. Вообще мало кто мог тогда похвастать своим знакомством с его достаточно странными трудами. В эпоху раннего Брежнева буржуазных извращенцев, пусть и с философски-психологическим уклоном, публикация не баловали. И все-таки я смутно чувствовал, что за этой историей с туфелькой таится мое подсознательное влечение вполне определенного характера и направленности...

Главреж так-таки отстоял меня. А потом были счастливые, долгие летние гастроли, и театр как цыганская птица-табор, перелетал из города в город...

Однажды в Ельце часу в третьем ночи мы увидели из окон гостиницы пожар. Даже издали чувствовалась штормовая сила огня. Сирены пожарных машин переключались в ночи звериными голосами. Это было похоже на охоту на крупного хищника. Как потом мы узнали, горела здешняя мебельная фабрика.

Гостиница в минуту стала похожа на казарму, в которой сыграли боевую тревогу. Вся труппа через полчаса была на пожаре.

Мы с Принцем оказались рядом на крыше. То там, то там из-под ног взрывчато били искры. Низко над нами судорожно нарезали круги краснокрылые от огня голуби. Железо крыши уже опасно раскалилось. Помогая пожарным, мы срывали листы баграми, но это было бессмысленно. Никто ничего не мог толком сделать, даже подкативший пожарный поезд, который попытался накрыть огонь вязкой, удушающей пеной.

– Мы с тобой могли погибнуть... – сказал мне Принц, когда мы прыгнули с крыши в тлеющий сугроб опилок.

– Наверное... – согласился я.

– Извини, что я недавно сорвался... Помнишь, в антракте?

– Нет...

– Я последнее время стал полным психом! Мы с ней основательно достали друг друга ... Не семейная жизнь, а дурдом! Сказке конец...

Утром местное радио бодро передало заранее приготовленную победную информацию о том, что мебельная фабрика перевыполнила полугодовой план.

... Осенью, после гастролей, Он и Она развелись...

Они развелись и продолжали играть влюбленных Принца и Золушку. И по-прежнему их финальный голубиный поцелуй вызывал счастливые аплодисменты и еще более счастливые слезы.

Между прочим, главреж только теперь стал вполне доволен, как Он и Она работают на сцене:

– Сейчас как никогда виден ваш настоящий талант!

...Однажды сломался каблук Золушкиной туфельки. В моем доме в соседнем подъезде жил сапожник, однорукий Петрович, бывший фронтовик. Ему я и принес поврежден-

ный реквизит. И еще я принес бутылку портвейна с поэтическим названием «Солнцедар». Это было что-то. Это было что-то цвета грязно-бордовой половой краски, а вкуса, если так можно сказать, подслащенного керосина. Петрович почему-то имел к нему особое пристрастие. В самом деле, «Солнцедар», мелькнув в семидесятых на наших прилавках, успел-таки стать почти легендарным.

– Работы на десять минут! – сказал Петрович, подняв перед собой аккуратную туфельку. И в этом жесте его единственной руки было что-то от Принца, но уже, правда, постаревшего и очень усталого, самого собой, увечного.

– Твоей крали? – покосился на меня Петрович.

– Нет...

– Врешь, пацан! Ладно, наливай!..

– Может, потом?.. – опасно заметил я.

– Врагу не сдается наш гордый «Варяг»! – емко усмехнулся Петрович.

Он снес зубами пробку с бутылки, как в решающий момент боя срывают чеку с последней гранаты. Илья налил себе совсем немного, но даже не успел закурить свой экзотической ядовитости «Памир».

Через минуту он спал.

Я поставил между ног сапожную лапу, взял молоток, зажал губами гвозди. На другой день туфелька Золушки вернулась-таки в сундук с реквизитом.

– Спасибо и все такое... – сказала Она в антракте, только что превращенная Феей из замухрышки в Принцессу. – Но учти на будущее: засматриваться на меня не стоит! Я по жизни такая стерва...

К концу спектакля туфелька снова сломалась. Доигрывала Золушка в разной обуви, но этого никто не заметил.

А вскоре Она ушла из театра: новый муж, дипломат, увез ее в дальние дали. Правда, и с ним она жила недолго: через год умерла при родах в какой-то первоклассной лондонской клинике.

Главреж не нашел достойную замену на роль Золушки. Спектакль сняли. К тому же в труппе уже не было и Принца: его пригласили на «Мосфильм», он успел мелькнуть там пару раз на вторых ролях в каких-то никому не запомнившихся фильмах и быстро спился, вослед Петровичу.

Сказать, что после этого прошло лет тридцать, ничего не сказать. И все-таки они прошли. Эти тридцать лет были словно особая геологическая эпоха. Одни материки жизни траурно ушли в глубины бытия, другие с мрачной торжественностью выступили из пучины будущего.

Мы жили в другой стране.

За это время я успел побывать помрежем, таксистом, пожарником и даже барменом, а сейчас у меня конкретный мусорный бизнес.

Недавно навестил я наш ТЮЗ. Правда, закрытый, как полагается, на время пандемии ковида. Само собой, актеры сидят без средств, а о новых постановках приходится только мечтать.

Я дал деньги на новую пьесу, но с одним условием: первым делом вернуть в репертуар «Золушку». При этом исполнителей на главные роли я нашел сам. Мне, кстати, хочется, чтобы эти Принц и Золушка тоже поженились, но не только на сцене, а и в реальности стали счастливой семьей. По Фрейдю это или как? Мне все равно. Просто хочется.

Постаревший главреж уже не называет меня «Солнцем». В порыве благодарности он дал мне в «Золушке» роль короля и теперь обращается в мой адрес не иначе как: «Ваше величество!»

Само собой, это накладывает на меня дополнительные финансовые обязательства.

## ТРЕВОЖНЫЙ КОЛОКОЛ

Статистика о многом знает, да не про все говорит; но построй, напротив, говорит о том, чего не знает. Вот, скажем, есть у нее такая цифра: ежедневно две деревни или села исчезают с лица земли нашей. Только это неправда. Голимая Корова, что ли, языком их слизывает? Ни по каким Голландиям такую всеядную породу буренки не сыскать. Я видел не раз: эти якобы исчезнувшие хутора, деревни и села в большинстве своем кондово стоят на вековых местах, как ни в чем не бывало. А исчезают из них люди, словно инопланетяне гуртом похищают народ с помощью летающих тарелок.

За последние полвека карта области Воронежской заметно припустела селами и деревеньками, как прирассветное небо звездами. При всем при том все еще достает среди ее меловых холмов, лесин и лесостепей разных там расстыкайловок, карачунов, дядино, дракино, вихляевок и проч.

Два села в бывшем колхозе «Завет Ильича» – Казарское и Нескучное. Правда, какой завет хозяйству оставил вождь большевистской революции – не очень ясно. Вернее, не ясно вовсе. Даже один из самых продвинутых местных жителей, нескученский краевед-любитель Алексей Данилович Бесфамильный толком объяснить про завет Ильича был не способен. Хотя он бывший директор Нескученской восьмилетки и вообще во всяком деле человек начальственно въедливый, потому известен в обоих селах уважительным прозвищем «Воевода».

Между селами километров пять степи. Плюс между ними лег подковой заросший пруд. Он будто бы образовался после падения в далеком Юрском периоде гигантского небесного камня. Это случилось, по мнению Бесфамильного, незадолго до битвы в здешних краях полка князя Игоря с половцами. Официальной наукой ни тот, ни другой факт ничем не подтверждены, но ничем и не опровергнуты. К тому же в пруду иной раз нескученцы и казарцы в самом деле находят наконечники старинных стрел.

Между прочим, этот легендарный пруд нескученцы испокон веков почему-то уперто называют рекой, а себя – зареками, то есть живущими «за рекой». Видно, настоящее имя села смущает их некоторой игривостью.

Первоначально центральная усадьба колхоза была всегда в Нескучном. И только в перестройку оно ярлык получило, как покойник в морге бирку на ногу, – неперспективное. А позже даже слово «село» наверху отменили, повелев теперь им всем жить в «поселении», точно какие-нибудь каторжане ссыльные. А раньше и овчарня тут имелась, свиноферма, медпункт и своя почта.

Теперь вся сила за Казарским. Есть там даже местами асфальт, есть местами газ, на многих домах тарелки спутниковые плятятся в небо своими бельмами. Там и сельсовет, и психоневрологический диспансер (попросту – «дурка»), но

только работы для большинства все равно нет. Оттого, считай, вся молодежь из Казарского упирается в Москве. А вот из Нескучного поехать некому, народ здесь повально возрастной, им не до трудовых десантов по России. Все нынешнее народонаселение Нескучного – апостольским числом двенадцать одиноких старух, тот самый краевед Алексей Данилович Бесфамильный по прозвищу Воевода с внучкой Таней, когда-то учительницей французского языка бывшей здешней школы, и дед Илья Митрофанович Зубахин, больше известный как «Корреспондент». Такое свое строгое прозвище он получил издавна за пристрастие писать в годы раннего СССР заметки о трудовых успехах нескученцев, когда эти успехи еще были. Такие материалы из глубинки, убрав из них матерные выражения и призывы к расстрелу тех, кто пытается бежать из деревни в городской рай, охотно публиковала местная районная газета «Заря коммунизма». Самым молодым из мужиков был шестидесятилетний глава сельского поселения Петр Гаврилович Спасибухов (по прозвищу Бизон – так натовцы окрестили бомбардировщик, на котором тот в свое время летал на северах стрелком-радистом).

Между селами кривится крайне ненадежная по нашей погоде дорога, которая у Нескучного еще и влетает в крутой овраг с тощим ручьем – все, что осталось в нынешнем двадцать первом веке от бывлой реки Вшивка, некогда, по воспоминаниям тех самых двенадцати древних старух, способной крутить жернова сразу трех мельниц.

Так что в Нескучное удобнее попасть с тыла, но это большой крюк: придется объезжать тамошнюю двугорбую морщинистую меловую гору Лысуху, ощерившуюся по склонам скалистыми столбами, так называемыми дивами, похожими на старческие изъязвленные зубы некоего возрастного каменного гиганта. Если к Лысухе зорко приглядеться, то может показаться, будто в доисторические времена она, в самом деле, была живым существом. По крайней мере, Спасибухов-Бизон утверждает, что гора и сейчас продолжает жить на свой особый манер, но не всякому глазу дано увидеть такое ее загадочное существование. При всей диковатой странности подобного мнения краевед-любитель Бесфамильный его напрочь не отвергает. В конце концов,

Бизон – охотник, и Лысуху облазил вдоль и поперек: знает все лабиринты ее каньонов, казематов и пещер, в которых, между прочим, в 1667-м прятался Степан Разин с казацкими сотоварищами, пока ждал от именитых воронежских купцов-суконщиков Гарденина да Хрипунова пороха и свинца.

Так вот днями Бесфамильный, он же Воевода, переполошив последних нескученцев, собрал их в своем доме:

– Дорогие товарищи селяне, мы уже как бы не существуем... Я располагаю натуральной информацией на этот счет! Нет больше нашего села Нескучного. Соответственно нет и всех нас!.. Был я сегодня днем по делам в Казарском и приглянулось мне купить в их киоске новую карту области.

– Есть, есть там такой. У дурки. Знаем! – вскрикнул дед Корреспондент.

Бесфамильный печально нахмурился.

– Только не думайте, что я хочу устроить вам урок географии. У нас урок иной будет... Жизни! Итак, есть на этой замечательной карте Воронеж, есть та же Рамонь, Бутурлиновка. Анна там. Казарское на месте. Даже гора Лысуха показана... А нашего села нет! На его месте белое пятно... В общем, Нескучное на карте области отныне отсутствует!

– Ты хорошо глядел?.. – начальственно напрягся Спасибухов-Бизон.

Алексей Данилович сердито отмахнулся, как и полагается воеводе.

– Прошу слова! – азартно выкрикнул дед Корреспондент и нетерпеливо привстал. – Это, наверняка, типографская опечатка! Я подобную потеху в свое время вызнал на своей шее. Начудят верстальщики иногда до жути невесть что... Однажды при Хруще в моей заметке о приеме в партию тракториста Вачукина при печати слово «КПСС» пополам разделили. Так мне потом в райкоме на партбюро чуть было башку не отняли, хоть я числился беспартийным!

Спасибухов величественно встал, раздвинув плечи, так что в самом деле напоминал сейчас в профиль настоящего Бизона:

– Всю жизнь они нам с этой картой подрезали! Теперь автотавка сюда не поедет. Скорая – тоже. Нас более нет! Может, и пенсии нам отменяют? Сейчас же еду в район разбираться!

– Надо президенту про такую беду срочно писать! – взволнованно вскрикнул Корреспондент: не вставая, как бы нарочито слившись с массаами, чтобы полноценно говорить от их имени.

Бизон над головами показал ему курносую фигуру:

– Замолчь, селькор! Все равно твою бумагу вниз спустят разбираться. Работать по-другому власть не умеет или не хочет.

Он вдруг как-то сумрачно, тяжело задумался:

– А, может быть, оно и лучше, что нас нет на карте? Тогда и спроса никакого. Словно исчезли мы с концами всем зарекинским обществом в Бермудском треугольнике! А когда перед выборами про нас в районе вспомнят и повезут красную урну, а в довесок пряники черствые, селедку ржавую, мы же им – от ворот поворот! Хотя... – Глава напрягся: – Если отдадим нашу Таню замуж, и она, как полагается бабам, родит, то дитенок окажется без малой родины. Ситуация!

В подвечерье три человека неспешно вышли из села. Не походили они ни на охотников, ни на рыбаков, хотя каждый был при снаряжении: один нес заостренный понизу столбик со щитом, у другого под мышками торчали лопата и лом, а третий, самый высокий и разворотистый, какой-то нелегкий груз пристроил на спине в мешке. Точно хоронить они его собрались.

Такое впечатление усилилось, когда этот припозднившийся народ на въезде в село взялся рыть яму. Это были Воевода, Корреспондент и Бизон. Рыли поочередно. Потом все вместе опустили в нее столб, набросали у его основания камней, земли и все это основательно утрамбовали в шесть ног, не жалея каблуков. Отплясав у столба, повесили на перекладину набатник, снятый с бывшей церкви и доставленный сюда в мешке. Алексей Данилович, перекрестившись, потянул веревку: колокол охотно обнаружил свой серьезный, прошибающий насквозь голос: с густой дрожью тот мощно, размашисто взлетел над осенней рекой, над дорогой и очень не скоро, как бы нехотя, рассыпался на звучные атомы.

На столбовом щите даже метров с десяти свободно читалась надпись: «Здесь было село Нескучное. Путник, в память о нем ударь в колокол сей тревожный».

В тот же вечер часу в одиннадцатом лампочки в домах нескученцев вдруг сурово загудели, затрепетали и воспламенились невиданным бурным огнем, точно превратились в шаровые молнии. Изображение в телевизорах перекорежилось и сплющилось так, словно наш мир переместился, самое малое, в шестимерное пространство.

Зареки-вечеринщики, терпеливо высиживавшие у экранов сон, наблюдали эту техногенную вакханалию с растерянностью и волнением.

Далее многим и вовсе стало не по себе: лампочки задымались изнутри, точно в них аладдинские джины завелись, и трескуче-звонко стали взрываться одна за одной. После такого салюта во все дома вошла ночь.

Внезапную резкую темь нескученцы встретили охами-вздохами и корявыми матюгами. Невозмутимым остался лишь дед Корреспондент, который всегда экономил электричество и сейчас при самодельной огромной свече, похожей на кусок серо-матового сталактита, третий час внимательно перечитывал недавно обновленную Конституцию. Его вдохновляло желание законодательным путем в кратчайшие сроки восстановить статус-кво Нескучного.

После звучного взрыва лампочек глава поселения Спассибухов-Бизон на ощупь, но достаточно ходко, выбрался из комнаты в коридор. Из коридора, бдительно шаря по стенам и все-таки поранив палец о гвоздь, двадцатку, служивший ему вешалкой для всего на свете (шляпы, хомута, сетей, грязных носков и рыжих луковых гирлянд), он проник в сенцы. Оттуда с облегчением вывалился на отороченное первым снегом крыльцо. Подошвы ног тотчас как припаялись к морозным доскам, так как Петр Гаврилович объявился на свежем воздухе босиком.

Несмотря на это, он несколько минут зорко, взволнованно пялился в пробитое звездным крупняком небо и даже пару раз бдительно принюхался. Вдруг мимо высоко над горизонтом мелькнуло длинной струей зеленоватое пламя и юркнуло за Лысуху.

– Гаврилыч, это ты на крыльце пляшешь? – вдруг долетел до него через огород знакомый голос со стороны учительского дома. – Отчего мы без света оказались? Случилось что?

– По всей видимости, болид жажнул! Кстати, прямо сейчас еще один прошиб небо. В такой момент, случается, вся электрика к черту летит! Такое не раз бывало на Чукотке, когда я там на «Бизоне» летал! Между прочим, у меня есть основания предполагать, что один из небесных камней упал недалеко от Нескучного.

– Теперь бабы напустят страхов про конец света!

– Пусть говорят. Чем еще у нас развлечься?

Когда утром в дом к Бесфамильным энергично вошел Петр Гаврилович, Воевода с внучкой наперегонки звучно скребли вилками по сковороде, добирая жареную картошку.

Был Спасибухов-Бизон экипирован по всем правилам зимней охоты и даже с определенным армейским щегольством. На разворотистых плечах осанисто сидел белый овчинный тулуп, ноги весело утопали в мощных летных унтах, а на боку франтовато висел целлюлоидный, желтоватый планшет с картой окрестностей.

– Не красен обед пирогами, красен едоками! – раскинул руки Спасибухов, как бы символически обнимая Татьяну и Алексея Даниловича.

– Извини, картошку мы с девкой уже подобрали. Садись с нами кисель хлебать! – привстал Бесфамильный.

– Запахи у вас страшно аппетитные, но откажусь! – взволнованно засмеялся и даже покраснел Петр Гаврилович. – Труба зовет!

– На охоту наладился?

– Хочу вчерашний болид попытаться сыскать.

– Который нам лампочки пожег? – усмехнулся Воевода.

– Именно. Есть у меня некоторые основания предполагать, что он упал в районе Лысухи. За такие камни, я читал, государство хорошие деньги платит. Нам они лишними никак не будут!

...Петр Гаврилович вернулся по затеми. Алексей Данилович доглядел, как он в полусвете, угибаясь ниже загородки, старательно тянул на лыжах к своему дому какую-то существенную поклажу, укутанную брезентом. Ступал, стараясь не нажимать на свежий снег сразу всей подошвой унтов, чтобы тот не хрюкал на все село. Одним словом, Спасибухов сейчас напоминал колхозника, который тайно уволок с общественной фермы мешок комбикорма или зерна.

– Что-то добыл сосед...– сдержанно усмехнулся Алексей Данилович. – Неужели свой болид разыскал? Я тебя прошу, Танюша, пожалуйста, сходи к Петру Гавриловичу, вызнай, что к чему...

– Не спешите, люди добрые, уже здесь я... – строго объявил Спасибухов в дверях. – Входить? Или как?

После этих слов он, не дожидаясь ответа, нескладно перевалился через порог и первым делом огляделся, где бы ему рухнуть.

– Где был, что повидал? – строго усмехнулся Алексей Данилович.

Спасибухов угнул голову и тихо, с придыхом засмеялся:

– Молчать как партизан или говорить?

– Соображай. Какие у нас могут быть претензии?

– Тогда держитесь, соседи. В общем, с полей я не пустой вернулся... Однако чего теперь делать со своей добычей, ума не приложу... Хотел даже ее, окаянную, на месте оставить, но сердце зажало... То, что у меня на лыжах калачиком лежало, из себя как дите малехонькое, махотка натуральный. Только умерз до полусмерти и, как видно, изголодал до невозможности. Одним словом, зареки, я инопланетянина нашел... На болиде к нам прибыл вчера! И доложу вам, что по-нашему он очень хорошо изъясняется... Завтра поеду с ним в райцентр. Попытаюсь связаться с ФСБ и всякими там СМИ...

Не ответив, Алексей Данилович принялся неторопливо одеваться.

Вошли в дом главы осторожно, с почтительностью...

А за столом возле печки тот самый сидит.

– Я рад, что вы пришли все вместе! – засмеялся душевно. – Здравствуйте, земляне... Меня можете называть... Армагиром... – несколько утомленно сказал зеленоволосый махотка в больших очках с толстыми линзами. Он с благородным сожалением отодвинул от себя миску недоеденной пшенной каши, сдобренной жареным луком, что придавало ей почти грибной вкус.

– А я вам драников принесла, дяденька. Еще горячих... – смущенно проговорила Татьяна.

– Спасибо, девонька. Ты их назавтра оставь. А то дорога нам с Гаврилычем предстоит неблизкая. С пустым брюхом ее не одолеть, – человек ласково многозначительно вздохнул.

– А что вы так быстро нас покидаете? Не понравилось в Нескучном? – взяв себя в руки, вежливо поинтересовалась Татьяна.

Инопланетянин поморщился и закрыл свое маленькое аккуратное лицо просто-таки младенческими ладошками:

– Вчера над вашим селом не болид пронесся, а летающая тарелка. С моей родной планеты Иоркан! Она прибыла за мной... Я целый год изучал с Лысухи вашу жизнь и сейчас намерен отчитаться перед Всегалактическим сообществом. Только досада – Ваше село вычеркнули с земных карт и мои собратья по разуму меня не нашли. Космическое спасибо Петру Гавриловичу, что он любезно вызвался меня пригласить к себе в гости, пока удастся дать знать о себе.

Спасибухов, он же Бизон, мощно обнял зеленоволосого человечка:

– Армагир, дорогой! Эх!.. – Он восторженно обернулся к Татьяне и Алексею Даниловичу: – Давайте, зареки, все вместе пойдем с ним искать собратьев по разуму! Как здорово будет... Первый контакт инопланетных цивилизаций! Между прочим, Армагир нам подарок сделал на прощание! – торжественно вскричал Петр Гаврилович: – Это устройство, которое способно вырабатывать электричество считай из ничего, но в таком объеме, которого нашему селу на тыщу лет хватит. Да что селу! Всему человечеству с лихвой будет доставать на любые нужды! При всем при том у него размер не больше спичечного коробка! Так что мы, чего доброго, станем столицей человечества!!! Ладно... Сменим тему, – вздохнул Спасибухов. – Давай, дорогой наш инопланетянин, обсудим в деталях, куда тебя завтра следует доставить?

Человечек раздраженно засмеялся:

– Как куда? Известное дело. На улицу Ильича, тридцать семь. Там перевалочная база наших иорканских летающих тарелок.

– Где это? Точнее можно сориентировать? – деловито проговорил Петр Гаврилович и вдруг судорожно напрягся – это был адрес Казаринского психдиспансера.

Разговор как-то сразу сломался.

Молчание было болезненно долгим.

– А я все равно верю тебе, милый Армагир! – отчаянно вскрикнул Спасибухов и принялся что-то уперто искать.

В конце концов он водрузил перед зеленоволосым человечком початую бутылку водки.

Когда Бесфамильный и Таня вышли от главы, еще на крыльце они услышали, как Петр Гаврилович и Армагир, оставшись вдвоем, тихо, аккуратно затаили: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды...»

Пели они плохо, но от души. Очень от души. Таня даже всхлипнула.

Темень ночная к этому времени полегчала. Обозначившийся полусвет одну за одной убирал звезды: они мельчали на глазах и исчезали с неба, как с земли нашей умирающие села да деревеньки, по-нынешнему – поселения.

Вдруг в темноте глухо, осторожно ударил колокол. Потом еще раз, уже основательней. Как видно, некий путник все-таки проникся их призывом.

## КЕСАРЮ – КЕСАРЕВО

Обустроив рай и увидев, что это весьма хорошо, «бог» положил себе за правило отныне регулярно прогуливаться здешними романтично вьющимися по саду тропинками. Тут он будет восстанавливаться духом и свежеть мыслями вдалеке от галактических проблем.

На этом уникальном деянии все другие «боги» просили его остановиться. И без того работа проделана немалая и замечательная: сколько здесь прекрасных яблонь, зверей и всяких разных забавных насекомых. А вот создавать Адама и Еву они всем кагалом «бога» отговаривали. И даже Змей-искуситель.

«Ты же знаешь, что тогда за бедлам в раю начнется! Ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Одна головная боль!»

«Рай без людей – обычный зоопарк. А мне изюминка нужна! – вдохновенно улыбнулся «бог». – Радость для души и сердца! Я знаю, что появится много проблем с Адамом и Евой и мне придется в итоге их изгнать, но уверен, будут и такие минуты счастья, которые способны оправдать любые печали».

И вскоре рай наполнился детским плачем, а когда Адам и Ева подросли – их счастливым смехом, позже они стали

восторгать его своими пусть весьма наивными, но очень забавными и счастливыми рассуждениями.

Он теперь с удовольствием брал на прогулку Адама и Еву. Ева всегда с радостью соглашалась и благодарно чмокала его в щеку. Кстати, день ото дня она на глазах обретала сокровенную женственность. То губки соком вишневым озорно помажет, то повяжет на шею тонкий гибкий стебель вьюнка с колокольчиками. А вот Адам на призыв «бога» к прогулке всегда отзывался с напряжением, словно преодолевал что-то в себе. Занятый делами в саду, он считал свое мужицкое умение управляться со всяким деревом, кустом или травой более важным, чем самые заумные разговоры о сотворении Вселенной и будущем брэнного человечества. Кстати, Адам так и не привык называть «бога» Создателем или хотя бы Отцом. Да и Ева в этом плане тоже оказалась не лучшей ученицей. Она вообще «бога» с простодушным умилением называла невесть откуда объявившимся словечком «папенька», Адама же – «батей». «Творец» сдержанно недоумевал: кто из «богов» мог замусорить им мозги такими терминами? Или это проделки Змея-искусителя? Но тому вроде бы рановато вмешиваться в ход событий... Отмашки Бог ему еще не давал, хотя от этого пройдохи всего можно ожидать.

В любом случае в сметливости не по возрасту Адаму было трудно отказать. Однажды он одним своим вопросом едва не лишил «бога» дара речи.

Вышло так. Полдень. Напористое солнце на взлете и едва ли не брызжет пламенем. Адам с ведром и веником уперто опрыскивает райские яблони полынным настоем – от плодоярки.

Осталось стволов десять – и в тень, на временный отдых.

И тут – вот он идет, «бог», с другими «богами» в торжественно развевающихся белых одеждах, точно на вольных густых облаках восседают.

– Получается, сынок?..

– Кто его знает... Время покажет, батя. Очень уж проворная эта плодоярка. Может, даже придется ловушки с квасом расставить по саду.

Адам по возможности аккуратно и, само собой, подальше от «бога» звучно высморкался на траву.

– Вопрос можно?..

Глянул на «бога» исподлобья, но достаточно жестко для своих младых лет.

– Зачем стало?.. – настороженно усмехнулся «бог» и не без печали мысленно отметил про себя: «Кажется, переходный возраст начался у мальчишки».

Адам, в самом деле, не по годам день ото дня проникался особой строгой мудростью, все чаще ставящей «богов» в тупик своей проницательностью.

– Достали меня дальше некуда все эти гусеницы, улитки, бабочки... – строго вздохнул Адам. – И зачем ты только их создал?

«Бог» значительно нахмурился.

– А тот же цветоед, тля, клещи, щитовка? Или медведка, дрянь эдакая? Житья нет от этой пакости.

– «Бог» не ошибается... – каким-то нудно-строгим голосом отозвался «бог». – У меня всякой травке, всякой живности уготовано свое высокое предназначение! Но каждому овощу свое время.

Адам чуть ли не весело фыркнул, отряхнул фартук и лег на траву, лениво потянулся к зачитанному томику Библии.

– Ты чего лыбишься? – навис над ним «бог».

Тут какая-то райская птичка безбоязненно села ему на плечо и дерзко расшвырялась.

Вместо того, чтобы радостно рассмеяться, «бог» раздраженно передернул плечами.

– Говоришь, о всякой живности ты отечески заботишься?.. – натруженно вздохнул Адам, резко отбросив трепетно зашелестевшую книжку. – А зачем ты нас с Евой изгонишь из рая, а потом еще и уничтожишь все человечество, которое от нас народится?

– Откуда ты про это знаешь?.. – «бог» побледнел так, что лицо его как бы исчезло на фоне блестящей снежности тоги.

– От верблюда... – напрягся Адам. – Умные книжки читать надо. «Библия» называется. В райских кустах случайно нашел на прошлой неделе. А ты не увливай, пожалуйста, от вопроса: тебе не жалко будет столько народу утопить?.. Из-за какого-то паршивого яблока! И понапрасну! Потомки Ноя еще хуже моих детишек будут! Вот так, батя Бог.

– Слушай, сынок... – дернулся «господь». – Гляжу я на тебя сегодня и никак не врублюсь, что в тебе не так? Только сейчас сообразил – да на тебе набедренная повязка из листвьев! С какой стати? Вы уже успели тайком пообщаться со Змеем-искусителем?

– Нам с ним неинтересно! Просто я уже не ребенок и не хочу вертеться голяком раньше свадьбы перед моей будущей женой... Да и перед богами неловко!

– Как ты допетрил насчет своей наготы?! – глухо вскрикнул «бог». – Вы с Евой вроде яблоки с дерева познания добра и зла еще не крали?

– Больно нужны они нам! Кислятина. Не тот сорт тебе подсунули!

– Встань, когда с «богом» говоришь... – вдруг начальственно проговорил «бог». – Разлегся тут, понимаешь...

– Сам нас такими сделал, а теперь напрягаешься...

Адам медленно, с ленцой привстал:

– Зачем ты людей утопишь? Ты же творец всего мира! Стукни посохом по земле, скажи свое волшебное божеское слово и наставь нас на путь истинный!

– Как видно, пора нам с тобой поговорить начистоту, юноша... – напрягся «бог». – Одним словом, я никакой не Создатель всего и всех... И твоя Библия здесь ни при чем...

Он напряженно замолчал, машинально сорвал яблоко с запретного дерева познания добра и зла и раздраженно цапнул зубами его мякоть.

– Реальная кислятина...

Лицо «бога» точно судорога напрягла. Он раздраженно сплюнул.

– Итак, юноша!.. – вскрикнул «творец», но с хрипотцой, как на задыхе. – Да будет вам известно, что я никакой не Господь, а Платон Михайлович Бородин. Человек я, то бишь. Как и ты, как и Ева. Как все мои подчиненные боги! Но лично меня от большинства людей отличает то, что я офигенно богат. Через то и замахнулся выше всех подняться – копию рая отстроить, а себя возвести в божественный сан.

Лет десять тому назад идея реально примерить на себя тогу «бога» и лично сотворить свой рай и первого человека дерзко зацепила его. Кстати, именно тогда он узнал от

своей бабушки Ангелины Федоровны, что не является атеистом, каковым считал себя всегда, а был тайно крещен ей по всем правилам на сороковой день от рождения. Бабушка тайком, в корзине, аккуратно прикрыв дитя освященным платком, носила его в соседний храм Святой Великомученицы Татианы, где батюшка и совершил над ним положенный духовный обряд, при котором родителям никак не полагалось присутствовать: отец Платона Михаил Георгиевич Бородин был вторым секретарем обкома КПСС, а мама, Наталья Александровна, после окончания факультета журналистики деятельно выпускала в местном книжном издательстве многолетнюю серию «Словарь безбожника» и была постоянным автором московского академического сборника «Вопросы научного атеизма».

В начальных бизнес-усилиях Платона маяком ему был Герман Стерлигов. Оба пришли в бизнес не за деньгами, не за властью, а в русском поиске себя в себе. Стерлигов то биржу товарную открыл со сказочным названием «Алиса», намекая на возможность превращения России в страну чудес, то увлекся созданием клуба молодых миллионеров, а как наскучило, приобрел хоккейную команду «Аргус» и устроил в ноябре 1991-го изначальный в российской истории коммерческий хоккейный турнир с невиданным у нас вознаграждением победителю в один миллион тогдашних рублей. А потом новый рывок вперед и выше: Стерлигов то кандидат в губернаторы Красноярского края, то кандидат в мэры города Москвы, а на выборах 2004 года выдвигался в президенты РФ, да вот регистрацию, кажется, не прошел почему-то. Сейчас чин по чину – фермер-отшельник. Как есть всей семьей Стерлиговы окрестянились и готовы принять к себе на поселение всех ждущих новой жизни православных христиан.

Не «чах над золотом» и Платон, который все время находился в поиске экстремальной новизны ощущений. В итоге он покорила все четырнадцать вершин-восьмитысячников, дважды прыгал с парашютом из стратосферы, трижды женился на королевах красоты российского масштаба, правда, каждый раз не более чем на пару месяцев, и всякий пятничный вечер за покерным столом вдохновенно демон-

стрировал в глубинах тяжелого сигарного марева свое уникальное мастерство. Распорядителем всех его жизненных затей издавна был нынешний директор складского хозяйства Альберт Семенович Феклин, он же сейчас по совместительству райский Змей-искуситель. Кстати, покерные выигрыши Платон передавал в местный Дом малютки. И это всегда была достойная сумма.

Одним словом, он во всем был непредсказуем, и в каждом его шаге чувствовалась азартная победная поступь. Фирменные корпоративы у него обязательно предварялись квестами типа «выйти из комнаты», «дом с привидениями» или «кошки-мышки». Поэтому среди его сотрудников чуть ли не каждый второй стал ролевиком, автогонщиком, любителем флешмобов и «Дозоров», иначе он надолго в команде Платона не задерживался.

Тем не менее Платон, привычный ко всяким экстремальным ситуациям, до сих пор не мог без онемения вспоминать, как заведующий его складами Альберт Феклин однажды у него на глазах превзошел все его мыслимые и немыслимые авантюры – с улыбочкой, судорожной, конечно, скушал живую мышку. Старательно скушал. Пусть и махонькую.

Платон Михайлович в тот день, как всегда, внезапно объявился со свитой на складском хозяйстве Феклина и устроил обход с пристрастием – заценить соблюдение условий хранения товара.

И тут в тупике из-под деревянной решетки вдруг суетливо объявилась мышка – с прижатыми ушками, ссутулившаяся от крайнего страха. Она отчаянно приподнялась, молитвенно сложив перед собой трясущиеся лапки.

Феклин тотчас притиснул подошвой своих черных лаковых английских туфель этого складского «микки мауса». Все свершилось беззвучно. Без всякого хруста. Как видно, у молодой мышкы еще были молочные слабые косточки. Далее Альберт Семенович сгреб пятерней горячее, трясущееся в предсмертных судорогах тельце и мигом утопил в своей глотке. Кажется, мышка так-таки глухо пискнула, прощаясь в ее безразмерности с этим миром.

– А был ли мальчик? То бишь норушка-ворушка? – гадким густым голосом сказал Феклин и глухо кашлянул.

Платон лениво поплодировал такой неординарной находчивости зрителя складов и велел свите тотчас на волне «уважухи» выдать Феклину из личного резерва бутылку изысканного семилетнего армянского «Ноя» с шоколадным бархатным послевкусием.

– Ты подал мне идею новой игры! «Съешь мышку»! Круто... – сдержанно усмехнулся Платон. – Завтра не забудь заглянуть в бухгалтерию. Премия получишь. Ее тебе вполне хватит на свежую «ауди».

Альберт Семенович улыбнулся раскидисто, во все свои немалые щечные пространства.

Расставаясь, Платон, тем не менее, не пожал руку, вышколенно протянутую Феклиным. Ограничился двусмысленной улыбкой.

Как бы там ни было, он – депутат областной Думы, он же – генеральный директор ГК «Галактика Главснаб», по орбитам которой вращались далеко не небесные, но весьма доходные материальные объекты в образе автошин, зерна, цемента, муки и многого другого, до сих пор чувствовал свою как бы вину в определенной нескладности судьбы Феклина.

Четверть века назад он поднял свой бизнес в немалой степени именно благодаря Альберту Семеновичу. Тогда, на излете СССР, Платон сидел в кресле заместителя директора радиозавода по общим вопросам, а Альберт на том же предприятии пребывал в назначенной ему судьбой вечной должности заведующего складами. Так вот, накануне нового 1998-го, на предновогоднем корпоративе, в заводоуправлении Альберт Феклин после трех бокалов дешевого «Советского шампанского» и стакана народной водки «Русская» взволновал Платона перспективной откровенностью: на складах их родного предприятия скопилось невиданное количество неликвидных портативных радиоприемников эпохи СССР с лирическим названием «Заря». Более того, Альберт, как бы сам того не желая, может быть, просто искусства ради, в озорстве профессиональной всесильности ловко вычистил из складских документов все признаки реального наличия этого заплывшего радиотовара. А провести инвентаризацию руководству завода было тогда не с руки: все силы уходило на отбивание рейдерских атак, скупку акций и обслуживание «перекрестных» отцов новорожденных мафий.

Платон тогда впервые воочию услышал благожелательный трубный глас судьбы. И под эту торжествующую «ангельскую» музыку он более чем успешно на раз толкнул радиоприемники в Турцию. Фантастический доход честно поделил с Феклиным. Платон тотчас умело вложил свои деньги в торговлю мукой. Альберт в полном соответствии с принципом «из грязи в князи» ошалело, влет потратил «бабки» на Карибы, Монте-Карло и модную одежду от лучших итальянских и французских кутюрье.

А когда через несколько лет Платон, уже имея состояние ненамного меньшее, чем у Романа Абрамовича, дерзко возмечтал примерить на себя библейские заботы Творца, то назначил своего старого приятеля директором складского хозяйства и по совместительству райским Змеем-искусителем. Как-никак именно Альберт соблазнил его запретным при социализме плодом обогащения.

– Богу – богово! Кесарю – кесарево... – улыбаясь, мягко откликнулся Альберт Семенович. – За мной, того, не заржавеет!

И Феклин до неприличия долго хохотал над новой божественной выдумкой генерального. Хохотал, конечно, это узко пояснено. Он то заискивающе хихикал, то всхлипывая, то восторженно гоготал а-ля Мефистофель или той самой складской мышью попискивал.

– Оно, Платон Михайлович, оно! Вы человек масштабный! Вам и с Богом уже потягаться можно... Пора, как видно, пришла! Осанну воспоем! – ошарашенно захлебнулся в словах складской директор.

– А ты, Альбертушка, непростой мужик... – добродушно заметил Платон. – Через призму на жизнь смотришь! Чтобы весь ее спектр узреть!

За неделю Платон составил смету работ и набросал чертежи будущего рая на двенадцати гектарах нынешнего городского старого яблоневого сада, оплетенного паутиной мертвых ветвей сизо-зеленого бешеного огурца. Уже какой десяток лет тот радовал разве что местных коз, меланхолично-задумчиво жевавших по вечерам в здешнем душистом травостое. С областным Домом малютки Платон Бородин договорился насчет своего опекунства над двумя младенцами обоого пола,

будущими Адамом и Евой. Хотел было к такому действию привлечь свою бабулю Ангелину Федоровну, да решил, что пусть это лучше станет ей подарком, разрешающим боль ее томительного многолетнего ожидания внуков.

Была у Платона вовсе дерзкая мыслишка, слава Богу, неисполненная, чтобы в своем дерзании став, пусть и на время, «творцом», открыться на этот счет батюшке на исповеди и отчаянно испросить у него благословения на реализацию сего авантюрного замысла. Пусть будет он «бог» с маленькой буквы и в кавычках, но все-таки...

Первым днем творения стала многоходовая покупка земли заглохшего сада. Хотя, конечно, были по такому поводу пару дней народные пикеты с протестными лозунгами и бестолковой базарной горячностью. Имели место поджоги бородинских складов с райскими стройматериалами, попытки сломать технику, но как-то все это достаточно быстро угасло. Дело в том, что неподалеку от поникшего яблоневого сада, несколько завалившись набок, доживали свой век останки не выдержавшего конкуренцию полуразвалившегося кафе с выцветшим названием над воротами «Рай»: нынешнее обиталище вольного народа бомжей – своего рода их перевалочный путь из варяг в греки. Именно этот факт существования почти в центре города настоящей республики бомжей остановил в итоге местных жителей. Бомжовый «Рай» напрягал их более, нежели будущий «рай» Платона Бородина. Ко всему Платон уверенно знал, как найти путь к сердцам простых людей: они скоро успокоились, вняв, что здешний яблоневый сад не только сохранится, но и через энное время прирастет молодыми саженцами вкуснейших польских, австралийских и даже новозеландских сортов, а урожай будет раздаваться ведрами бесплатно всем здешним гражданам с обязательным достойным продуктовым подарком в довесок, который под мышкой просто так не унесешь.

Во второй день творения Платон Бородин привычно посетил знакомые административные кабинеты местной власти и привычно произнес там известные в этих краях слова: он дал всем и вся честное «купеческое» слово превратить сад бомжей в буквальном смысле в подлинный земной рай. Та-

мошние двери, словно сами собой, всегда привычно и даже весело распахивались перед ним – в здешних кабинетах, как и во всех остальных, бесчисленно имеющих в наших краях, издавна, точнее издревле, стало традицией сугубо интуитивное сердечное взаимопонимание реальной власти и людей, реально обремененных большими личными средствами.

И только один свежей выпечки молодой и независимый даже от себя депутат, случайно оказавшийся на пути Платона Бородина в недрах этих ответственных структур, обессиленно пискнул, как та самая складская мышка: «Зачем вам, деловому человеку всероссийской известности, какой-то старый сад-доходяга? Нет ли за этим какой-то хитроумной коррупционной составляющей?»

Платон снисходительно рассмеялся, обнял его и тихо, почти нежно шепнул в ухо:

– Я же какой день талдычу: я безвозмездно устрою там рай! Вам известно, что это такое? Только в раю люди были счастливы. Правда, очень и очень временно. Надо дать им передышку.

– Понял, Вы хотите построить коммунизм в отдельно взятом раю! – радостно вскрикнул депутат и юношески ярко, словно бы электрически раскраснелся, что всегда с ним случалось, когда он вдруг задумывался о судьбах родного города, а то даже и страны в целом.

В третий день творения лучшие из лучших мастеров накрыли сад гигантским матово-серебристым надувным куполом, который с высоты пролетающих над городом самолетов с тех пор казался бельмом на глазу масштабной городской физиономии.

В остальные дни творения внутри купола по распоряжению Платона Михайловича монтажники позаботились об освещении (Да будет свет!), а ко всему оборудовали небо со всеми ему сопутствующими причиндалами, включая «светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов».

Платон Бородин был явно доволен, что все работы в саду успешно укладываются в шестидневный библейский срок сотворения мира. Каждое утро он, оглядев мастерски, вдохновенно работающих монтажников, поощрительно го-

ворил (как бы примериваясь к будущей роли Создателя): «И увидел Бог, что это хорошо».

– Гы-гы! – бодро отзывались мастера, сполна удовлетворенные райской оплатой.

Дерево жизни и дерево познания добра и зла Платон сажал лично. Ибо они были, по свидетельству Библии, произращены в раю самим Господом Богом. Не отступать же от священных строк!

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».

Однако его коварная атеистическая петушистость несколько оскользнула. С задиристым рвением ухватившись за лопату руками, никогда ее прежде не державшими, он через полчаса работы обессиленно иссяк. Еженедельные занятия штангой в элитном загородном спортклубе показали Платону забавой, когда его лопата принялась ковырять чернозем целинной твердости. Он копал, пока горячие мозоли на руках не припухли. Одно укрепляло: Библия уверяет, что Создатель тоже не сторонился такой работы и был в ней весьма искусен: сам высадил все яблони в раю.

Вздыхнув, Платон сломленно подумал, что Бог из него все-таки никакой. Трудно быть Богом...

Кстати, место для посадки того самого дерева познания добра и зла Платон выбрал не на глазок, а с помощью теодолита, чтобы вышло, как и указано в Библии, в центре сада – «среди рая». Правда, сорт яблони Библия не указывала. Так что Платон по собственному разумению выбрал орловский синап, приятный его глазу пылающим глянцевым румянцем. На роль древа жизни ему вполне показалось росошанское полосатое, кстати, успешно плодоносящее в саду английской королевы Елизаветы.

...Всю зиму Платон был озабочен судьбой саженцев. Загодя до морозов опилки вокруг стволов насыпал, понизу обмотал рваниной и старательно обложил можжевельным лапником.

И саженцы не подвели. Весной оба выбросили лист яркий, нежный, напоминающий жадно раззявленные клювы только что народившихся птенцов.

И увидел Платон, что это хорошо.

В это время в доме ребенка ему подобрали замечательных мальчика и девочку, которых, когда оформляли опеку, по его просьбе назвали Адамом и Евой.

С тех пор дети росли в раю под доглядом «богов», «херувимов» и «ангелов» с высшим образованием не ниже Кембриджа. Когда повзрослели, хулиганистый в молодые годы Адам вместо постижения азов бизнеса увлекся выращиванием новых сортов яблонь. Так что «ангелы» прозвали его между собой «мичуринцем». Ева взялась за кисть, и вскоре рай по всему периметру был заставлен ее работами, изображавшими «богов», «ангелов», а также кошек и собак, которые, несмотря на усиленную охрану, каким-то образом проникали сюда.

Запретные яблони с годами заматерели: каждую осень они, как новогодние елки шарами, были обвешаны праздничными блестящими плодами. «Ангелы» бдительно, днем и ночью, доглядывали, чтобы Ева и Адам раньше времени не польстились на запретные яблоки. Но у тех не проявлялось ни малейшего желания покушаться на сии плоды. Они предпочитали бананы и пиццу.

А в год, назначенный для изгнания первых людей, запретные яблони и вовсе начали необратимо желтеть и сохнуть.

В конце лета Адам спилил их. Кстати, не спросившись у «бога».

Увидев такое самовольство, Платон только усмехнулся.

У врат рая его ждала Ангелина Федоровна. В руках у нее была корзинка, прикрытая шерстяным платком. По запахам нетрудно было понять, что под ним домашние пюрешечка, котлеты и малиновый пирог.

– Я пришла за Адамом и Евой. Заодно полдничать им принесла. Ты же сегодня их изгоняешь? – строго вздохнула она. – Так чтобы не натошак!

– Меня ошеломляет твоя осведомленность...

– Был ты дитем, дитем и остался... – чинно отозвалась Ангелина Федоровна. – Да я, почитай, с первых дней обустройства твоего картонного рая детишек под свою прямую опеку взяла! Спасибо скажи своему Феклину. Мы с этим Змеем-искусителем и провернули всю операцию. Адамчик, Евчонка! Хватит прятаться в кустах! Котлетки остывают.

– Елы-палы! – вздохнул Платон и виновато обнял Ангелину Федоровну.

...«И увидел Бог, что это хорошо»...

И, само собой, еще что-то увидел, чего нам понять никак невозможно, да и не нужно.

## БЛАГОВЕСТ

Не дай вам Бог ездить на случайные заработки. Даже если обещают манну небесную. Женя так-таки однажды рискнул. Так он оказался в далекой от родного Воронежа Ростовской области на полях у какой-то фермерши-корейки. По осени она выплатила ему только половину обещанных денег и даже не довезла до города – пожалев бензин, высадила на полпути.

– Дадешь? – нахмурилась.

– Да дойду, чего ж.

Дальше Женя пошел пешком и через час-другой понял, что заблудился. А тут еще дождь налетел въедливый, холодный. Парень оробел. Даже сам с собой заговорил вслух – невнятно так, сбивчиво: «Ничего, Женек, ничего... Не робей... Гляди в оба... Прорвемся...»

Только прорываться было некуда.

Так сложилось по жизни, что вырос Женя в Воронеже у бабушки и дедушки, которым по их некогда высоким советским должностям полагался во взглядах самый что ни на есть доподлинный атеизм. Через него Женю не крестили ни в детстве, ни позже.

Только тут вдруг рухнул он на колени посреди лесной опушки на склизкую унылую листву, перекрестился, поднял лицо к небу навстречу настырному дождю и надрывно проговорил:

– Господи! Прости меня, грешного... Пожалуйста... Помоги выбраться... Пропаду...

Встал тотчас, отряхнулся машинально и зашагал на авось. Пока темень не стала мрачно вызревать, пряча встречные кусты и деревья. Тут уже того и гляди без глаза останешься или ружью-ногу сломаешь.

Волчи подвывы будто бы слышались. Глухо так и как-то печально... Словно с жалостью к Жене, к тому, как он, сердешный, вляпался по самое не балуй.

Он испуганно побежал, заскользил на палых листьях... – и упал. Разбился, как видно, в кровь: тотчас ощутил на лице ее особое нутряное тепло.

И тут он вдруг увидел впереди сквозь переплетение ветвей мерклый глухой свет, который ко всему еще и застило упорным дождецом. Кажется, мерцала распахнутая дверь какого-то сарайчика. Свет в ней то привспыхивал, то смиривал, – наверное, через эту дверь входили и выходили какие-то люди.

– Ау! Народ!!! – бросился вперед Женя, забыв, к чему совсем недавно уже привел его один такой рывок.

Он почувствовал себя самым счастливым человеком.

Его встретили рабочие – они по найму ремонтировали здешнюю сельскую церковку и как раз готовились стелить новый пол, – то-то чувствовался легкий, горчащий запах сушеных шпунтованных досок.

Жене дали горячего чая, надломленную булку и переодеться в какое-то сухое тряпье, густо пахнущее сосновой стружкой.

– Далеко отсюда до райцентра?.. – придя в себя, смущенно спросил Женя.

Оказалось, почти десять километров. Если точно – все пятнадцать.

Женя уныло усмехнулся...

– Не дойду. Опять заплутаю.

– Дождись батюшку. Он утром придет. Может, что и придумает, – вздохнул бригадир, сдержанно усмехнувшись.

И тот пришел: ранней раннего – иерей Алексей. Похожий на мальчишечку с первой белобрыйсой бородкой, совсем реденькой, вразлет тощими клоками. Еще и отчаянно худой, неуклюже высокий, а улыбка на маленьком личике застенчивая, почти виноватая, потому что всем жизненным тяготам наперекор у него в душе царствовал благоговейный восторг перед всем, что только ни открывалось его молодому зоркому оку.

Женя никогда еще не видел священника так близко и почему-то растерялся. Хотел заговорить насчет своей просьбы «добраться до райцентра», а губы как залипли.

Рабочие за него сами все объяснили «юному» батюшке. И сами же приговор сказанному вынесли.

– Только он опять заблудится. Левая нога своей короткостью любого путника с пути свернет. А там у нас болота. В общем, считай, хана парню.

– А мы с ним вместе в храме перед образами прочитаем молитву в дорогу Николаю Чудотворцу... – аккуратно проговорил отец Алексей. – С ней сердце путника надежно успокаивается, и все страхи прочь развеиваются. Сила ее такова, что помощь свыше ждать себя не заставит.

– Знаете, я не крещеный... – напряженно потупился Женя.

Отец Алексей приобнял его. Рабочие зашевелились: пора было приступать стелить новый пол. Отец Алексей сдержанно улыбнулся – так ему нравился свежий, яркий аромат молодой сосновой древесины. Досочки как одна цвета нежной, живой белизны, то есть из лучшей древесины, взятой от комлевой заболони, которая ближе к коре.

Батюшка машинально погладил ладную, сияющую досочку.

– Ладно, Женя. Есть один способ. Не ты первый в наших краях блукаешь. Так вот ему меня прежний здешний настоятель научил. Ничего сложного. Как соберешься идти, я тебе все объясню.

Где-то через полчаса Женя сказал, что готов в дорогу. Отец Алексей показал ему, в каком направлении надо держаться, чтобы выйти на райцентр, в котором есть автобусная станция.

– А чтобы тебя в сторону не занесло, я буду на звоннице время от времени ударять в большой колокол. Его у меня за десять километров слышно. По нему и будешь ориентироваться, не занесло ли тебя в сторону.

– Спасибо, батюшка. Благодарю Вас... – тихо сказал Женя и почему-то покраснел.

Отец Алексей вздохнул и деловито пошел к звоннице, устроенной в виде бревенчатой беседки с высокими рез-

ными балясинами, увитыми осенней красно-коричневой пестротой дикого винограда.

Медленно прозвучал первый строгий удар, словно напрыг все окрест, как тетива натянулась.

Женя машинально оглянулся на этот широко раздавшийся, словно набухающий звук, точно раздался человеческий громкий, властный оклик, вздохнул и напряженно зашагал по мокрой траве в сторону леса. Но еще не дошел до первых деревьев, как враз исчез, будто в яму провалился, – валом накрыл его, сочась навстречу, синеватый холодный осенний туман такой плотности, что всем лицом чувствовалось его скользкое прикосновение.

Час, другой и третий на звоннице время от времени тревожил все и вся окрест колокольный баритонный благовест; казалось, синеватое глухое марево тумана от этих звуков еще долго потом зыбко колеблется, как река, потревоженная вдруг обвалившейся береговой глыбой.

На суровый звук колокола поначалу прибежали здешние жители, некоторые так даже всей улицей, но, узнав, в чем дело, и постояв немного с деловитым, сердечным интересом возле звонницы, неспешно расходились с вдохновенной радостной приподнятостью, как такое нередко бывает со всяким человеком даже от его малой сопричастности делу доброму, правильному.

– Может, хватит, батюшка?.. – наконец заметил бригадир и уважительно усмехнулся. – Под колокол оно даже работаете шибче, только наш парень, наверное, давно пришел на место.

– Еще, мужики, пару раз! – вдохновенно проговорил отец Алексей, потирая руки, радостно наладившиеся на такую славную работу.

Только шагнул он напоследок к звоннице с мокрыми от тумана блескучими колоколами и уныло провисшими сырыми веревками, как из тумана пред ними объявился Женя.

– Явился не запылится!.. – вскрикнул бригадир, чуть не выронив доску. – Ну, паря! Она как закружила тебя левая-то нога!

Женя понуро отмахнулся, даже не взглянув в сторону бригадира: он выглядывал, где бы ему сесть. И сел, как повалился; только тогда судорожно перевел дыхание и поискал глазами священника.

Отец Алексей сочувственно улыбнулся ему:

– Неужто заблудился? Разве колокол тебе не помог?

– Помог, батюшка, помог... Еще как помог... – натужно вздохнул Женя и добавил взволнованно: – Он-то меня назад и привел...

Отец Алексей наклонился к Жене, словно чтобы посмотреть ему прямо в глаза.

– В общем, я вернулся, чтобы Вы меня крестили... Колокол ваш словно не хотел меня отпускать со всеми моими грехами. Вот и вернул безбожника назад... Как магнитом притянул. Сам себе не верю...

– Тогда будем готовиться к обряду! – не раздумывая долго, молодцевато вскрикнул отец Алексей, взбежал на звонницу и ловко, сильно потянул язык колокола.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

...Ухнул Благовест на всю Вселенную.

По туману словно зыбкая волна вдохновенно прошла...

## ЧЕЛОВЕК ГОСПОДА

*«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».*

Библия, Бытие, гл. 3, ст. 21.

**И** похоронил Адам Еву...  
Была зима, конец января; день за днем старик долбил могилу в окостеневшей, мертвой земле, как терзал ее и себя.

Адам похоронил Еву рядом с Авелем и Каином. Он все сделал один. Никто не пришел помочь ему, никто не пришел проститься с Евой.

Прежде чем расстаться с женой навсегда, Адам бережно сдул с ее лица снежинки. Правда, они тотчас снова налетели. И снова он сдул их, дохнув бессильным теплом в тыся-

чететнее лицо Евы. Оно было напухшее от морщин, словно под кожей у нее проросли корни той долгой, тяжелой жизни, которую им завещал Бог. Только Адам и через этот ветхий лик всегда видел юную, райскую Еву.

Он всхлипнул, как закашлялся.

Любил ли он Еву, как теперь люди, молодые и старые, любят друг друга, Адам не знал. Он не выбирал ее. Она была плоть от плоти его, и сейчас он как бы хоронил самого себя. Он будто бы умер в ней и в то же время остался жить мертвым.

Адам взгляделся в дорогу, которая вела к нему на гору. И плакальщиц не видно, хотя он, договариваясь с ними, обещал каждой и сыра, и вина, и благовоний. Немного, но обещал. Много, в достатке сейчас ни у кого не было. Второй год земля ни весной, ни осенью не знала дождей. Даже летняя роса не накрывала полей. Люди по всей долине извели и зайцев, и вепрей, даже шакалов и тушканчиков. Адам жил на горе и видел, что там, внизу, над городом, больше не роятся резвые голуби. Их тоже или съели, или обменяли на зерно.

Уже триста лет Адам и Ева жили в пещере на горе. В долине у них остался хороший дом из обожженного кирпича, а во дворе в колодце никогда не исчезала, на зависть многим, такая чистая и легкая вода, какую они пили только в раю. И все-таки они ушли, потому что люди век от века все больше сторонились их, а порой даже открыто ненавидели. Особенно доставалось Еве. Однажды соседка, зайдя за водой, будто бы случайно ударила ее по пальцам крышкой колодца и не сдержалась, захохотала, глядя, как Ева страдает от боли.

Так что они в конце концов ушли на гору и жили одни, сами по себе, и особенно не жалели об этом. Тем более что Енох, сын Каина, первое время часто поднимался к ним. Это был еще молодой, двухсотлетний муж, который ходил в пурпуровых одеждах, посыпал заплетенные в семь косичек волосы золотой пудрой, а из благовоний пользовал дорогое алойное дерево, которое привозили из далекого Цейлона. Енох всегда приносил подарки, обнимал Еву, целовал бороду Адама. Только если раньше он любил расспрашивать их о рае, о том, какой из себя Бог, какие ангелы, то последнее

время Енох стал раздраженно-молчаливым и торопился назад. Прошлым летом в свой последний приезд он и вовсе обидел Еву. Енох привез ей в подарок серебряную цепочку с маленькими колокольчиками, которая надевалась вокруг лодыжки.

– Мне почти тысяча лет, а ты хочешь, чтобы я уподобилась твоим розовощеким девушкам?

– Это очень дорогая безделушка! – гордо сказал Енох. – Правда, мне она досталась почти даром. Если не хочешь ее носить – обменяй на что-нибудь. Хотя бы на осла. А то как-то даже от людей стыдно: жили в Раю, знали самого Бога, а век от века пешком ходите!

...И обрил Адам в знак траура каменным, еще эдемским ножом свою бороду и свои белые, старчески нежные кудри, – и пошел вниз, в город, к Еноху, оплакать вместе смерть Евы.

Тяжелый ветер ударил Адама, но он даже не почувствовал его палящей морозной силы: на нем были те самые кожаные, не знающие сноса одежды, которые Бог, изгоняя их с Евой из Рая, тем не менее, заботливо пошил своими руками. И было это, слава Богу, хорошо сделано, очень хорошо. Эти одежды от Господа согревали в стужу и давали прохладу в зной. Когда Адам проходил ущелье, где обычно прятались в непогоду его голуби, то не услышал их привычного, басистого воркованья: как видно, и до них добрались люди из долины. Только какой-то последний летун еще подавал среди скал свой кроткий, заунывный голос, будто прощался с Адамом.

Отсюда, с высоты виднелись у горизонта другие, далекие горы. Лет семьсот назад, когда тоже навалился голод и люди дошли до того, что ели воловий помет, они потребовали от Адама вести их искать Рай. Он помнил, что где-то за горными кряжами была страна Эдемская с ее благодатными, обильными кущами.

Они долго искали ее и никак не могли найти, словно она сделалась невидимой. Никто тогда не вернулся живым, кроме него.

...Несмотря на холод, все равно уже чувствовалось, что эти дни у зимы последние и скоро грянут первые грозы,

а следом миндаль озарится повсюду благовоными февральскими цветами...

И спустился Адам под вечер с горных троп, и пришел к Еноху.

Внук встретил его в походных козьих одеждах, верблюжьих сапогах, а на поясе, шитом золотом, у него провисал короткий меч.

– Через час мы выступаем! – сказал Енох. – Прости, из-за этого я не пришел на похороны.

– Нам угрожает враг?

– Нам угрожает голод!

– И куда вы идете?

– Мы хотим найти рай!

– Однажды я уже водил людей на его поиски.

– Я знаю. Все погибли.

– Потом обвинили во всем меня...

– А как ты хотел? Тебе дорога туда самим Богом заказана! Теперь мы пойдем сами. Это общее решение. И вообще, дед, уходи скорей в горы. Многие здесь настроены против тебя. И очень решительно.

– Нас с Евой всегда недолюбливали...

– На этот раз все гораздо серьезней!

– Как-нибудь перетерплю...

– Люди открыто требуют казнить тебя!

– Какое же преступление совершил этот старик? – гордо спросил Адам.

– Ты не знаешь? – побледнел Енох. – У тебя отшибло память? Ты забыл, что из-за тебя с бабкой Бог проклял весь род людской, обрек нас на тяжкий труд в поте лица, на страдания, а в итоге на смерть, которая подобна смерти скотов?! Конечно, вы-то успели всю молодость пожить в раю в свое удовольствие! Вам хоть вспомнить есть что!

– Я же рассказывал... Нас совратил Змей ... – подавленно пробормотал Адам.

– А вы были безмозглые твари?! – крикнул Енох. – Бог настрого запретил вам жрать с Древа познания! Помнишь, я в детстве без разрешения не смел даже прикоснуться к твоему мечу! А как хотелось! В общем, вы вляпались по уши! Вот теперь иди и объясни этим голодным, несчастным

людям, как и почему вы с бабкой довели их до такой скотской жизни!

– Ты думаешь, я побоюсь это сделать!? Правда, Ева умела говорить складней, но я тоже найду, что им сказать! – твердо проговорил Адам.

– Иди-иди, – сухо заметил Енох. – Как только эти несчастные увидят тебя, они тотчас обнажат мечи!

– Меня ничто не пугает... – вздохнул Адам. – Я уже как бы умер. Я умер вместе с Евой. Ведь она была плоть от плоти моей. А дважды умереть нельзя.

– Не храбрись! – судорожно вскрикнул Енох. – Они изрубят тебя на куски и бросят их голодным собакам!

Адам стал развязывать на себе одежду.

– Тогда на всякий случай я оставлю это тебе. Жаль, если попортят.

– Ну да! Ты же рассказывал: сам Бог трудился над твоими коожашками... – усмехнулся Енох.

– Он так старался... – тихо сказал Адам. – Я всю жизнь проходил в этих одеждах и горя не знал. Спасибо ему!

Енох побледнел:

– Знаешь, дед, последнее время, если честно, многие стали серьезно сомневаться в твоих рассказах про рай, про Бога. Кое-кому они вообще кажутся бредом! Может быть и на самом деле ничего не было?..

– И все-таки вы идете искать рай?..

– Что нам остается делать? У нас нет выхода!.. А райские одежды оставь при себе. Они никому не потребуются. Ты у себя в горах отстал от жизни: сейчас все достойные люди предпочитают меха, тонкую шерсть, шелк...

– Прощай, Енох... – сказал Адам.

– Я дам тебе плащаницу. Ты завернешься в нее и незаметно выйдешь из города.

– Меня узнают в любом случае... – усмехнулся Адам.

И вышел он от Еноха вон.

Обмеркло: на небо пришли первые и какие-то тощие, словно бы голодные, звезды. В этих позднейнварских сумерках особенно чувствовалось, что у зимы остались ни мало ни много последние часы.

Адам вдруг отбросил палку и громко сказал в темноту:  
– Эй, люди, это я, Адам! Я здесь!

И услышал он собачий перелай: дружный рык целой своры, рвущейся с поводов, чтобы настигнуть близкую жертву. Там и там, рыская, замелькали факелы. По глухому топоту деревянных подошв Адам уловил, что в его сторону бежит толпа.

Он машинально оглянулся на дом Еноха: окна были темны. Ему вдруг захотелось сделать глоток вина. Адам судорожно улыбнулся и медленно тронулся навстречу людям.

Чьи-то сильные руки подхватили старика, и через минуту он сидел в чужом доме. Огня не было. Мимо ошалело пронеслись собаки, от злобы кусая друг друга.

– Здесь тебя не найдут, – услышал Адам.

– Я не боюсь их. Я теперь ничего не боюсь. И все же я благодарен тебе. Назови себя!

– Сейчас не время, – был ответ.

– Что-то голос мне твой знаком, – строго заметил Адам.

– Ты не сын Еноха Ирад?

– Нет.

– Тогда Евал, муж моей дочери Сары?..

– Выпей вина, старик. Сосуд на столе.

– Ты как мысли мои угадал... – вздохнул Адам и приложился. – Вино, между прочим, у тебя славное! Никогда такого не пробовал!

– И в раю?

– В раю мы с Евой были чисты как ангелы!

– Пока не добрались до запретного плода?

– Что ты про это знаешь!? – глухо вскрикнул Адам. – Никакого запретного плода не было! И никакого Змия-искусителя! И запомни, никто нас с Евой из рая не выставлял! Я сам ушел. И увел с собой жену. Надоело на всем говеньком. Потом же лишнего шага не ступи... Меня Бог поставил там садовником, а я хотел пасти овец, пахать землю... А больше всего мне хотелось завести голубей!

По улице опять с криками пробежали люди – шума и гама там хватало.

– Мне бы поговорить с ними... – приподнялся Адам. – Нам давно пора объясниться! Я, пожалуй, пойду. Они опять

собрались искать рай... И собрались на этот раз идти без меня! А мне тоже хочется на него хоть глазком взглянуть...

– погоди, старик, – сказал незнакомец. – Лучше расскажи еще чего-нибудь.

– некогда мне тут с тобой... Да и нечего больше! – ворчливо отозвался Адам.

– А про смерть Евы?

– Откуда ты знаешь, что она умерла? Никто даже проститься с ней не пришел...

– Я был.

– Как же это так, если я тебя не видел?

– Еще раз говорю: сегодня днем вместе с тобой я стоял на могиле Евы.

– Да кто ты такой?! – строго вскрикнул Адам. – И чего тебе надо?..

Незнакомец присел на корточки раздуть огонь, бледно мерцавший на глиняном полу. Костерок послушно, с готовностью залохматился свежим пламенем. Он вспыхнул, как заиграл.

И увидел Адам лицо Его.

– Это Ты?!

– Здравствуй, Адам.

– Как же я сразу не догадался?.. Дурень старый...

Адам неуклюже, по-стариковски, опустился на одно колено, потом на другое.

– Прости, Господи! Я такого тут по неведению наговорил...

– Ты не сказал ничего дурного.

Адам судорожно, неуклюже молчал.

– Господи, а как там сейчас наш Сад?..

– Его уже нет.

– Конечно, столько лет прошло... Я уже счет своим годам потерял.

– Тебе ровно девятьсот тридцать. А Сад я вырубил. Он мне все время о вас с Евой напоминал.

Господь подошел к окну и еще что-то тихо сказал.

– Я не расслышал, – смутился Адам.

– Ничего. Это я сам с собой, – был ответ. – А теперь, старик, мы расстанемся. Ты вернешься в горы. И никто не

тронет тебя. Любовь людей к тебе не обещаю, но свои годы доживешь спокойно. И вот еще что: проси, Адам, чего хочешь, пока я здесь.

Адам закрыл глаза.

– Проси, не тяни.

– Господи! – порывисто сказал Адам. – Голод поразил народ. Накорми страждущих...

Господь резко обернулся.

– Тех людей, которые хотят найти рай и жировать там? Которые, кроме золота, вина и девок ничего не желают? Прости, Адам, но я раскаялся, что создал человека!

И сказал Он:

– Истреблю его с лица земли.

...Адам как очнулся. Он был на улице, и был один. В растеплившемся воздухе пахло от домашних очагов свежим хлебом, жареным бараньим мясом и курдючьим жиром. Молчали нажравшиеся, оглохшие от сытости собаки. И тихо было так, словно город только что родился.

После недавнего дождя под ногами лежали сплошные лужи. В них потаенно отражались звезды.

Адам ступал бережно: ему казалось, он идет по небу.



# СОДЕРЖАНИЕ

## ПОВЕСТИ

Харисто.....	4
Антимир .....	36
Есть ли жизнь на антресолях? .....	76
Малая родина .....	112
Небоевые потери .....	155
Сорок домашних кошек .....	182
Лужа .....	225

## РАССКАЗЫ

«Обком звонит в колокол!» .....	262
Оживший .....	269
Мой космос .....	291
Крестonosец .....	306
«Нянька» .....	310
Оленуха .....	317
Хлеб – всему голова .....	321
Клен полевой .....	329
Пурга под понедельник .....	341
Принц и Золушка .....	344
Тревожный колокол .....	348
Кесарю – кесарево .....	357
Благовест .....	369
Человек Господа .....	373

Сергей Пылев

ХАРИСТО

Подписано в печать 26.04.2023 г.  
Формат набора 84x108/32. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,05.  
Заказ № 453. Тираж 300 экз.

---

Изготовлено по заказу ООО «Пресса ИПФ»  
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 143.  
Отпечатано в АО «Воронежская областная типография»  
394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 73а.  
[www.oblprint.ru](http://www.oblprint.ru)  
тел.: 8(473)20-20-900, 277-75-77